Елена Арсеньева

Грешные музы

Исторические повести любви

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Имена создателей живописных произведений живут в веках. Но много ли мы знаем о женщинах, что были рядом с ними в те мгновения, когда рождался замысел картин или скульптур, а фантазии воплощались в реальность? Принято считать, что без музы творец бесплоден, несчастлив. А как же сама муза? Каково приходилось тем дамам, которые разделяли с великими художниками радости и печали жизни? Приподнимем же туманную завесу истории… Об отношениях Пабло Пикассо и его возлюбленной Ольги Хохловой, Амадео Модильяни и Анны Ахматовой…

- Грешные музы
  - Обитатели разных планет
  - Тайное венчание
    - Санкт-Петербург, 1783 год
      - Санкт-Петербург, 1779 год
        - Санкт-Петербург,
  - Тосканский принц и канатная плясунья
  - Красота полудня
  - Амазонки и вечный покой
  - Причуды Саломеи, или Роман одной картины
  - Черные глаза
  - Женщина не в его вкусе
  - Полуулыбка-полуплач
  - Термоядерная Гала
    - * * *
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Грешные музы

Обитатели разных планет (Пабло Пикассо – Ольга Хохлова)

Ну что тебе сказать, Поль…

— Пабло! Слышишь, Макс? Зови меня Пабло, я просил тебя две тысячи раз!

— Две тысячи? Ну, это чепуха, мой малыш. Вот если бы ты мог дать мне две тысячи франков за то, чтобы я называл тебя не Поль, а Пабло, тогда, конечно, мне стоило бы подумать. Но я чувствую, что и за это мое гаданье ты не намерен платить. Я не получу не только двух тысяч, но и двух франков. Поэтому давай договоримся сразу: я буду звать тебя так, как захочу, но взамен хорошенько погадаю. Я напророчу тебе сокрушительный успех, кучу денег, безумную любовь прекрасной дамы… Как, ты согласен, Поль?

— Зови меня Паб… то есть я хочу сказать, да, конечно, согласен!

Макс Жакоб, неимущий поэт с Монмартра, похожий на клоуна, переодетого в классного наставника, снисходительно кивнул, медленно тасуя карты Таро и задумчиво водя взглядом по сторонам, словно бы ища вдохновения в созерцании стен своей каморки на улице Равиньян, устроенной в бывшей кладовой для помойных баков. Честно говоря, в этом убогом жилище, лишенном даже окон, так что приходилось постоянно держать зажженной керосиновую лампу, в этом жилище, где из мебели имелись только матрац на кирпичах, старое кресло, покрытое лоскутом красного бархата, да столик, на котором поэт (и живописец в придачу) рисовал свои гуаши, раскладывал пасьянсы или гадал, – честно говоря, здесь навеять вдохновение могла только яркая ширма, расписанная в стиле Тулуз-Лотрека. Ширму расписал в период увлечения творчеством этого художника невысокий черноглазый молодой человек, который сидел сейчас на краю матраса. Звали человека Пабло Пикассо, он был испанец из Барселоны, и Макс Жакоб обожал его всеми фибрами своей мужественно-женственной души. Это была любовь, которая, как он писал в своих стихах, «не решается себя назвать», потому что если Макс предпочитал бледных мальчиков, то Пабло обожал роскошных блондинок. Одну из них, свою нынешнюю подружку и натурщицу, Фернанду Оливье, он и притащил сейчас с собой к другу-поэту, другу-пророку.

— Безумную любовь прекрасной дамы? – повторила

Фернанда, прижимаясь к плечу своего художника. – Зачем ему сулить такую любовь, Макс? Она уже есть у Пабло. Ведь я его люблю! Не довольно ли с него?

И она кисло-сладко улыбнулась, скрывая свою неприязнь к этому комическому уродцу с огромными глазами, которые, казалось, таили в себе всю мировую скорбь. Фернанде было противно в его убогой каморке, где тошнотворный запах керосина и закаменевших окурков мешался с запахом эфира. (Жакоб, в отличие от многих других обитателей Монмартра, таких, как Модильяни, пристрастившихся к гашишу или кокаину, научился использовать для обострения ощущений эфир, свободно продававшийся в аптеках.) Конечно, и они с Пабло жили не роскошней. Порой они так бедствовали, что не имели девяноста сантимов, чтобы заплатить за похлебку с говядиной. И тогда, в такие тяжелые дни, оставалось лишь надеяться, что Бизу-Бизу, кот-ворюга Фернанды, снова принесет ей и ее любовнику кровяную колбасу, которую он таскает у соседа! Совсем изголодавшись, Фернанда и Пабло ранним утром совершали набеги на дома зажиточных буржуа на улочках Монмартра, надеясь стащить молоко и круассаны, поставленные разносчиками у дверей. А иногда любовники заказывали обед у кондитера-трактирщика с улицы Абесс. А когда посыльный приносил заказ на дом, Фернанда, не открывая, кричала, что еще не одета, поэтому корзину можно оставить у двери, она придет и заплатит потом.

Слов нет, Фернанда и впрямь исправно платила, когда Пикассо продавал очередную картину и разживался деньгами. Сначала он получал только су и франки, потом дело дошло и до луидоров, которых они прежде и не видели. Когда скупщица картин Берта Вейл заплатила ими Пикассо в первый раз, он, не веря глазам, стал стучать луидором о мостовую, проверяя его подлинность по звуку!

Но в том-то и дело, что Фернанда с Пабло были бедны на самом деле, а не притворялись бедняками. А вот Жакоб – вообще-то человек весьма зажиточный. Дамы-попечительницы приносят ему как бедняку ношеные вещи: штопаные носки, свитера и даже небольшие суммы денег. Он принимает подачки, рассыпаясь в благодарностях. Потом пошучивает:

— Зачем отказывать добрым женщинам?

А когда наступает вечер, Жакоб в элегантном костюме (его кузен Гомпель владеет сетью магазинов «Пари-Франс» на бульваре Вольтера, и какое-то время Пикассо по протекции Жакоба работал там кладовщиком!), надушенный, оживленный, шляется по литературным салонам, незаметно оставляя на столах

роскошно изданные сборники своих стихов, а потом подцепляет в злачных местах согласных на все юнцов, подобно тому как приличные люди подцепляют девок на улицах Кусто, Стейнкерк или в каком-нибудь борделе вроде «Серого попугая», о котором даже песенка сложена:

Совсем не серый этот «Серый попугай» –
Сверкает он и пурпуром, и златом,
Здесь можно девочку найти
И бедным, и богатым.
Глаза на нарушение закроет[1]
Шикарная мадам торчит у входа:
«Свербит в штанах, мсье?
Своего требует природа?
Тогда пожалуйте в салон!
У нас малышки –
Просто загляденье!
Их глазки,
грудки,
попочки
Даруют вдохновенье!
А обхожденье –
Истинный бон тон!»

Смешнее всего, что и любители мальчиков, и любители девочек и впрямь уверяют, будто те и другие необходимы им не только для обхожденья в постели, но и для вдохновения, а художникам – еще и как натурщики и натурщицы. Ох уж эти творческие люди…

Вот и Фернанда нужна Пабло для того и другого. Уж сколько лет они вместе, и Пикассо уже стал довольно известным художником (не без ее помощи!), а все не намерен расставаться с ней. И даже мечтая перебраться с Монмартра, где он устроил десять лет назад, еще в 1900 году, свой первый плацдарм для завоевания Парижа, на Монпарнас, Пабло хочет взять с собой Фернанду.

Все хорошо, все отлично складывается в их жизни, все просто и ясно. Зачем ему только понадобилось идти напоследок гадать к противному Жакобу, столь *двусмысленному* человеку?!

Здесь, на Монмартре, этом обиталище художников и поэтов, многие считают Макса Жакоба пророком и целителем. Тьфу, какая чепуха! Тогда и бабушка Фернанды была великой

целительницей. Она тоже, как и Жакоб, верила, что веревочка с узелками помогает от радикулита, а индийские каштаны – от ревматизма. Макс убедил Фернанду всегда носить в сумочке слиток меди – якобы этот металл соответствует ее астральному знаку.

Глупости все это! А сколько народу Жакобу буквально в рот заглядывает… И только наивная вера самых разных людей в его магические способности дает ему средства на жизнь. Ведь его литературные произведения либо не продаются, либо приносят смехотворные доходы. Фернанда совершенно точно знает, что за сказочку для детей «Король Кабул и поваренок Говен» ему заплатили всего 30 франков! Да и гуаши, которые он срисовывает с открыток с видами Монмартра и умудряется всучить каким-нибудь бестолковым американцам-туристам, уходят за гроши. Свои деньги Жакоб получает, составляя гороскопы! Один был составлен по заказу газеты «Энтразижан» для политического деятеля Жозефа Кайо, когда тот стал президентом правительственного Совета, и принес монмартрскому астрологу известность. Ходят слухи, сам Поль Пуаре, знаменитый кутюрье, восхищается способностями Жакоба (интересно, только ли магическими?) и всегда советуется с ним, прежде чем запустить новую коллекцию платьев. Он даже направляет к нему клиентов. По понедельникам, в приемный день, у дверей чуланчика Жакоба выстраиваются фиакры. Он гадает на картах Таро или на кофейной гуще всем подряд, не делая различия между домохозяйками или шикарными дамами, которых посылает к нему Пуаре. И уж они-то платят так платят! Хорошо, что сегодня не понедельник, а пятница, не то Пабло и Фернанде пришлось бы стоять в очереди, чтобы попасть к «астрологу Максу».

Фернанда фыркнула, но тут же подавила смешок.

Пятница? Сегодня пятница? Diabolo, плохой день! Не стоило, ах, не стоило нынче приходить к Максу! Сейчас наговорит каких-нибудь гадостей!

— Шерри-Ферри, ты уснула?

Голос Пабло!

Фернанда встрепенулась:

— Нет, с чего ты взял? Просто задумалась немножко.

— Ах, как приятно, что в этой премилой головке водятся мысли! – хохотнул маг-прорицатель.

Этот проти-ивный Макс! Ну да, думает, он один на свете умный.

— Вам понравилось мое пророчество, Фернанда? Поль станет мировой знаменитостью, гением и миллиардером!

Что, гадание закончилось? Ну надо же, а ведь она ничего не

слышала, так глубоко задумалась. Но нельзя подавать виду, а то «месье» Жакоб обидится.

— Это очаровательно, Макс! Я буду ждать с нетерпением, когда все исполнится!

Жакоб вытаращил глаза:

— Неужели? Но ведь вас тогда уже не будет рядом с Полем.

Если бы Фернанда не сидела, она непременно упала бы.

— Меня не будет? А где ж я окажусь? И кто будет рядом с По… то есть с Пабло, вместо меня? Нет, он меня не бросит! Правда, Пабло?

— Вы сами уйдете от него, Фернанда, – печально покачал головой Жакоб. – Сами, по доброй воле. И вместо вас появится другая. Потом третья. А потом… потом наш Поль женится! Его жена окажется аристократкой и настоящей красавицей, она будет танцевать даже лучше, чем Ля Гулю. У них с Полем родится сын, они проживут рядом много лет, но они… они навсегда останутся обитателями разных планет. Так скажет один его друг… я сейчас не стану называть его имени.

Фернанда не выдержала и захохотала. Пабло женится? У него будет сын? Это невероятно! А еще невероятнее, что на свете сыщется женщина, которая сможет танцевать лучше, чем тощая обжора Ля Гулю[2], которая проводит каждый вечер в танцзале «Мулен ля Галетт». Вранье все это.

Вранье! Вранье! Макс Жакоб наврал или ошибся!

Зря, зря она так. Макс Жакоб не наврал и не ошибся ни в одном своем пророчестве. Даже в этом, таком странном, – насчет обитателей разных планет…

* * *

— Смерть русским! Смерть русским!

Партер неистовствовал. Галерка присоединилась. Ложи не отставали.

Как только занавес сомкнулся, Сергей Дягилев ворвался за кулисы:

— Господа! Больше на сцену ни ногой! Немедленно по гримеркам! Пакуйте чемоданы!

— Смерть русским! – неслось из зала.

Дягилев схватился за голову. 18 мая 1917 года – этот день он запомнит надолго как день своего величайшего провала.

Какой кошмар! Основатель и вдохновитель «Русских сезонов» в жизни не знал, не предполагал такого… Казалось, это была замечательная идея: поручить Леониду Мясину поставить балет на основе либретто модного эпатажного писателя Жана Кокто, оформление отдать не менее модному и еще более эпатажному художнику Пикассо, а музыку попросить написать композитора-новатора Эрика Сати. И что получилось? Скандал или успех? Триумф или провал? Если кричат – «смерть», значит, скандал или провал…

Боже мой! На премьеру в театр Шатле пришел весь Париж, ведь само имя Дягилева притягивало как магнит. И весь Париж вместе с соотечественниками Дягилева освистал этот гениальный балет!

Напрасно Дягилев подготовил клаку, созвав в театр всех найденных в монпарнасских кафе художников, поэтов и солдат-отпускников. Более того – часть билетов он распределил даже среди группы солдат русского экспедиционного корпуса, прибывшего в Париж после петроградского революционного февраля. И ничто не помогло.

Но негодование французских зрителей вызвало не либретто Кокто, не отличавшееся, между нами говоря, особой оригинальностью, не декорации Пикассо, которые, как это ни странно, не были выдержаны в духе кубизма, а представляли собой возврат к самому строгому классицизму. Публика пришла в ярость от музыки Сати!

«Уж если быть новатором – так быть», – решил Сати и ввел в свою партитуру стук печатной машинки, забыв, что всего в каких-нибудь 260 километрах от Парижа продолжались тяжелые бои французской армии с наступающими немцами. У всех на памяти еще был Верден… Публика сочла себя оскорбленной в лучших чувствах, решив, что композитор имитировал пулеметные очереди. (Вообще-то, между нами говоря, весь этот балет напоминал, по меткому выражению одного из зрителей, балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью.)

— В Испанию, господа! – кричал Дягилев. – Мы немедленно отправляемся в Испанию! Ночной поезд в Барселону с вокзала Монпарнас! Все слышали?

Суматоха за кулисами царила страшнейшая. Толком не разгримировываясь, не переодеваясь, актеры побежали к выходам, чтобы схватить такси и мчаться в отель, успеть упаковать чемоданы. Рабочие сцены спешно размонтировали декорации, не дожидаясь, пока публика очистит зал. Выходить на аплодисменты ни у кого и в мыслях не было, потому что не было и

аплодисментов.

— Жанно, милый! – Дягилев торопливо стиснул руку Кокто и легонько хлопнул «милого друга» по заду. – До встречи! Жду вас в Барселоне или в Мадриде. Эрик! – Композитор был удостоен только рукопожатия и сокрушенного покачивания головой. – Пабло, дорогой Пабло! – Экспансивный толстяк Дягилев заключил в объятия невысокого (рост Пикассо составлял всего 160 сантиметров) и худощавого художника. – Как жаль, что мы столь внезапно расстаемся!

— Мы не расстаемся, – блеснул улыбкой, ослепительной на его оливково-смуглом лице, Пикассо. – Я тоже еду в Барселону.

— Что?! – Дягилев вытаращил было глаза, но тотчас понимающе кивнул. – Ах да, Ольга, Оленька… – Он воровато оглянулся, не слышит ли кто. – Пабло, вам не кажется, что вы завязли слишком глубоко? Русские девушки… понимаете ли, с ними надо быть осторожнее. На русских девушках надо жениться!

— Я еду в Барселону, чтобы представить Ольгу, мою невесту, моей матушке, – церемонно отвечал Пикассо.

— Примите мои поздравления, – столь же церемонно ответил Дягилев и тихонько вздохнул: итак, он потерял одну из своих «куколок»…

…«Куколками» Дягилев называл балерин своей труппы. Всех, от солисток до кордебалета, хотя серьезная, сдержанная Ольга Хохлова терпеть не могла этого слова. Ну что с нее возьмешь: воспитана она была весьма сурово. Отец ее был полковником русской императорской армии. Страсть дочери к балету осуждал папенька и поощряла маменька, поэтому, когда отца перевели из Нежина, где Ольга и родилась 17 июня 1891 года, в Киев, маменька украдкой возила ее на извозчике в балетную школу. Однако о том, чтобы девочке сделаться профессиональной танцовщицей, и речи быть не могло! Ольга просто-напросто сбежала к Дягилеву, нарушив волю родителей, когда те привезли ее в Петербург.

Великий Серж принял Ольгу благосклонно. Он сразу уловил в ней великосветский шарм, который придает танцовщице такой изысканный аристократизм на сцене и которым, между прочим, отличалась и его любимая балерина – Тамара Карсавина. Правда, по сравнению с Тамарой Ольга была немножко пресновата, не обладала тем внутренним огнем, которым блистала La Karsavina, как называли Тамару французы. Но уж это бесспорно: Ольга – «девушка из хорошей семьи», отличается великолепными манерами и прелестно смотрится на сцене.

Несколько позднее выяснилось, что, кроме шарма и манер, у

Ольги еще имелся весьма твердый, решительный, упрямый характер. Впрочем, это только усиливало ее работоспособность и позволило стать танцовщицей старательной и дисциплинированной, приобрести хорошую технику. Однако она никогда не была примой и, не считая нескольких сольных партий, выступала обычно в кордебалете.

Словом, Ольга Хохлова считалась в труппе Дягилева одной из многих, и, честно говоря, Сергей Петрович понять не мог, почему именно на нее до такой степени запал скандальный бабник Пабло Пикассо. Но если посмотреть на все с другой стороны, Сергей Петрович вообще не мог похвастаться знанием женщин, в отличие от того же Пикассо. А Пабло моментально подружился со всеми девушками из труппы Дягилева, гастролировавшей в Италии, и с гордостью писал из Рима своей давней приятельнице и почитательнице Гертруде Стайн: «У меня 60 танцовщиц. Ложусь спать поздно. Я знаю всех женщин Рима».

Как же он вообще оказался в русском кругу, этот испанец, который всю жизнь мечтал сделаться французским гражданином, но тщательно скрывал это от всех, и который в конце концов остался истинным citoyen du monde, гражданином мира?

Пикассо к этому времени был уже известен в Европе. А, между прочим, русские философы, критики и коллекционеры оценили его творчество в числе первых. Еще когда Пикассо обитал на Монмартре вместе с Фернандой Оливье, в 1909 году, его картины начал приобретать знаменитый Сергей Щукин, сделавший себе состояние на производстве и торговле мануфактурой и щедро тративший его сначала на полотна французских импрессионистов, а потом и фовистов[3]. «Первый фовист» Анри Матисс и познакомил Щукина и Пикассо. К 1917 году в коллекции Сергея Ивановича было уже более пятидесяти полотен художника – испанского француза или французского испанца, кому как больше нравится. Кстати, в период с 1908 по 1914 год Пикассо смог выбраться из нужды, в которой прозябал на Монмартре, и буржуазно, почти роскошно зажить на Монпарнасе именно благодаря деньгам Щукина, щедро платившего за полотна, на которые никто из знатоков живописи еще и смотреть не хотел. (К слову, после Октябрьской революции, когда и дом, и коллекция Щукина были в России национализированы, а сам он остался во Франции, он с великим благородством оценил эту трагическую и безусловно разорительную для себя ситуацию: «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, моя коллекция должна оставаться там».)

Тогда, в 1914 году, русский философ Николай Бердяев и

искусствовед Яков Тугендхольд изучали и анализировали творчество Пикассо, отмечая в нем трагическое начало и самоотверженный поиск художником абсолюта. Поэтому культурнейший из своих современников человек – Сергей Дягилев и решил привлечь Пикассо к совместной работе.

Пабло в это время было 36 лет, и он был одинок. Роман с Фернандой остался далеко позади, а сменявшие ее женщины надолго в жизни Пабло не задерживались…

Кстати сказать, «двусмысленный» Макс Жакоб оказался совершенно прав, предсказав, что Фернанда Оливье сама уйдет от любовника.

Дело в том, что эта парочка не слишком-то хранила друг другу верность. Само собой, Пикассо не пропускал ни одной юбки, но и Фернанда задирала свою то перед Марио Шенье, то перед Роже Карлом. А тут вдруг она влюбилась в умного и приятного молодого художника Убальдо Оппи. По «случайному» совпадению Пикассо, которому уже несколько приелись рубенсовские формы Фернанды, именно в это время увлекся волнующей худышкой Марсель Юмбер (настоящее ее имя Ева Гуэль) по прозвищу Куколка.

Фернанда узнала об этом и призадумалась. Она понимала, что ни один из художников не способен будет обеспечить ей такую роскошную жизнь, какую обеспечил Пабло. Но в то же время она безумно жаждала близости с Убальдо… Тогда Фернанда придумала ход, который показался ей блестящим: она почти демонстративно убежала к Убальдо и спешно принялась с бешеным темпераментом удовлетворять свою страсть, ожидая громового стука в дверь и появления распаленного ревностью Пабло, который примчится, чтобы вернуть ее домой. И она, само собой, вернется… Однако ожидание затянулось сверх всякой меры, и в конце концов Фернанда поняла, что ее уловка, старая как мир, кончилась провалом. Пикассо после отбытия подружки вздохнул с облегчением и… перевез к себе домой тоже от любовника, но не Фернанду, а Еву-Марсель, Куколку.

Не то чтобы Фернанда умирала с горя… однако Убальдо ей моментально надоел. И как любовник он оказался слабоват, и денег у него не было, не говоря уже о таланте. Поняв, что возврата к Пикассо не будет, Фернанда разыскала прежнего приятеля Роже Карла и прожила с ним двадцать лет.

И вот наступил 1917 год. В Риме темпераментный Пикассо вдруг увидел голубоглазую, нежную, как подснежник, русскую балерину Ольгу Хохлову… и остолбенел. И растерял весь свой темперамент. Хотя, по мнению всех его друзей, Ольгу никак нельзя было назвать личностью, внешне примечательной.

Некоторые даже считали ее откровенно бесцветной и скучной. Впрочем, ярких красок и темперамента хоть отбавляй было у Пабло.

Ему исполнилось тридцать шесть, и, скорее всего, ему, как многим мужчинам, просто надоело, что называется, таскаться… Вступать в случайные связи то есть надоело. Именно приличность, скромность, ординарность и обыденность Ольги и показались ему невероятно экзотичными. К тому же Пабло устал от разрывающих его творческих терзаний, от бесконечных поисков чего-то неведомого, от внутреннего одиночества. Он увидел в Ольге оазис спокойствия, тихую гавань, где мог бы пристать и отдохнуть его «Летучий голландец».

Кроме того, Ольга была русской, Пикассо по духу своему никогда не переставал быть бунтарем, мятежником, революционером. И страна, вставшая вдруг с ног на голову, страна, где происходили революционные события, привлекала его необыкновенно.

В данном случае не имело никакого значения, что саму Ольгу (дочь царского офицера!) революционные события пугали до отвращения. Пикассо начал учить русский язык, перемежая любовные слова к своей избраннице пылкими лозунгами на тему «Долой самодержавие!».

Да ведь и вся атмосфера дягилевской труппы, его постановок отличалась истинно революционной чувственностью! Пикассо дружил с самим Сергеем Петровичем, с Бакстом, со Стравинским, потрясшим его и манерой одеваться, как настоящий денди, и, главное, гениальной музыкой. Обычно Пикассо твердил с упорством невежды, что презирает любую музыку, кроме фламенко, но он был потрясен «Весной священной». Ольга казалась ему восхитительной славянкой, дикаркой, вроде тех, которые кружились в вихре музыки Стравинского… Ну и Пабло радостно, восторженно закружился вместе с ней.

Он объяснился. Однако Ольга не сделала от счастья антраша и не кинулась сломя голову в постель художника. Она вообще не спешила ответить на его любовь, хотя, конечно, Пабло ей понравился. Был в нем особый магнетизм, страсть и страстность, чувствовался негаснущий внутренний огонь, заставлял трепетать взгляд его черных глаз, которые, по выражению Кокто, были «заряжены электричеством». Пикассо даже ходил так, что мгновенно производил впечатление сильного, дерзкого человека. Эту походочку он выработал еще в дни завоевания Монмартра, когда в компании двух своих приятелей-художников, Вламинка и Дерена, прохаживался по крутой улице Равиньян: грудь колесом, поигрывая мускулами. «На Холме, – вспоминал он позже, называя

Холмом Монмартр, название которого так и переводится с французского: Холм (или Гора) Мучеников, – нас уважали за нашу выправку, из-за бицепсов нас принимали за боксеров».

Хоть мышцы Пабло были теперь скрыты под хорошими костюмами, он все равно производил впечатление сильного, даже мощного человека, и это при своем, мягко говоря, не слишком высоком росте. Но дело не только во внешности.

Следует отметить: Ольга была ужасно далека от современного искусства, хотя это можно назвать немного странным, ведь традиционных декораций в постановках Дягилева вообще не появлялось. Но… слава Пикассо производила на нее впечатление. И деньги у него были – маршаны (перекупщики картин) просто гонялись за ним! Да, если бы Пабло рассказал Ольге о тех луидорах, подлинность которых он проверял о мостовую… Или вот такой смешной эпизод из безденежного прошлого.

…Тогда Пикассо находился в разгаре «голубого периода» и писал по три полотна в день. Правда, на них не находилось покупателей. И продавцы, и коллекционеры устали от тягостных сюжетов: измученные матери, больные дети, изможденные арлекины, отчаявшиеся нищие – мир упадка и полной безнадеги.

Полная безнадега царила и в кармане художника. Он даже подумывал покинуть Париж и не возвращаться сюда больше. И вот однажды к нему приехал маршан по фамилии Воллар. Пикассо предложил ему «Мальчика с лошадью», и тот хмуро спросил:

— Сколько?

— Я прошу двадцать франков, – робко сказал Пикассо.

— Да вы с ума сошли!

— Ну, пятнадцать.

— Еще чего!

В общем, сделка так и не состоялась. Тогда друг Пикассо поэт Гийом Аполлинер посоветовал ему показать картину непосредственно продавцу и держаться как можно наглее.

— Сколько вы хотите? – спросил продавец, мельком взглянув на полотно.

— Сто пятьдесят франков! – выпалил Пикассо, придав себе максимально развязный вид.

— Хорошо, вы их получите.

Именно эта сцена сыграла определяющую роль в том, что Пикассо остался в Париже и думать забыл о возвращении в родной дом. «Я будто в окно выпрыгнул!» – скажет он позднее. А что касается денег… После «Авиньонских девушек» он богател просто неудержимо. Скоро деньги не помещались в карманах, и

Пикассо стал зашпиливать их английскими булавками. Так и носил свое состояние, пока один из поклонников его живописи не надоумил художника завести счет в банке!..

Короче, любовь богатого и известного художника зажигала Ольгу, льстила ей. Да и умницей-разумницей она была: понимала, что девушке когда-нибудь все равно нужно выходить замуж! Предположим, Ольга и предпочла бы русского – состоятельного, благородного происхождения… Да где же, господа хорошие, такого найдешь теперь, в 1917 году, после одной революции и в преддверии другой? А из балета рано или поздно придется уходить, так и не сделав той блистательной карьеры, о которой Ольга мечтала. Что ж, до старости танцевать «у воды»? То есть в кордебалете, на последней линии, у самого задника, на котором нарисованы декорации: лес, озеро…

Ольга с ужасом заглянула в это «водяное» будущее – и собралась сообщить маме, которая сопровождала ее в турне дягилевской труппы, что к ней сватается Пабло Пикассо. Немедленно она и сама почувствовала всю нелепость словосочетания «сватается Пабло Пикассо» и заменила его другим:

— Мсье Пикассо сделал мне предложение.

Все, что знала о будущем зяте Ольгина мама, внушало ей только дрожь в коленках. С другой стороны, времена меняются… А этот мужчина богат и влюблен в Ольгу.

— Может ли художник быть человеком серьезным? – проконсультировалась маменька у Дягилева, который был для нее и богом, и чем-то вроде дельфийского оракула.

— Не менее серьезным, чем балерина, – ответствовал тот.

И дело было решено.

Впрочем, прежде чем вести Ольгу в мэрию и под венец (она настаивала на венчании по православному обряду!), Пабло должен был еще получить благословение своей матушки. Она приветливо встретила будущую невестку в Барселоне и пришла в восторг от ее утонченной, нежной, такой своеобразной красоты. А уж сценическое искусство Ольги вовсе поразило сеньору Баско (Пикассо – была ее девичья фамилия, которую принял Пабло)! Именно из нежности и сочувствия она и сказала однажды Ольге:

— С моим сыном, который создан только для самого себя и ни для кого другого, не может быть счастлива ни одна женщина.

Однако оптимизма и твердости духа (а может быть, просто розовой глупости?) Ольге было не занимать, и вот они с Пабло стали жить вместе еще до свадьбы, как ни противилась этому госпожа Хохлова, боявшаяся по примеру всех маменек, что Пикассо, как все художники, удовлетворит свою страсть и бросит

Оленьку.

Однако этого не случилось. Напротив, Пикассо влюблялся все сильнее, и жизнь, которую он и Ольга вели пока еще во грехе, поселившись в маленьком доме в парижском пригороде Монруж – со служанкой, собаками, птицами и еще тысячью разных предметов, которые повсюду сопровождали художника, – вполне можно назвать идиллической. Правда, Ольга могла тут получить первое представление о творческой одержимости своего будущего мужа.

Пабло продолжал много работать, обычно по ночам. Однажды, разбуженный бомбардировкой (как-никак продолжалась Первая мировая война!) и загоревшись поработать, он не нашел чистого холста и стал писать натюрморт с гитарой и бутылкой порто прямо на картине Модильяни. Ну да, ведь «тосканский принц» был в то время еще жив, а значит, его картины еще не взлетели в цене баснословно.

Кстати, именно в Монруже Пикассо написал первый из портретов Ольги – знаменитый «Портрет Ольги в кресле», который сейчас выставлен в парижском Музее Пикассо. Их будет еще множество: «Ольга Хохлова в мантилье», где она похожа на испанку, «Ольга в шляпе с пером», «Ольга читает, сидя в кресле», «Ольга читает», «Портрет Ольги», «Голова женщины. Ольга», «Ольга в меховом воротнике» и другие.

Начиная с этого времени, он возвращается к классическим канонам: таково влияние любви! Ольга не любила непонятки в живописи и однажды сказала:

— Я хочу узнавать свое лицо.

— Слушаюсь! – ответил художник и исполнял ее просьбу так долго, как только мог.

Кстати, сила его любви проявлялась еще и в том, что сначала он везде приукрашивал жену. Это можно угадать, сравнивая портреты с фотографиями. Вряд ли Пабло делал это сознательно, скорее всего, именно такой он и видел Ольгу, нежная прелесть которой завораживала его.

А вот друзья его, лишенные розовых очков, видели в Ольге ничем не примечательную мещаночку (вероятно, такой она и была, ну да что в том плохого?!) и отговаривали Пабло от брака, считая, что он будет неудачным. Художник не внял их советам.

Трудно сказать, кто оказался прав. Все-таки прожили Ольга и Пикассо долго, дольше, чем жил он с другими своими дамами. А выдержать всю жизнь рядом с одной женщиной Пабло не мог просто *физически*. Так же, впрочем, как и они рядом с ним…

Но не станем забегать вперед.

Итак, настал день 12 июля 1918 года, когда в мэрии 7-го

парижского округа прошла церемония бракосочетания Пабло Пикассо и Ольги Хохловой. Вслед за этим молодые отправились в русский собор Александра Невского на рю Дарю, где их обвенчали по православному обряду, как и хотела Ольга. Среди гостей и свидетелей были Дягилев, Аполлинер, Кокто, Гертруда Стайн, Матисс.

Вопреки мрачным пророчествам друзей Пикассо был убежден, что проживет с Ольгой всю жизнь, и поэтому брачный контракт предусматривал их общее владение имуществом. В случае развода это подразумевало его раздел поровну, включая все картины Пикассо.

Воистину безоглядная щедрость!

После свадьбы мсье и мадам Пикассо перебрались в большую квартиру в самом центре Парижа, на улице Ля Бовси, неподалеку от галереи, где выставлялись картины Пабло. Ольга была великолепной хозяйкой, она могла бы умело управлять целым поместьем, так что управиться с квартирой Пикассо ей было как нечего делать. Она обставила дом по своему вкусу.

Да, это жилище художника мало напоминало «комнату прислуги» на улице Равиньян, где Пабло-Поль поселился в 1906 году с Фернандой, его первой «настоящей женщиной» (до нее Пикассо общался только с проститутками), и которую превратил в алтарь любви. На ящике, покрытом красной тканью, он расположил все, что было связано с Фернандой: шарф, который был на ней в день первой встречи, ее портрет, написанный им, и две шелковые розы, выигранные когда-то ими в лотерею на бульваре Клиши. Впрочем, это все были безумства молодости, о которых и вспоминать не стоило.

А теперь началась упорядоченная семейная жизнь.

Пикассо не вмешивался в «женские дела». Ольга наводила свой порядок в комнатах, а он навел свой беспорядок в мастерской на первом этаже, раскидав где попало коллекцию разных памятных и любимых предметов и расставив прямо у стен свои работы вперемежку с картинами Ренуара, Матисса, Сезанна, Руссо и того же Модильяни, которые он еще не до конца зарисовал своими натюрмортами.

Мадам Пикассо желала не только иметь респектабельный дом, но и выглядеть респектабельно. Однако у Пикассо оставались самые простые вкусы. Он восторгался дорогими нарядами жены, которая массу времени проводила в модных домах, прежде всего у Шанель и Пуаре, но сам предпочитал ходить в одном и том же костюме.

Вообще одежда его мало занимала, хотя в Париж он в свое время приехал, «одетый под художника». Описание подобного

костюма можно найти в романах Альфреда де Мюссе: широкие бархатные куртки, отложной воротничок, берет… Существовала мода и на прически: кудри и бороды, желательно эспаньолки. Пикассо в конце концов поддался этому поветрию и за несколько недель отрастил бороду. Однако вскоре он ее сбрил: ему претило, что он стал слишком похож на «настоящего художника»! Он начал носить «костюм механика», который с его подачи стал ужасно моден среди авангардистов Холма: синий комбинезон, хлопчатобумажная рубаха, белая в красный горошек, дешевая, всего за полтора франка купленная на рынке Сен-Пьер, плюс красный кожаный пояс и испанские сандалии на веревочной подошве.

С тех пор Пикассо, конечно, изменился, и теперь он одевался респектабельнее и дороже, однако деньги предпочитал тратить на приобретение каких-нибудь экзотических вещей, которые возбуждали его воображение, и щедро помогал неимущим собратьям.

Кстати, об экзотических вещах. Собирать их Пикассо начал еще на бульваре Клиши, в монмартрский период своей жизни. Эти старые вещи сопровождали его всю жизнь, вызывая бешенство сначала Фернанды, потом Ольги, потом тех, кто ее сменил: мебель времен Луи-Филиппа, обитые шелком диваны, старинные ковры, картины, музыкальные инструменты и, конечно, негритянские безделушки, которые Пикассо начал коллекционировать под влиянием Матисса, Дерена и Вламинка, открывших негритянское искусство раньше его. Шкафы, столы, стулья загромождали стеклянная посуда, бутылки в форме Вандомской колонны и Эйфелевой башни, цветные коробочки из ракушек, хромолитографии с инкрустацией из соломы, старинный фаянс…

Среди этих вещей лишь немногие были и впрямь ценны: для Пикассо главным в вещи была необычность и затейливость, совершенство и подлинность стояли на каком-то там месте. Именно поэтому так разочарованы будут позже хранители Лувра, куда вдова Пикассо и его сын передадут коллекцию после его смерти. Исключение составят некоторые картины, полученные Пабло непосредственно от Матисса, Руссо и других художников из их собственных рук, все прочие вещи оказались если не фальшивыми, то третьесортными. Но это еще когда будет!

Пока же Пикассо собирал безделушки, а Ольга с упоением кружилась, как принято выражаться, в вихре светских удовольствий.

Ей нравились обеды в дорогих ресторанах, приемы, балы парижской знати. Ольге даже удалось на какое-то время отдалить

от художника его богемных друзей. Ну а о своем артистическом прошлом она забывала так старательно, как будто не на сцене лучших театров мира танцевала, а задирала ноги в «Мулен-Руж». Забавно, однако тем же путем в свое время проходила прекрасная Фернанда!

Иногда Пикассо размышлял о том, что женщины безумно однообразны. Фернанда, когда у ее любовника завелись деньги, тоже загорелась страстью к респектабельности. Переселившись в буржуазную квартиру на бульваре Клиши, Фернанда мигом почувствовала себя настоящей буржуазкой. Она играла роль светской дамы, назначала дни приема, приглашала на чай, наняла прислугу, которой нечего было делать… Фернанда влюбилась в свою респектабельность!

Она обожала синема и перенимала повадки роковых женщин с экрана: шила себе экстравагантные туалеты, заказывала шляпы, напоминавшие голубятни в Ботаническом саду… Она производила фурор своими ошеломляющими туалетами и сопровождавшим их хмельным ароматом ее любимых духов «Сердце Жанетты». Вообще у Фернанды была страсть к духам. Однажды все сто франков, которые дал ей Пикассо на неделю на продукты, она истратила сразу, купив флакон самых модных и дорогих духов «Дым»: они были невероятно красивого дымчатого оттенка, но не имели никакого запаха!

Впрочем, у Ольги запросы были не экстравагантные, а вполне изысканные и аристократические. Однако хороший вкус, как известно, дорого стоит. Но Пикассо, на счастье свое и своих женщин, никогда не был скупым.

В сентябре 1918 года Пикассо и Ольга вместе с «Русским балетом» поехали в Лондон: Пабло был занят в оформлении балета «Трикорн». Вся труппа и чета Пикассо тоже жили в роскошном отеле «Савой» и посещали все приемы, которые были устроены в честь великого Дягилева.

Пикассо был в моде, его недавняя женитьба вызвала фурор, так что он и Ольга повсюду оказывались в центре внимания. Постепенно Пикассо ощутил вкус к такой жизни и втянулся в нее. Ну а ноблесс оближ, как известно! Он заказал себе множество костюмов и рубашек, надел безупречный смокинг, начал носить золотые часы в жилетном кармане… В своем дендизме он почти перещеголял величайшего денди Стравинского, которым Пикассо всегда восхищался: горчичного цвета брюки русского композитора когда-то казались Пикассо верхом изящества. Надо ли говорить, что его первой данью богине Моде были совершенно такие же брюки?

А впрочем, если честно, он никогда не относился к своим

одеяниям всерьез – они были для него частью маскарада, мистификации, которые он так любил. К примеру, на один из балов он явился в костюме матадора. Ольга чуть не умерла от ужаса.

Впрочем, носил ли Пикассо брюки горчичного цвета или синий комбинезон, он работал с прежним маниакальным упорством. Писал портреты Дягилева, Стравинского, Бакста, Кокто. Любимая Ольга была его постоянной моделью. Ее портрет Пикассо нарисовал для своей первой литографии, которая была использована для пригласительного билета на его выставку.

Многие из рисунков тех лет своим классицизмом и безупречным совершенством напоминают работы Энгра. Ведь Пикассо Энгра обожал! Говорят, одной из характерных сторон его творчества было то, что он постоянно «тосковал по Энгру». Когда он был особенно доволен какой-то своей работой, то с восторгом таращился на себя в зеркало и шептал:

— Вылитый Энгр!

Впрочем, надолго реализма не хватило. Во многих работах стала появляться карикатурность. Вообще именно в те годы Пикассо додумался до гениального заявления: «Искания в живописи не имеют никакого значения. Важны только находки. Мы все знаем, что искусство не есть истина. Искусство – ложь, но эта ложь учит нас постигать истину, по крайней мере ту истину, какую мы, люди, в состоянии постичь».

Искания в живописи не имеют значения… А как насчет исканий в семейной жизни?

4 февраля 1921 года у Ольги и Пабло родился сын Поль (Пауло). Хохоча, вспоминал Пикассо друга прежних лет Макса Жакоба и его настойчивое желание называть друга именно Полем. Неведомо, вспоминал ли художник пророчества Жакоба, многие из которых сбылись со стопроцентной точностью…

Пикассо ощущал огромное счастье. В сорок лет он впервые стал отцом! Он ужасно гордился собой и до бесконечности рисовал Ольгу и сына, помечая на каждом наброске, рисунке не только день, но и час. Все они выполнены в неоклассическом стиле, а женщины в его изображении напоминают олимпийские божества.

Ольга относилась к ребенку с почти болезненной страстью и обожанием. Она надеялась, что рождение сына укрепит семью, в фундаменте которой появились первые трещины: увы, ее муж постепенно возвращался в свой мир, куда ей не было доступа и куда она боялась заглядывать.

Конечно, муж ей достался, мягко говоря, непростой…

Он жил во имя искусства, и реальность была для него всего

лишь моделью для картин. Например, узнав о смерти Аполлинера, который после тяжелого ранения на фронте скончался в ноябре 1918 года, Пикассо был поражен увиденным в зеркале выражением своего лица, на котором отразился беспредельный ужас и горе. Он тут же взял холст и написал автопортрет, хотя вообще-то автопортреты не любил, писал их редко и даже считал зеркало глупым изобретением. Ольгу этот случай потряс.

Имелись у нее и другие основания для потрясений, как мелких, так и крупных. Мелкими можно назвать суеверия Пабло Пикассо. Не дай бог кому-то положить на кровать шляпу или открыть зонтик в комнате (например, поставив его сушиться). Пикассо начинал причитать, что до конца года кто-то из присутствующих непременно умрет, а потом принимался жутко браниться и проклинать неосторожного.

Словно ему мало было примет испанских, он набрался еще и русских суеверий от Ольги. Уйти из его дома, не выпив на посошок и не присев на дорожку, стало просто немыслимо! А если вдруг кто-то случайно перевертывал буханку хлеба на столе – хозяин начинал визжать от ярости! До исступления доходил Пикассо, когда жена отдавала его старые, даже самые изношенные вещи бедным или просто выбрасывала их. А все потому, что, согласно испанскому поверью, хозяин этих вещей, то есть сам Пабло Пикассо, мог превратиться в того, кто его одежду наденет на себя. Жуть!

Смех смехом, конечно, но самым неодолимым камнем преткновения между супругами стала не одержимость Пикассо творчеством, а безумная сексуальность «андалузского жеребца». Разумеется, основой жизни Пикассо было искусство, но секс являлся одной из главных движущих сил его творчества.

Сам художник как-то проговорился, что он делил всех представительниц прекрасного пола на «богинь» и «половые коврики». Причем Пабло доставляло особую радость превращать первых во вторых, и «богини» не только позволяли ему это делать, но и получали удовольствие от собственного унижения. Ольга была в числе редкостных исключений, однако она просто-напросто не выдерживала темперамента мужа. Причем он не считался ни с нежеланием партнерши, ни с невозможностью, когда *хотел*. Пожалуй, правы те, кто считает, что Пикассо не искал настоящей любви, а всегда стремился соблазнить, подчинить и навязать свою волю. Даже в предметах, созданных им самим, – картинах и скульптурах – виден сильный деструктивный элемент: так и бьет по глазам свойственный ему инстинкт разрушения. Что же говорить о женщинах…

— Я думаю, что умру, никогда никого не полюбив, – сказал однажды Пикассо.

Причем в этом «несчастье своей жизни» он обвинял не себя, а женщин! Рано или поздно они становились *не такими* .

Он любил рассказывать о французском художнике-керамисте Бернаре де Палиси, жившем в XVI веке. Когда не было дров, он для поддержания огня в печи обжига бросал туда свою мебель. Пабло уверял, что бросил бы в огонь и жену, и детей, только бы не угас его творческий пламень!

Но не только творческий – любовный тоже…

«Каждый раз, когда я меняю женщину, – говорил Пикассо, – я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Они уже не будут находиться вокруг меня и усложнять мне жизнь. Это, возможно, еще и вернет мою молодость. Убивая женщину, уничтожают прошлое, которое она собой олицетворяет».

Вот так в один из дней Ольга тоже стала олицетворять собой прошлое.

Отчасти она сама была в этом виновна.

Постепенно необузданная художественная натура Пикассо приходила в противоречие с той светско-снобистской жизнью, которую ему приходилось вести. С одной стороны, он хотел иметь семью, любил жену. Но вместе с тем не хотел обременять себя условностями, которые мешали его творчеству. Он стремился оставаться полностью свободным человеком и был готов во имя этого пожертвовать всем остальным: сжечь свою семью.

А Ольга с ума сходила от беспокойства. Она наконец-то полюбила мужа, да как! Она стремилась безраздельно завладеть им и жутко ревновала – сначала без каких бы то ни было оснований. Успевший устать от бессмысленной светской жизни и от собственной добродетели, Пикассо замкнулся в себе и словно отгородился от жены невидимой стеной.

Художник устал и с каждым днем все больше и больше тяготился узами брака.

Доходило до смешного. Вдруг выяснилось, что у них были разными даже гастрономические вкусы. «Ольга, – жаловался Пикассо, – любит чай, пирожные и икру. Ну а я? Я люблю каталонские сосиски с фасолью». Большой цирк, конечно…

Но вот случилось неизбежное. Ревнивые подозрения Ольги обрели под собой почву.

Появилась *другая женщина* !

В январе 1927 года на улице, в толпе, выходящей из метро, Пикассо увидел красивую девушку. Ему показалось, что эти серо-голубые глаза он уже видел раньше – в своем воображении и на

своих полотнах.

«Он схватил меня за руку и сказал: «Я Пикассо! Вы и я вместе совершим великие вещи», – вспоминала об этой встрече Мари-Терез Вальтер. Ей было тогда семнадцать. Она знать не знала ни об искусстве, ни о Пикассо. Ее интересы были совершенно другими – плавание, гимнастика, велосипед, альпинизм. Однако именно этой «физкультурнице» суждено было стать самым большим сексуальным увлечением Пикассо, не знающим ни границ, ни табу. Это была страсть, возбуждаемая секретностью, окружавшей их отношения, а также тем, что Мари-Терез, имевшая вид ребенка, оказалась податливой и послушной ученицей, которая с готовностью шла на любые эксперименты, включая садистские, полностью повиновалась желаниям Пикассо.

Это была воистину безумная страсть. Выпустив на волю самые низменные инстинкты, Пикассо стал и в обыденной жизни вести себя все более низко.

Он захотел расстаться с Ольгой, вычеркнуть ее из жизни. Но она не соглашалась уехать из дому. И тогда на смену любви пришла ненависть мужа. Эту ненависть Пикассо стал вымещать в живописи. Он написал серию картин, посвященных корриде, а Ольгу изображал то в виде лошади, то старой мегеры.

Пытаясь спустя много лет объяснить причины их разрыва, художник скажет: «Она слишком много от меня хотела. Это был наихудший период в моей жизни».

При том при всем Пикассо не хотел развода. Ведь это привело бы к потере половины его состояния, а главное – картин!

Ольга все надеялась на примирение, но… наконец не выдержала – не смогла больше выносить ненависть мужа и жить в одном доме с его новой подругой. После очередной особо тягостной семейной сцены в июле 1935 года она вместе с сыном покинула их дом на улице Ля Бовси. Вскоре с помощью адвокатов поделили имущество, но формального развода не было, и Ольга официально, до самой своей кончины, оставалась женой Пикассо.

Началась Вторая мировая война. Американское посольство во Франции предложило Пикассо и Матиссу переехать в Соединенные Штаты, но оба мастера отвергли это предложение. Пикассо ненавидел фашистов, но не мог отказаться от своего образа жизни в Париже, от своих привычек.

Как-то раз во время оккупации один из немецких офицеров оказался в мастерской художника. Увидев репродукцию «Герники», он поинтересовался:

— Это вы сделали?

— Нет, это вы, – ответил Пикассо.

Наглость ответа была такова, что офицер ушел, чувствуя себя

не оскорбленным, а виноватым.

В те годы Пикассо особенно чувствовал свое одиночество и даже стал время от времени заходить к Ольге, якобы поговорить об их сыне, который тогда жил в Швейцарии. Однако это единение длилось недолго.

В 1943 году Пикассо познакомился с художницей Франсуазой Жило. Ей исполнился всего 21 год. Новая муза – это был очередной удар для Ольги, которая продолжала ревновать бывшего мужа ко всем подряд. Она писала ему гневные записки на смеси испанского, французского и русского, повторяя в них, что Пикассо ужасно опустился. Обычно она прикладывала к посланиям портреты Рембрандта или Бетховена и объявляла ему, что он никогда не станет таким же великим, как эти гении.

Летом Ольга уезжала в средиземноморский городок Гольф-Жуан, где жили Пикассо и Франсуаза Жило с их сыном Клодом, и донимала Франсуазу оскорблениями и даже попытками рукоприкладства. Та терпела, понимая, что Ольга страдает от одиночества и отчаяния. Мало того, что муж бросил ее – он еще и невзлюбил сына! Пикассо не смог простить Полю того, что тот оказался человеком ординарным, лишенным какого-либо таланта.

Поль провел всю войну в Швейцарии и вернулся в Париж только после его освобождения. У него не было никакой работы, и ему часто приходилось унижаться перед отцом, выпрашивая деньги. А денег требовалось много – Поль принимал наркотики и сильно пил. В 1954 году после тяжелого воспаления легких он оказался на грани смерти. Доктор послал Пикассо телеграмму с просьбой срочно приехать в Канн. Ответа не последовало.

Ольга жила в Канне одна. Она долго и мучительно болела. Ну что ж, она не бедствовала, была богатой женщиной. Но до чего же мучило ее то, что Пикассо «сжег» ее!

Он не лгал: эта судьба постигала всех его подруг и даже Фернанду. В 1958 году, оглохшая и измученная артритом, подхватив пневмонию, она слегла. Марсель-Ева, которую уже никто, естественно, не назвал бы куколкой, как во времена разрыва Пабло с Фернандой, и которая продолжала дружить с Фернандой (ведь Пикассо бросил их обеих!), написала знаменитому художнику о том, как бедствует его бывшая подруга. Пабло все-таки выслал десять тысяч франков, которые помогли выздороветь Фернанде, но больше денег не присылал и видеться с ней не хотел. Она умерла 1 февраля 1966 года в своей квартирке в Нейи, сжимая в руках зеркальце в форме сердца, подаренное в незапамятные времена Пикассо, – ее последнее сокровище!

Неизвестно, скрасило ли ее последние мгновения осознание

того, что пророчество «двусмысленного» Макса Жакоба сбылось не только в отношении ее, Фернанды, но и в отношении «аристократки и настоящей красавицы», которая танцевала даже лучше, чем Ля Гулю. Возможно, Фернанда знала, что Ольга Пикассо умерла еще 11 февраля 1955 года – от рака. Да, Фернанда могла радоваться: Ольга и Пабло и впрямь прожили рядом много лет, но… но они навсегда остались обитателями разных планет. Так сказал в своем пророчестве Макс Жакоб, и так сказал о них приятель Пабло художник Марк Шагал, не знавший о том пророчестве. И они оказались совершенно правы!

Тайное венчание
(Николай Львов – Мария Дьякова)

Санкт-Петербург, 1783 год

Ну, что делать, чему быть, того не миновать, а против судьбы, знать, не попрешь! – размышлял Алексей Афанасьевич Дьяков, бригадир и обер-прокурор Сената, покачиваясь на подушках кареты и исподтишка поглядывая на сидевшую напротив дочь, разряженную так, что убор ее глаза отцовы слепил. – Вот они, Дидоны-то[4] ваши! Вот они, ваши театры! Я говорил! Я так и знал, что до добра это не доведет!»

Он вспомнил недавний разговор с двумя зятьями, Василием Капнистом и графом Стейнбоком, за которых выдал старших дочерей: Александру и Катерину. При разговоре присутствовала и жена, хотя это было против обыкновения Алексея Афанасьевича, баб к делам ответственным не подпускавшего. Но тут без женского участия никак обойтись нельзя было, поскольку решалась судьба дочери Маши. Все-таки неловко, согласитесь, господа хорошие, девку замуж выдать, с ее мамашею не посовещавшись.

А с другой стороны, сколько уж раз советовался бригадир и обер-прокурор Дьяков со своею бригадиршею и обер-прокуроршею относительно пресловутого Машиного замужества! И всегда они с женой были единодушны: *этот человек не* для нее. Кто – она и кто – он?!

Обер-прокурор почуял неладное с первой минуты, как увидел его четыре года назад. Тогда Василий Васильевич Капнист, в ту пору еще жених Александрины, ввел в дом Дьяковых своего задушевного приятеля, Николая Львова, с которым познакомился, обучаясь в полковой школе Измайловского полка и пописывая стишата в рукописный журнал «Труды четырех разумных общников».

Сразу оговоримся: против изящной словесности вообще и ее сочинителей в частности господин Дьяков ничего не имел. Однако это ж какая разница, вы подумайте! Василий Капнист уж написал так написал для разминки пера своего – не что нибудь, а «Ode a l'occasion de la paix conclue entre la Russie et la Porte Ottomane a Kaynardgi le 10 juillet annйe 1774»[5]. Ну а первые вирши Львова, в упомянутом рукописном журнале помещенные, назывались зело многомудро: «Хочу писать стихи, а что писать, не знаю». Творение Капниста вышло отдельной книгою, однако ни в одной книжной лавке невозможно было сыскать поэзы красавчика Львова. Их, видите ли, девицы по альбомам да по тетрадкам

списывали, сии чувствительные стишата:

…Вот сей-то прелестью волшебною мутится
мой дух, когда я зрю тебя перед собой.
Из жилы в жилу кровь кипящая стремится,
теряются слова, язык немеет мой!
Понятно, кем строки сии были вдохновлены!

Господин обер-прокурор при виде нового гостя немедля скосоротился, ибо милашек мужского пола он на дух не переносил, а этот… Что Капнист собой пригож, это ладно, он хоть богат, поместья его малороссийские многое дозволяют, многое прощают, даже и чрезмерное благообразие, мужчине вовсе не потребное и даже вредное. А у этого Львова из богатств – одно лишь убогонькое сельцо Никольское близ Торжка, на берегах болотистой, осокой поросшей Овсуги. Всяк сверчок знай свой шесток! Но и недостаточный Львов туда же, в красавцы подался! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Хотя… что и говорить: и ростом он высок, и глаз горит синим прельстительным огнем, и станом строен, и волосом светел, и ликом чист.

А в разговоре каково смел, каково речист! Ну еще бы – только что из дальних стран, всякие там Италии да Франции, да Неметчину вдоль и поперек изъездил-изошел, соловьем разливался о Дрезденской галерее, о колоннаде Лувра и, конечно, о Риме, отечестве искусств и древностей. Ну, добро бы только взирал на величавые формы Колоссео и Эскуриала, так он еще по театрам во Франции, отечестве всякого непокоя и вольнодумства, шлялся! Не токмо классические трагедии зрел, но даже и модные комические оперы. А ведь не для того ездил, чтобы восемь месяцев в пустых забавах проводить: по делам Коллегии иностранных дел, в коей состоял чиновником VIII класса.

Серьезный это человек? Никак нет, господа!

Да и происхождения малый сей был не бог весть какого. Сын отставного новгородского губернского прокурора Александра Петровича Львова и жены его Прасковьи Федоровны, урожденной Хрипуновой. Правда, родня у него в Санкт-Петербурге влиятельная: двоюродный его дядя Михаил Федорович Соймонов – химик, геолог, возглавлявший Горное ведомство и Горное училище, он и приютил, он и лелеял, как сына, своего провинциала-племянничка, когда тот, чуть сравнялось ему восемнадцать, прибыл в Петербург – для прохождения

действительной службы в Преображенском полку и получения образования. Надоело, конечно, киснуть в глуши. Вот и лез из кожи вон, прибиваясь то к одному дому, то к другому, втираясь в приятели к богатым да знатным, способным да талантливым, вроде Капниста да Хемницера, с которыми сдружился еще в полковой школе Измайловского полка, где проходил начальное военное обучение. Ну и понятно, загорелось этому выскочке взять в жены одну из первых петербургских красавиц, одну из самых завидных невест – Машеньку Дьякову. И мало что хороша сказочно, мало что умница, да ведь еще и голос… Небось на сцене составила бы себе состояние таким голосом.

Посватался к ней Львов – и получил отказ.

Посватался вдругорядь – ответ не изменился.

А как могло быть иначе? Разве он Машеньке пара? Нет!

Так и провозгласил обер-прокурор, ничуть не сомневаясь, что жена его с ним будет согласна.

Она-то была согласна, спору нет. А вот Машенька…

Тогда впервые усомнился Алексей Афанасьевич в уме дочери, о коем был столь высокого мнения. Она – поверить невозможно! – готова была выйти за Львова! С радостью, сказала она, с радостью! Люблю-де его и жизни без него не мыслю.

Дьяков и руки врозь. Откуда это на его голову?!

Жена тоже глаза вытаращила. Знать не знала о такой нелепой склонности дочери. Да ведь пять девок в доме, пять сестриц, пять девок на выданье. Одна другой краше да смелей – ну разве за всеми углядишь?! А грех в нынешнем веке уже по углам не таится: так и свищет, так и рыщет, со всех сторон к добрым людям цепляется. Матушка Екатерина, ее императорское величество, по заслугам прозывается великой государыней, ничего не скажешь, однако же не токмо благие веяния от двора исходят, но и тлетворности распутные. Это всем известно, хоть в приличных домах, вроде обер-прокурорского, вслух о таком не говорят.

Ну да, голова-то ведь – она одна, ежели кому надоела – то молоти языком!..

По прокурорскому мнению, дочек следовало бы безвыходно-безвыездно в светелке держать. Однако попробуй заикнись об этом: прослывешь медведем косматым и будешь осмеян светом. К тому же сама матушка-императрица как-то раз услышала Машино пение и многажды потом его расхваливала. Ну разве запретишь после этого дочке горло драть на любительской сцене? В ту пору среди светских людей, увлеченных литературой и музыкой, модно стало сочинять стихи, подходящие к музыке популярной, бывшей на слуху у всех. Это называлось «сочинением на голос»,

то есть на мелодию, напев. Подобные стихи даже печатались в журналах, как «песни на голос» такой-то песни. Музыкальной основой выбирались и иностранные романсы, и русские песни, и даже псалмы и канты. Обер-прокурор знал, что этакие забавы писали вполне приличные господа, двором обласканные: Нелединский-Мелецкий, Дмитриев, Капнист, упомянутый не единожды, знаменитый сочинитель Карамзин. Тут же и Львов вертелся, в обществе сем, которое и сочиняло, и пело, и в домашних музыкальных спектаклюсах участвовало. Все пятеро дочерей обер-прокурора играли в них. Да и сын Николай, любитель музицировать и ноты сплетать в мелодии, в стороне не остался. Ну а Маша с ее голосом заслуженно считалась примою.

Уповал Дьяков лишь на то, что оперы сии ставятся в приличном доме господина Петра Васильевича Бакунина-меньшого, сановника, дипломата Коллегии иностранных дел. Эх, эх, не знал он в ту пору, что именно господин Бакунин некогда пристроил Николая Львова курьером в Коллегию, да и потом оказывал ему всякое покровительство, пока тот не дослужился до первого своего чина. Ну и неудивительно, что именно у Бакуниных Маша со Львовым свиделась и познакомилась.

Этот франтик тогда только заявился из-за границы и понавез всяческих модных нот и пиес, от коих молодежь, да и народ постарше, попочтенней с ума сходил. Привезена была и комедия Реньяра «Игрок», и комическая опера Саккини «Колония» на текст Фрамери. Сам Львов для бакунинского домашнего театра тоже написал оперу «Сильф, или Мечта молодой женщины», содержание которой было почерпнуто из комедии французского драматурга де Сен-Фуа – стремление к счастливой супружеской жизни. Для Львова это был, конечно, вопрос животрепещущий.

Люди из самого высшего общества не гнушались бывать у Бакунина на постановках. Поглядев, какая сбирается публика (бывал там даже Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны и сам некогда фаворит ея же), почтили постановку «Игрока» и «Колонии» и обер-прокурор Дьяков с супругою. Восхитились Машенькой: в «Колонии» она играла роль поселянки Белинды. Львова же, в «Игроке» певшего партию благородного Жеронта, едва можно было отметить – ну разве что ростом он выделялся, а миловидность его вся была гримом перемазана.

Ну что ж, хоть сам Дьяков Львова не разглядел, зато дочка его ох как разглядела… и с тех пор только его одного во всем белом свете и видела! А толку-то?

Отец был неколебим. Запрет – строжайший запрет! – был наложен на визиты сего господина в дом обер-прокурора. Однако

ж Маша и Львов видеться продолжали – на балах, на гуляньях, на катаньях, ну и все у того же Бакунина. Конечное дело, надо было девку в чулане запереть да розгами отходить, чтоб никаких ей опер, никаких комедий, чтоб только и могла по струнке ходить да лепетать: «Как скажете, папенька!» Но что сталось бы с Дьяковым, коли прознали бы о сем при дворе? К тому же любимец отцовский, Николай, за сестру вступался, девки-дочки дурными голосами верещали: вы-де, папенька, тиран, деспот и Зоил!

Выучил грамоте на свою голову, поначитались разных Сумароковых…

Ну, пришлось позволить Маше ездить к Бакунину, тем паче что и сам Петр Васильевич заискивал в сем и уверял: без Марии-де Алексеевны никому не спеть Дидону.

Конечно, можно было придраться, не пустить дочку участвовать в новом спектакле… И повод имелся! Ведь автором «Дидоны» был кто? Иван Княжнин, опальный драматург, судимый военным судом за растрату казенных денег и приговоренный к повешению. Однако за него ходатайствовал маршал Разумовский, и смертную казнь отменили: Княжнина разжаловали в рядовые солдаты и определили в Санкт-Петербургский гарнизон. «Дидона» была его первым сочинением, а вторая драма, «Владимир и Ярополк», была запрещена императрицею якобы из-за «многих театральных неисправностей» пьесы. Впрочем, всякому было ведомо, что Екатерина-матушка на самом деле недовольна политическим подтекстом сочинения. И правильно, мыслимое ли дело – подрыв веры в непогрешимость монаршей власти! Княжнин был осужден.

Понятно, что постановка «Дидоны» у Бакунина наделала много шуму. Мало того, что блистал здесь актер Дмитриевский, который находился в зените своей славы, – голос Марии Алексеевны Дьяковой в очередной раз произвел фурор. Немало денег было потрачено на эффектность зрелища. Чего стоила одна картина горящего Карфагена, в огонь которого бросалась в финале Дидона, сиречь Машенька, разлученная с любимым и не пожелавшая за немилого идти!

А спустя некоторое время содеялся в доме обер-прокурора свой собственный Карфаген.

Львов, видимо, окрыленный успехом на подмостках, снова появился с предложением руки и сердца.

— Ни-ког-да! – был ответ Дьякова.

— Почему? – нагло спросил Львов.

Дьяков был настолько потрясен сей неучтивостью, что даже снизошел до ответа:

— Да потому, сударь, что человек вы несерьезный. Неуч.

Числитесь в Иностранной коллегии, ну так и трудитесь там. Однако же чем только не занимаетесь! И геолог вы, и строитель, и пиит, и музыкант, и у мужиков песни выспрашиваете да переписываете, и дома строите, и картинки к книжкам рисуете, и… Туда-сюда кидаетесь, а это солидному человеку, отцу семейства, невместно. Посему подите прочь и более не являйтесь.

Бледный, с измученными глазами, с дрожащим ртом, жених удалился. Разумеется, его не допустили повидаться с Марией Алексеевной – еще чего! Она ждала решения родительского в своей спаленке.

— Вы, папенька, видать, смерти моей хотите? – спросила устало, когда услышала, что Львову снова пришлось удалиться ни с чем. – Неужели не понимаете, что я ни с кем больше не пойду под венец, только с ним одним? Или умру!

— Что? – разбушевался Дьяков. – Грозить мне вздумала? Не отдам за этого нищего!

— Не в деньгах счастье, – проговорила Маша. – Горько мне, батюшка, милый, что вы меня на золото да серебро поменять хотите. Все выгадываете что-то, словно на базаре…

От такого непонимания обер-прокурор обезголосел. Только мысленно смог выплеснуть обиду: «Мать честная! Да было б у тебя, дуры молодой, пять дочек-невест, да каждой приданое дай, посмотрел бы я на тебя, как бы ты высчитывала да выгадывала. Отец о счастии дочернем заботится, а в благодарность что получает?» Наконец смертельно оскорбленный Дьяков обрел дар речи и прошипел не в меру зло:

— Не выгадывать, значит? Не буду! Выдам тебя за первого, кто посватается, будь это хоть нищий с паперти! Поняла? За первого! Так что сиди под окошком и выглядывай своего суженого!

Крепко его обидело упрямство дочери. Так что на все готов был, только бы ее обломать.

— Алексей Афанасьич, свет мой батюшка! – прошептала ужаснувшаяся супруга. – А ну как и впрямь присватается какая-нибудь сила нечистая?! Опойка либо старик? Неужто дочкину жизнь поломаешь?

Обер-прокурор коротко рыкнул что-то нечленораздельное, и жена отстала.

Ночь прошла в тревогах. По приказу Дьякова сторожей, что ходили вокруг двора дозором, увеличили числом вдвое. Отец боялся, что Машенька вдруг да ударится в бегство к Львову. Бывало такое, что девки венчались с женихами, не желанными родителями, увозом, убегом, уходом. Кому было знать об этом, как не обер-прокурору, ведь порою такие истории до суда

доходили… Нет, этого позора в своем доме он не допустит, даже если придется Машу скрутить по рукам и ногам. Жене и младшей дочке Дашеньке Дьяков приказал неотлучно находиться при ослушнице, спать в одной комнате с нею. В глубине души он еще испугался мятежного блеска ее глаз. А ну как не побоится греха и что-нибудь над собой учинит?..

Ох и крутился Алексей Афанасьевич той ночью в постели, ох и поджаривался на горячей сковородке своих мыслей и страхов! А поутру, едва позавтракали, доложили, что прибыл гость. Господин Хемницер просит принять.

Дьякова аж перекосило.

Иван Иванович Хемницер служил при Соймонове, директоре Горного училища, состоял в числе членов ученого собрания при сем училище, носил звание обер-бергмейстера и переложил на русский язык сочинение академика Лемана «Кобальтословие, или Описание красильного кобальта». И тоже был пиит! Недавно издал собрание своих басен, о которых сразу заговорили, хотя вышли они без имени автора: то ли поскромничал Хемницер, то ли побоялся, как бы явные намеки на современность не повредили его службе. Против мягкого, приветливого Хемницера обер-прокурор ничего не имел, кроме одного: он был приятель Василия Капниста, а значит, и несостоявшегося женишка – Львова.

Небось хлопотать приехал! Может, не принимать?

Обер-прокурор совсем уже собрался сказать, что нездоров, как вдруг обратил внимание, что лакей слишком уж бледен, чисто мукой присыпан.

— Ты чего трясешься-то, Никиша? – ласково спросил лакея Алексей Афанасьевич.

— Я с его человеком, Федькою, словом перекинулся… – всхлипнул лакей. – Он сказывал, господин-де Хемницер свататься к Марии Алексеевне приехали.

— Мать честная, ну просто покою от женихов нет! – хмыкнул было Дьяков – и подавился смешком, сообразив, отчего так переживает Никиша. Да ведь все домашние слышали его вчерашние угрозы! В том числе и дворовые люди. Хозяин дома не сдерживал голоса, когда орал, да ногами топал, да сулил отдать любимую дочку за первого встречного-поперечного.

Ну вот он и явился не запылился, господин баснописец Хемницер… Суженый Машенькин.

Мать честная, еще ведь и неизвестно, кто хуже, Львов или этот… Эзоп доморощенный!

Но делать нечего. Раз сказано – значит, быть по сему. Слово обер-прокурорское крепче камня!

— Проси подождать, приму скоро, – выговорил Дьяков хрипло. – А мне – одеваться!

До последней минуты он надеялся, что у Хемницера какие-то иные надобности, иные дела. Что прибыл он именно к обер-прокурору Дьякову, а не к Алексею свет-Афанасьевичу, отцу девицы Марии Алексеевны.

Напрасно надеялся.

Выслушал сбивчивое предложение руки и сердца, зажмурился, словно в ледяную воду кинуться собрался, и тяжело уронил:

— Согласен. Берите за себя девку!

Хемницер глаза так и вытаращил. Не ждал, видимо, скорого согласия. С испугу да от изумления начал бекать и мекать:

— Да как же… да что же… А согласия Марии Алексеевны не надо ли спросить?

— Никуда не денется она, пойдет с вами под венец. – И крикнул: – Никиша! А ну, зови Машку!

Спотыкаясь от волнения, лакей ушел. Спустя некоторое время появилась дочь: в лице, совершенно как у Никиши, ни кровинки, губы поджаты, глаза опущены. Следом семенила перепуганная мать.

— Ну, Машенька, – откашлявшись, изрек обер-прокурор. – Вчера я тебе посулил найти жениха хорошего. Вот Иван Иванович тебя сватает. Я не против твоего счастия. Совет вам да любовь. Подать икону, благословлю жениха с невестою!

Он думал, Машка сейчас без чувств грянется или в слезы ударится, однако она даже не шелохнулась, и в лице ее ничто не дрогнуло.

— Благодарствуйте, батюшка, – выговорила чуточку охриплым голосом. – Только дозвольте мне с *женихом*, – при этом слове она блеснула на отца глазами, – одним словом перемолвиться.

Ох, Дьякову бы не слушаться… Дьякову бы скрепиться… но жена ухватила его за руку, лакей услужливо распахнул двери, а Хемницер закудахтал:

— Конечно, конечно, Мария Алексеевна, нам с вами непременно нужно поговорить!

Дьяков и сам не помнил, как вышел за дверь. Плюхнулся в другой комнате в кресло, чуя недоброе…

Не прошло и пяти минут, как дверь распахнулась и вышел Хемницер – ну и ну! Краше в гроб кладут!

— Великодушно извините, ваше высокопревосходительство, – пробормотал жених чуть слышно. – Однако я осознал, что поступил опрометчиво, домогаясь руки и сердца Марии

Алексеевны. Сия прекрасная девица не для меня. Я оной недостоин. Прощайте!

И опрометью выскочил вон, словно боялся, что обер-прокурор сейчас опробует на нем крепость своей трости. А у того, что уж и говорить, такое искушение было, было…

Однако лишь захлопнулась за беглецом одна дверь, как в другую вошла Маша.

— Милый, любезный батюшка, – проговорила она твердым голосом, – коли не хотите более позору для нашего имени, дозволяйте мне самой на жениха поглядеть прежде, чем вы нас благословлять приметесь!

И вышла вон.

Дьякова тогда чуть удар не хватил… Не стоит описывать всех слов, какие он вслед дочери выкрикнул. Дело дошло до того, что пришлось за лекарем посылать и пиявки к вискам ставить, чтобы вскипевшую кровь оттянуть!

Однако ничего, к ночи ему полегчало.

Да уж, вот Карфаген так Карфаген…

Да что ж она такого сказала Хемницеру? Но узнать об сем не удавалось. Так и не удалось.

Сначала Алексей Афанасьевич мечтал высечь строптивицу или в монастырь отправить. Уплакала жена, улестили Капнист да граф Стейнбок. Да и у него самого постепенно улеглась злоба против любимицы. И с тех пор, встречая очередного претендента на Машенькину руку (они не обходили дома Дьяковых!), он прежде звал дочку. И заранее знал – дело кончится отказом.

Так прошло четыре года, и постепенно жениховская тропа к Машеньке стала зарастать травой. Ну а как же – двадцать восьмой годок пошел девице Дьяковой! Она ведь не девица уже, старая дева!

Жена точила слезы. Машенька ходила с горделивым, надменным видом мученицы. До Дьякова то в одном, то в другом доме доходили слухи о новых стихах, коими полнились девичьи альбомчики:

Нет, не дождаться вам конца,
Чтоб мы друг друга не любили.
Вы говорить нам запретили,
Но, знать, вы это позабыли,
Что наши говорят сердца…
Понятно, кому сии строки принадлежали!

Господин обер-прокурор злился, бранился, сделался крут на расправу со слугами – и с каждым днем все отчетливей понимал, что сам погубил жизнь своей дочери. И почти с облегчением встретил зятьев, Капниста да Стейнбока, которые однажды на пару заявились в дом, приперли тестя к стенке и потребовали – потребовали! – принять очередное сватовство Николая Александровича Львова благосклонно, чтоб две жизни, его и Машину, вовсе не губить.

И наперебой начали перечислять его достоинства. Дьяков, набычась, выслушивал: Львов-то уже не простой чиновник VIII класса, а коллежский советник, член Российской академии, самый обещающий архитектор столицы – его проект собора в Могилеве одобрен Екатериной II, а австрийский император Иосиф II подарил ему золотую с алмазами табакерку в знак восхищения его архитектурными новациями. Утверждены к строительству проекты Невских ворот Петропавловской крепости и здания «Почтового стана» – главпочтамта в Петербурге. Государыня после совместного путешествия по России расположения к Львову не скрывает; граф Безбородко ему покровительствует и гордится дружбой с ним; цесаревич Павел Петрович жалует его своим доверием. Известнейшие служители муз – поэты, художники, музыканты: Державин, Храповицкий, тот же Хемницер, Муравьев, Капнист, Оленин, Левицкий, Боровиковский, Фомин – во всеуслышание называют Львова гением вкуса, уверяют, что «приговор его превращают себе в закон».

Боже мой, почти в испуге думал Дьяков. Откуда что взялось? Как же так вышло, что он ничего не слышал о бурных, невероятных успехах «несолидного человека» Львова?! Да ясное дело: просто слышать не хотел.

— Милый ты мой Алексей Афанасьевич, светик, – сказала, заплакав, жена. – Да пусти ты Машеньку замуж за ее Львовиньку! Ну ведь помрет доченька, отцветет попусту… Не бери греха на душу, не губи милушку нашу!

Дьяков огляделся, набычившись, и – махнул рукой:

— А ну вас! Делайте что хотите!

За дверью послышался тяжелый звук. Дьяков догадался, что дочка подслушивала под дверью и теперь грянулась без чувств, и заплакал от облегчения, что все уже позади…

И вот он сейчас везет Машеньку в церковь, где ждет ее жених. Везет венчаться свою любимую дочь, а сам понять не может, отчего так бледно ее лицо, отчего она вроде бы и не радостна. Может, раздумала? Кто их разберет, девок нынешних? Они все такие, ну уж таки не Дидоны!..

А вот будет смеху, ежели Марья в церкви вдруг скажет: не хочу-де за Львова, не стану венчаться с ним, передумала!

Дьяков мысленно перекрестился: Господи помилуй, ну уж этого он не переживет, точно не переживет! Да пусть Машка попробует зауросить! Он ее своими руками под венец потащит! Пинками, а выдаст за Львова!

Для венчания выбрали церковь в Ревеле, где жил граф Стейнбок и его жена Екатерина. В их огромном доме решено было устроить свадебный пир. Однако по категорическому настоянию жениха и невесты на венчании должно было присутствовать лишь самое малое количество народу, не более десяти человек самых близких родственников и друзей.

Сначала Алексей Афанасьевич ничего против этого не имел, однако сейчас ему во всем виделось недоброе…

Когда карета с невестою и ее отцом въехала на церковный двор, Дьякова поразили вытянутые лица собравшихся. Жена, прибывшая загодя, была явно не в себе и то и дело промокала платочком глаза. У дочек и сына Николая лица были такие, словно никто из них не знал толком, смеяться или плакать. Только Александра Алексеевна, жена Капниста, улыбалась и задорно поглядывала на мужа.

Василий Васильевич Капнист заторопился к тестю. От него не отставал и Львов, и Дьяков услышал, как Маша глубоко вздохнула при виде озабоченного жениха.

«Ой, что сейчас будет…» – обреченно подумал обер-прокурор, сердце которого вдруг сжалось от недоброго предчувствия.

— Не сказала еще? – прошептал Львов, целуя руку невесте и исподтишка заглядывая в ее прекрасные голубые глаза.

Она покачала головой, шепнула дрожащими губами:

— Не осмелилась. Вы уж с Васенькой сами скажите.

— Батюшка, – сухо кашлянув, проговорил Капнист. – Мне следует вас осведомить…

— Нет, погоди, Василий, друг, лучше я! – Львов решительно шагнул вперед. – Простите великодушно, сударь, Алексей Афанасьевич, но… но обстоятельства так складываются, что мы с Машенькою ныне повенчаны быть не можем. И никогда уже не сможем. Никак…

Санкт-Петербург, 1779 год

— Батюшка, – робко сказала Маша, – вы все говорите, Николай-де Александрович человек легкомысленный, а он по

службе семимильными шагами продвигается. К нашему посольству в Испании причислен…

— Ну и пускай едет в свою Испанию! – фыркнул Дьяков. – Самое ему там место!

Маша опустила глаза. Сашенька и ее жених Василий Васильевич Капнист переглянулись, но промолчали, ни словом не поперечились.

— Опаздываем, господа хорошие! – сказал Дьяков, весьма довольный таким послушанием. – Ведь не к кому-нибудь на бал званы, а к самому Безбородко! Негоже опаздывать к министрам. А мне еще по пути надобно в Сенат заглянуть…

— Да вы поезжайте по своим делам, сударь, – сказал Капнист. – А я Сашеньку с Машенькой сам на бал доставлю, в своих санях. Там с вами и встретимся.

— Хорошее дело! – обрадовался Дьяков тому, что не придется всю дорогу смотреть в обиженные глаза дочери, и укатил.

Лишь только за ним закрылась дверь, как молодые лица оживились, словно по волшебству.

— Ну, скорее! – велел Капнист. – Нам еще Свечина по пути забрать.

Сашенька схватила сестру за руку и повлекла к лестнице.

Разместились в санях.

— В Галерную гавань! – велел Капнист вознице и подмигнул.

Тот улыбнулся в ответ и разобрал вожжи.

Покатили.

— Третьеводни, – вдруг сказала Сашенька с самым невинным видом, – у Пономаревых видела список новых стихов:

Мне и воздух грудь стесняет.
Вид утех стесняет дух.
И приятных песен слух
Тяготит, не утешает.
Мне несносен целый свет –
Машеньки со мною нет…

— Хорошие стихи, – солидно произнес Капнист. – А кто автор?

— Имени автора не называли! – Тут Сашенька не удержалась и хихикнула.

— А Львовинька меня в Испанию звал – тайно венчаться… – промолвила Маша.

— Зачем так далеко? – отозвался Капнист.

За поворотом линии маялся Свечин, общий приятель Львова и Капниста. Завидев подъезжающих, просиял, замахал руками, вскочил в сани, сестрицам ручки расцеловал, Капниста хлопнул по плечу, ну а вознице, конечно, подмигнул.

Подкатили к маленькой церквушке в Галерной гавани.

У крыльца топтался… Львов.

Засиял, кинулся к саням, подал руку Маше, но не утерпел, выдернул ее из саней, прижал к себе…

Сашенька хихикнула, Капнист деликатно отвел глаза.

— Непорядок, – солидно сказал Свечин. – Невесту вести к алтарю – дело посаженого отца. Мое, стало быть! А ты, Николаша, иди, иди, ты нас в церкви встречать должен.

Львов, бросив пылкий взгляд в Машины испуганные глаза, ринулся в церковь. Спустя некоторое время чинно, медленно прошли две пары: Свечин с Машей и Капнист с Сашенькой. В церкви уже ждали священник и брат Львова, Федор, который и стал шафером у жениха. Венец над Машей держал Капнист.

Новобрачные обменялись кольцами, которые надеть на пальцы было невозможно: и Маша, и Львов будут носить их до поры до времени на шее, рядом с крестильными крестами.

— Ну вот, – пробормотал Капнист, пожимая руку счастливому другу. – А вы говорите – в Испанию бежать! Небось и на Руси церкви не перевелись. А ты пишешь: «Машеньки со мною нет…» Вот она, с тобой теперь.

«С тобой», да не совсем: муж и жена поцеловались… и разъехались. Львов с братом и Свечиным – к нему на квартиру в Почтовом ведомстве, ну а Капнист с сестрами, одна из которых пока еще оставалась Дьяковой, а другая теперь уже стала Львовой, поспешили к дому Безбородко.

На крыльце, словно нарочно, столкнулись с Дьяковым.

— Что столь долго-то?! – удивился он.

Сашенька так и вцепилась в руку сестры. Ой, что будет! Однако Маша была совершенно спокойна:

— Простите, батюшка. Веер отыскать не могла, вот и задержались.

— А, ну-ну… – пробормотал Дьяков и вошел в дом.

Капнист обернулся к вознице и подмигнул на прощанье.

Тайну сего венчания участники его хранили свято – не год и не два, а четыре года!

Никто из людей посторонних и помыслить не мог, отчего блестящая красавица Мария Дьякова дает от ворот поворот одному жениху за другим. Открыла она правду только человеку, который истинно сходил по ней с ума – так же, как она сходила с

ума по Николаю Львову. Имя этого человека было – Иван Хемницер…

Сердце его стало отныне заперто для любви. Одна Маша жила в нем – однако и дружеские чувства к Николаю Львову он не смог забыть. Он мечтал уехать из России – Львов помог ему в этом, оказав протекцию у Безбородко. Летом 1782 года Хемницера назначили на должность генерального консула в Смирне. Он не чувствовал ни малейшей склонности к дипломатии, однако дело свое исполнял исправно. Хемницер постоянно писал Львову, спрашивая, открылись ли их с Машею обстоятельства, или все еще продолжается «комедия».

«Четвертый год, как я женат… легко вообразить, извольте, сколько положение сие, соединенное с цыганскою почти жизнию, влекло мне заботы, сколько труда… Недостало бы, конечно, ни средств, ни терпения моего, если бы не был я подкрепляем такою женщиной, которая верует в Резон[6], как в единого Бога», – с горечью отвечал Николай Александрович другу своему.

Хемницер еще успел узнать о том, что «комедия» благополучно разрешилась. Но никому не ведомо, обрадовала ли его весть эта или, напротив, стала его последним, предсмертным огорчением: он скончался в Смирне в 1794 году от пустяшной заразы.

Подозревал об истинности отношений Львова и Марии Дьяковой и еще один друг Николая Александровича – художник Дмитрий Левицкий, преподававший в Академии художеств класс портретной живописи. В 1778 году он получил заказ от обер-прокурора – написать портрет Машеньки. Красота этих голубых глаз, этих нежных губ, этого мягкого овала лица, этих темно-русых пышных волос поразила его в самое сердце. С нежностью и восхищением выписывал он каждую атласную складочку, каждую кружевную волну ее наряда, каждую шелковую ленточку.

Граф Сегюр, увидев этот портрет в мастерской художника, написал на обороте его:

Как нежна ее улыбка,
Как прелестны ее уста,
Ничто не сравнится с ее изяществом…
В ней больше очарования,
Чем смогла передать кисть.
А в сердце даже больше
добродетели,
Чем красоты в лице.

Левицкий выразил свою любовь в этом портрете Маши и еще в одном, написанном спустя несколько лет… незадолго до того дня, когда камень, называемый «сердце обер-прокурора и бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова», дал-таки трещину!

Санкт-Петербург,
1783–1807 годы

Еще недавно, в 1781 году, отправившись в Италию по поручению императрицы, пожелавшей увеличить коллекции Эрмитажа, Николай Львов в своем дневнике среди деловых заметок уныло записал:

Уж любовью оживился,
Обновлен весною мир,
И ко Флоре возвратился
Ветреной ее Зефир.
Он не любит и не в скуке…
Справедлив ли жребий сей –
Я влюблен и я в разлуке
С милою женой моей.
Счастье будет. Вот только – когда?
И вот наконец настал этот миг!

И что же? Львов и Маша стоят в Ревеле на церковном крыльце и заявляют потрясенному отцу, что венчаться не могут и не станут… потому что они уже обвенчаны!

Какой пассаж! Какой, однако, пассаж, господа!

Хочешь смейся, хочешь плачь.

Обошлось без слез и смеха, впрочем. Пока обер-прокурор еще не пришел в себя и не начал, по своему обыкновению, кричать и проклинать, Львов заявил, что привез в церковь пару крепостных, юношу и девушку, которые немедля желали бы пожениться. Обряд венчания будет соблюден, а о том, кого там, собственно, венчали, будут знать только самые близкие. И в интересах самого же Алексея Афанасьевича помалкивать – и теперь, и впоследствии.

Алексей Афанасьевич не издал ни звука.

«Старею!» – подумал он, дивясь сам себе.

«Наконец-то поумнел!» – подумали остальные.

После свадебного пира у графа Стейнбока, в доме которого «молодые» провели «первую брачную ночь», Львов отвез Машу в свою казенную квартиру Почтового стана, куда она прежде несколько раз прибегала лишь украдкой. Однако теперь следовало заняться устройством собственного поместья под Торжком – в деревне Черенчицы. Дом еще не был достроен, когда Маша родила там их первого сына Леонида, своего рода тезку отца: ведь имя это в переводе с греческого означает «сын льва», «из рода львов». Ну что ж, поэты остаются поэтами, игры в слова они обожают!

Вскоре Львов превратил деревенский дом на берегу болотистой Овсюги в усадьбу – один из своих архитектурных шедевров.

Он был ведущим зодчим своего времени. Около ста архитектурных построек создано по проектам Львова в Санкт-Петербурге, Москве, Могилеве, Смоленске и, конечно, в Торжке и Новоторжском уезде.

Девятого июня 1785 года в Торжке состоялся праздник: в древнем Борисоглебском монастыре закладывали новый собор по проекту Львова. Сама императрица Екатерина вооружилась серебряными молоточком и лопаточкой и уложила первый камень.

Храм этот построен в стиле русского строгого классицизма и гармонично вписался в общий вид монастыря. Причем, откуда ни погляди на него, он смотрится по-разному: со стороны реки открывается легкий силуэт, а от въездных ворот видны два монументальных фасада. И в Борисоглебском соборе, так же как и в могилевском, Львов воплотил свою любимую идею: двойной купол.

Римские зодчие придумали открытый в небо купол-фонарь, и эта находка очаровала Львова. Однако в русском климате такое архитектурное решение было невозможно, поэтому Львов нашел свое: сквозь круглый вырез темени нижнего свода видно нарисованное небо верхнего, освещенное с помощью невидимых окон между сводами.

Львов также продумал интерьер собора: пол из чугунных плит, колонны и стены отделаны «под мрамор» палевого цвета, все тридцать семь икон для главного иконостаса «писаны на казенный счет В. Л. Боровиковским», замечательным портретистом и живописцем.

Многое из творений Николая Александровича разрушено временем и людьми, но на главной площади Торжка, на берегу

Тверцы, и поныне стоит стройная двенадцатиколонная ротонда – излюбленная архитектурная форма Львова. Множество дворянских усадеб в окрестностях Торжка созданы по его проектам или при участии Львова, одержимого мечтой о гармонии архитектуры с природой и человеком. Именно поэтому его излюбленным отделочным материалом был «дикий» камень-валун. Он часто строил арочные мосты с затейливыми гротами – создавал истинные каменные симфонии.

Невозможно простым умом вообразить и осмыслить прихотливость его придумок. Это настоящая фантастика, которая заслуживает не простого перечисления, а капитальных исследований. Тщательность, с какой Львов подходил к планировке того или иного дома, поразительна. Предусматривалось все, от внутреннего оформления комнат до проведения по необходимости дренажных работ и строительства хозяйственных построек!

Между прочим, Дьяков был не прав, когда называл его «неучем». Конечно, Львов никогда и ничему не учился нарочно: вот выучусь, к примеру, на архитектора и стану им! Он просто-напросто был гениальным самоучкою.

В Петербурге Львов проектировал и строил Главпочтамт, Приоратский дворец в Гатчине, Невские ворота в Петропавловской крепости, дом Державина на Фонтанке, уникальную Троицкую церковь… В Москве – это дом Воронцова на Немецкой улице, парк на Воронцовом поле, усадьба Лопухиных Введенское в Звенигороде… Многое, очень многое из тех построек, в которые вдохнул жизнь Николай Александрович Львов, ушло, к сожалению, в небытие. Или, как Готический корпус в Кремле, изменено позднейшими перестройками.

Один из лучших друзей Львова, Гаврила Державин (женившийся, между прочим, на Машиной сестре Дашеньке), писал:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Это все верно, конечно. Но Львов-то был убежден, что строит на века! Во всех его творениях чувствуется спокойная уверенность человека, вполне счастливого и довольного. Ведь, по его собственному признанию, Львов был «на счастии женат»!

Для того чтобы его «счастию» жить было хорошо и удобно, чтобы привольно росли дети Леонид, Александр, Елизавета, Вера, Прасковья, в центре своей усадьбы, на пригорке, он поставил трехэтажный дом с бельведером, оснащенный немыслимыми по тому времени удобствами: водоподъемная машина подавала воду на второй этаж, отапливался дом по «воздушной» системе, которую Львов сконструировал и описал в книге «Пиростатика воздушных печей». Ведь, по мнению Львова, «та печь лучше, которой совсем не видно. Ее дело греть, а украшать печами комнаты последнее дело…» Камины также были особого устройства – своего рода кондиционеры: через отдушины в наружной стене дома поступал свежий воздух; затем он, проходя через змеевик камина, нагревался, по каналу поступал в своеобразные вазы, что стояли рядом с камином, наполненные розовой водой или душистыми травами. Через решетки ваз свежий, теплый дух наполнял комнаты.

Задолго до появления водяного отопления Львов изобрел для своего дома «паровую кухню» – пар варил кушанья, мыл посуду, вращал вертела. Дом был удобным и уютным. Мария Алексеевна оказалась не только чудесной певицей, но и рукодельницей: смастерила необыкновенные обои, расшитые разноцветной шерстью по соломе.

Жилось здесь не только удобно, но и весело: часто устраивали любительские концерты, пели народные песни и романсы. Две дворовые девушки Львовых, Дашенька и Лизанька, славились своими голосами, да и дочери поэта Елизавета и Вера не отставали от них. Был также хор и оркестр из крепостных, для которого он сам готовил капельмейстера – мальчика, обучавшегося у Сарти. Львов писал жене: «Для него (Алексашки) и двух моих девочек напишу я маленькую драму и пришлю к твоему песнословию; а теперь посылаю к тебе готовую почти оперку, для того чтобы дать тебе работу и практику, положить инструменты к тем голосам, у которых оркестра не отыскалось. Потрудись, зимою привези, и мы заиграем: 48 человек музыкантов к твоим услугам».

Правда, всеми этими радостями сам хозяин мало пользовался: он постоянно был в разъездах по геологическим изысканиям, строительству, издательской деятельности.

С любимыми прощусь
И только с одной
Женой не разлучусь, –

в утешение писал он Маше, с которой, увы, разлучался слишком часто, но не по своей воле, а по государственным надобностям.

Николай Александрович обладал счастливым даром быть любимым правителями. Екатерина привечала его, несмотря на то что он был своим человеком и в Гатчине, у наследника Павла Петровича. Настороженный, против всех тайно озлобленный, цесаревич испытывал непонятное, необъяснимое, спокойное доверие к Львову. И вот сколь далеко оно простерлось.

Как известно, отец Павла, покойный император Петр III, остался некоронованным, и Павел, едва взойдя на престол, решил исправить историческую ошибку. Львов был послан в Москву, в Успенский собор, за царскими регалиями. Еще не была погребена Екатерина, когда гроб с телом Петра Федоровича отрыли и возложили на него знаки царского величия – короновали и снова зарыли. А Львов был послан отвезти регалии обратно.

Павел доверял Львову потому, что тот был масоном. В те времена орден привлекал людей образованных, одержимых желанием устроить счастье человечества с помощью плодов просвещения. Сам Павел принадлежал всеми своими помыслами Мальтийскому ордену и тоже мечтал о гармонии на земле вообще и в России в частности. Одно дело, что представления бедного императора об этом счастье были столь же убогими, как и его собственный ум.

Другое дело – ум, разум, таланты его наперсника!

Неведом и конец нам – вечности начала;
Не разрушается ничто, не исчезает!
Дай мне пожить еще немного,
Ведь каждому своя дорога… –

так писал Львов одному из друзей.

Дорога? Нет, у него было множество дорог, по каждой из которых он успел пройти дальше, чем обычный человек успеет пройти по одной!

Николай Львов сконструировал бумагоделательную машину,

впервые в России разработал добычу торфа и каменного угля, издал книгу «О пользе и употреблении русского каменного угля», изобрел «каменный картон» – рубероид, толь. Заботясь о сохранении леса, он изобрел способ «землебитного строительства»: из «битой» – прессованной, скрепленной известковым раствором – земли, а также открыл два училища землебитного строительства и по заказу императора Павла I построил землебитный Приоратский дворец в Гатчине, сохранившийся и поныне. Львов создал проекты почтовых станций, мостов, верстовых столбов для дороги Санкт-Петербург – Москва. В 1790 году Львов издал «Собрание русских народных песен с их голосами» в музыкальной обработке Прача, стал автором либретто опер «Сильф», «Ямщики на подставе», «Милета», «Парисов суд». Он отредактировал и издал две летописи, одна из которых была названа его именем – Львовская; перевел и издал «Четыре книги Палладиевой архитектуры», переводил Сафо, Анакреона, Петрарку и скандинавский эпос «Песнь норвежского витязя Геральда Храброго»; иллюстрировал «Метаморфозы» Овидия и «Сказку о царевиче Хлоре», сочиненную Екатериной II для внука Александра; занимался гравированием и первым в России применил технику лависа; разработал эскиз ордена Святого Владимира. Львов возглавлял экспедицию по обследованию минеральных вод Кавказа и Крыма, где он вел экономические исследования, археологические изыскания и составил «Примерное положение, каким образом выгодно бы было выстроить ванны и теплицы у горячих вод».

Эпитеты уму и талантам этого человека нанизывать можно до бесконечности. Ей-богу, так и чудится: его, словно нарочно, судьба приводила в некие средоточия событий вселенской важности, наталкивала на судьбоносные открытия!

Но… как ни щедры к нему были боги, сей невероятный разум и божественный дух обитали в обычном человеческом теле – хрупком и несовершенном. Смертном.

В 1799 году после смерти Безбородко на Львова завели дело по поводу расходов на землебитные постройки.

Таков уж крест всякого гения – непременно быть предметом зависти и недоброжелательства. Землебитное училище закрыли, уголь, доставленный в Петербург, не был принят. Оборота капитала не было, росли долги.

Иной вселенную обмерил,
Другой ход солнечный проверил,
Измерил самый океан;

Нашел полночну стрелку,
А что же вышло на поверку…

«Что? – Продырявленный карман», – с горечью подводил он итоги жизни.

Длительное нервное напряжение, обрушившееся на Николая Александровича, сильно подорвало его здоровье. На десять месяцев он оказался прикованным к постели.

«Десять месяцев он был мертвый, – писала Мария Алексеевна старинному другу Державину, – и теперь говорит, что он совершенно забыл всю прошедшую жизнь свою и что истинно для него теперь новый век». В конце 1800 года в дневнике вновь научившегося писать Львова появилась неровная строка: «1-ый день второй моей Жизни Москва 1800».

Чуть позже он написал об этом страшном времени: «Все мне представлялось, пришел я с того света, и в тот вечер я плакал, как ребенок. Я должен буду везти кости мои в Петербург, как скоро в состояние приду недвижим лечь в возок». Львова страшило видение его прикованной к постели плоти. Он даже молил о смерти в стихотворении «Три нет». «Ребятушки, я здесь уж больше не гожусь!» – воскликнул он, но получил в ответ именно эти три «нет». Львов будто услышал чей-то голос: ему предстоит еще дальняя дорога.

Так дальняя дорога заведет его, сумевшего выбраться «с того света» и подняться для новых дел, на Кавказ, к оживляющим источникам, и к Тмутараканскому камню. Об этом невероятном событии стоит рассказать чуть подробнее.

Еще в 1792 году на полуострове Таманском, на землях древней Фанагории, колонии греческих купцов, торговавших здесь в V веке до н. э., был случайно и странно найден Тмутараканский камень, лежавший… у солдатской казармы. Расшифрованная надпись указывала местоположение Тмутараканского княжества, о котором упоминается и в летописях, и в «Слове о полку Игореве». И вдруг камень бесследно пропал – так же внезапно и странно, как был найден. Минуло одиннадцать лет, и вот, оказавшись в Тамани по пути в Крым с целью «устроения и описания разных необходимостей при тамошних теплых водах», Львов за оградой Фанагорийского собора обнаружил пропавшую реликвию.

Нет, это же надо: камень лежал в траве там, где его мог видеть каждый, но не увидел никто, кроме него! Над водруженным в храме камнем повешена была такая табличка: «Из

былия извел Львов».

Такое ощущение, что он сам себе «из былия возвел» прижизненный памятник, явившийся именно ради него из тьмы времен, которой мы все принадлежим и в которую все мы непременно канем.

В Феодосии Николай Александрович снова заболел. Однако успел доехать до Москвы – здесь и умер в ночь с 21 на 22 декабря 1803 года в возрасте 52 лет. Маша, которой помогала верная Лизанька, была при нем.

Мария Алексеевна умерла в 1807 году, словно дожидалась, пока ей тоже сравняется 52 года. Ее похоронили рядом с тем, кто был смыслом ее жизни.

Опекунами детей Львовых стали Державины: Гаврила Романович и его жена Дарья Алексеевна, урожденная Дьякова.

В 1810 году Державин приехал в Черенчицы-Никольское – поклониться праху друзей. Престарелый Гаврила Романович был необычайно грустен, ибо в определенном возрасте мысли о смерти, и всегда-то невеселые, не могут не навевать глухой, непроглядной тоски.

Он ехал на могилу людей, которые клялись любить друг друга *вечно*, а где они теперь? И где их любовь? Об утес времени разбивается даже самая пылкая страсть, и самые благие намерения, самые смелые мечты всегда заканчиваются только эпитафией… Так подумал поэт – и решил сложить подобающую надгробную надпись своим друзьям, истории их любви, их счастья и страданий.

Стояла зима. Державин задержался у холма, на котором возвышался храм Воскресения, выстроенный в прекрасном стиле тех же ротонд, которые так любил Николай Львов. В подземной части храма находилась родовая усыпальница Львовых, в мощном цокольном этаже из темных блоков колотого валуна помещалась Никольская церковь, над ней вздымался храм Воскресения.

Вечернее бледное солнце золотило купол и заходило как бы в храме. Державин вспомнил мечты своего друга: «Я всегда думал выстроить храм солнцу, чтобы солнце в лучшую часть лета сходило в дом свой покоиться». И еще вспомнил стихи его:

Родился,
Влюбился,
Женился
И жил, пока любил.

Державин вздохнул, перекрестился… и пошел прочь, слагая в уме такие строки:

Да вьется плющ,
И мир здесь высится зеленый,
Хор свищет соловьев,
Смеется пестрый луг.
Не может быть эпитафии у *вечной л*юбви!

Тосканский принц и канатная плясунья (Амедео Модильяни – Анна Ахматова)

Одним из нежных майских дней 1910 года в знаменитом кафе «Ротонда», что расположено на знаменитом бульваре Монпарнас в знаменитом городе Париже, скандалили двое знаменитых мужчин – один художник, а другой поэт. А за ними наблюдала некая знаменитая женщина, поэтесса…

Сразу следует оговориться, что среди всего этого нагромождения знаменитостей в этот момент право считаться безоговорочно знаменитым имел пока только Париж, а вот истинная популярность всего прочего и всех прочих еще только брезжила в туманных далях грядущего. Но она, настоящая популярность, настанет, придет, и она сделает Монпарнас и «Ротонду» местом паломничества туристов, повздоривших мужчин возведет в ранг небожителей, а женщину увенчает терниями и лаврами одновременно. Однако в тот весенний день все это еще бледно сквозило в совершенно парижской дымке, смешанной из уличной пыли (в те времена еще не весь Париж был глухо заасфальтирован, зацементирован, замощен; к тому же только что закончилась перестройка бульвара Распай, и следы этой перестройки пока не были заметены); из сизого тумана автомобильных выхлопов и реющей в воздухе пыльцы с буйно зацветающих деревьев и цветов; из коричневого кофейного праха, высыпавшегося из ручной мельнички, и раскрошившегося красного сургуча винной пробки; чуточку – из муки, оставшейся на боку свежеиспеченных, еще горячих, ароматных багетов и круассанов, горкой наваленных на прилавке; и самую малость – из тончайшего *порошка*, рассеявшегося из бумажного фунтика, который выпал из кармана художника, потому что он был очень сильно пристрастен к *порошку*, составлявшему немалую часть его отчаянного вдохновения и утонченно-безумного таланта…

Впрочем, конкретнее о вышесказанном.

Итак, скандал вышел из-за дамы – cherchez la femme!

La femme сия была весьма хороша собой. Ее высокую фигуру, ее царственную походку и неповторимый, вошедший в историю мировой литературы и живописи профиль в разное время и по-

своему описывали современники и современницы:

«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это и принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая… На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж».

Впрочем, некоторые не соглашались со столь банальным утверждением «очень красива», а уверяли, что в ней было нечто большее, чем красота: «Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии…»

«Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своею выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание…»

Пожалуй, довольно о внешности дамы в шляпе с пышным белым страусовым пером, которое однажды заденет о верх экипажа… Добавим только, что по-французски имя ее звучало как «Анн» и необыкновенно ей шло. Впрочем, русский вариант имени – Анна – тоже считался красивым, но, пожалуй, тяжеловатым, помпезным, даже немножко слишком бархатным. А вот французский молодой и нервный слог «Анн» куда больше был ей к лицу – к этому юному, худому, горбоносому лицу с тревожными темными глазами и тонкими губами. Обычно молодая женщина высокомерно поджимала их, но тут забыла это сделать: так взволновалась, наблюдая за раздором мужчин, один из которых был ее новобрачным супругом, поэтом и звался Николай Гумилев. О другом она почти ничего не знала, кроме имени (Амедео, что означает любимец бога), рода занятий (художник-портретист) и… и еще Анна знала, что влюбилась в него с первого взгляда, а он влюбился в нее.

А между тем влюбляться в кого бы то ни было Анне было неразумно и ни к чему, потому что она приехала в Париж не просто так, а в свадебное путешествие. Целых семь лет осаждал ее сначала своими признаниями, а потом и предложениями руки и сердца соученик по царскосельской гимназии, сосед и приятель юности Николай Гумилев. Он происходил из обедневшей дворянской семьи, отец его был отставной корабельный врач.

После нескольких лет, проведенных в Тифлисе, семья вернулась в Царское Село, и семнадцатилетний Гумилев снова поступил в Николаевскую царскосельскую гимназию, директором которой был не кто-нибудь, а знаменитый поэт Иннокентий Анненский – один «из последних царскосельских лебедей», как назвал его Николай. Только что вышел сборник стихов Анненского «Кипарисовый ларец», и книга эта произвела просто-таки разрушительное впечатление на Аню, которая была тогда просто девочкой, но уже, наверное, предчувствовала, что когда-нибудь нацепит шляпу с пером и будет останавливать на себе взоры всех встречных мужчин.

Она в Царском Селе была чужая: родилась в Одессе, но вскоре отец, отставной флотский инженер-механик Андрей Антонович Горенко, получил какую-то службу у великого князя Алексея Михайловича, и семья переехала под Петербург – в Царское Село, бывшее летней резиденцией императорской фамилии.

Здесь семейство Горенко поселилось на углу Широкой улицы и Безымянного переулка, рядом с железнодорожной станцией, в доме, где находился когда-то заезжий двор или трактир. Комнатка у Анны была суровая, неуютная, с рваными обоями. Впрочем, это казалось совершенно неважным. Главное, что здесь некогда бродил по аллеям смуглый отрок Пушкин, здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни, и Анечка знала, что когда-нибудь и она станет такой же мраморной, как он. Станет холодным, белым символом русской поэзии! Скромностью она не страдала, к счастью для себя и для этой самой поэзии. А лет с одиннадцати, как почти все русские подростки, ее современники, писала стихи, стихи, стихи. Как-то отец прочел ее первые опыты и немедленно назвал дочь «декадентской поэтессой», попавши не в бровь, а в глаз.

Да кем ее только не назовут впоследствии! Не то монахиня, не то блудница – это станет итогом. Но до этого еще предстояло дожить, это еще предстояло заслужить! Пока же Анечка лишь только вступала на порог своего распутного монастыря.

Жизнь в Одессе была вольная – в Царском Селе основой существования была светская муштра. «Тут ходили по струнке!» – выразится сама Анна позднее.

Корней Чуковский, описывая ее, скажет так: «Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом…»

«Тонкая и гибкая, как ивовый прутик, с очень белой кожей, она (особенно в воде царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море… Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные неподвижные воды царскосельских прудов». Это отзыв подруги.

Ни к кому на свете не влекло Николая Гумилева так, как к этой необычной, темноглазой, замкнутой, высокомерной и угловатой девочке, похожей на русалку, колдунью, вещунью. И он осаждал ее с безнадежным упорством. А она его, выражаясь по-нынешнему, отшивала. Когда Николай тащился следом за ней по дороге из гимназии, Анечка нарочно болтала с подружкой на немецком языке, которого Николай не знал.

Итак, Анечка была загадочная, неприступная красавица, а Николай что же?

«Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд. Белые точеные руки я заметил не сразу. Портил его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил… Выглядел он элегантно».

Вернее, оригинально! Оригинальность его костюма запоминали все: и лиловые носки при лимонной феске и русской рубахе на даче; оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге…

Еще отзыв: «У него было очень необычное лицо: не то би-ба-бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмехаются…»

Усмехаться над всем – это была хорошая манера. Даже если тебя поломала женщина – засмейся и уезжай куда-нибудь. Например, в Африку!

Нет, Африка будет позднее. Пока же Николай, окончив гимназию, уехал в Париж – слушать лекции в Сорбонне. Кстати, в отличие от Анны, которая легко выучила французский на уроках старших брата и сестры, он языка так толком и не знал. Да бог с ним, с французским, ведь русского народу в Париже в то время было множество. Обитали здесь Бальмонт и Волошин, шатались там и сям революционеры, русские, польские, еврейские художники уже наводняли Монпарнас. Гумилев был в восторге от «парнасцев», и в первую очередь – от Теофиля Готье. Неожиданно для себя самого он начал издавать в Париже на свои деньги

журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатал собственные стихи и даже стихи некой Анны Горенко. Как конкистадор в панцире железном, он вышел в путь и весело шел им, надеясь, что рано или поздно добудет эту голубую лилию!

В 1908 году в Париже он издал книгу стихов «Романтические цветы», где обитали его конкистадоры и рыцари, где бродил изысканный жираф с озера Чад (того самого, на берегах которого поклоняются странным богам девы-жрицы с эбеновой кожей).

В Петербург Гумилев вернулся достаточно известным молодым поэтом и немедленно издал книгу «Жемчуга», знаменитую прежде всего появлением в ней блистательных «Капитанов», одним из которых, конечно, Николай считал себя. Это он, взойдя на трепещущий мостик, вспоминал покинутый порт, отрясая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвал пистолет, так что сыпалось золото с кружев, с розоватых брабантских манжет… Это он проницал моря острым, уверенным взглядом, он был убежден, что нежен у девушек профиль лица, что еще не все пересчитаны звезды, что наш мир не открыт до конца…

Девушек с нежным профилем лица у него было много, но жениться, хоть режь, хотелось только на одной – той, которая интересовала Гумилева больше всех на свете и была к нему равнодушна. Жениться для него значило обеспечить ее верность, привязать ее к себе вечными, крепкими, нерасторжимыми узами. Как будто он не знал, что она – существо из тех, которые в неволе не живут, которое, подобно волчице, посаженной на привязь, лапу себе отгрызет вместе с цепью, только бы на свободу вырваться!

А тем временем эта девушка в 1907 году уехала из Царского Села в Киев и там закончила выпускной класс гимназии, а потом поступила на юридический факультет Высших женских курсов. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, было интересно, когда же пошли чисто юридические предметы, Анна к курсам охладела. Кроме того, она была тогда влюблена (а как же иначе!) в одного человека, которого в письмах называла то В., то В. Г. Кутузов. Но он, Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, намеревался жениться на другой. Чтобы утешиться и что-то такое своему В. *доказать*, она решилась выйти за Гумилева и в письме к другу своему Штейну написала: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете, я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».

Итак, Гумилев, в очередной раз попросивший Аниной руки, неожиданно получил согласие.

Двадцать пятого апреля 1910 года они повенчались в Киеве при полном неодобрении и отсутствии родственников, которые трезвыми умами понимали, что счастья в этой новой семье не будет, потому что не может быть никогда. Правоту родственников поняли и молодые – после первой же брачной ночи.

О «страсти» оба знали много, но как-то очень уж умозрительно. Чисто теоретически. Казалось, надо лишь коснуться друг друга – и немедля «сгоришь в горниле» чего-то там. Захлебнешься или задохнешься (это уж кому как повезет!) от наслаждения на мятых простынях…

Не получилось. Не сгорели, не захлебнулись и, слава богу, не задохнулись. С Николаем было чуть проще (мужчины все же, как правило, хоть что-то для себя получают), а вот Анне не удалось почувствовать ничего, кроме стыдливого недоумения: эти неловкие усилия, эти бессмысленные движения – это и есть *оно*? Хм, было из-за чего огород городить! Лучше бы по-прежнему любить Николая, как сорок ласковых сестер! Но надо продолжать ломать комедию и ехать в свадебное путешествие.

Впрочем, узнав предполагаемый маршрут, Анна с комедией немножко примирилась, ибо молодой муж желал показать ей уже знакомый ему Париж. И не просто непременный туристический набор (Ситэ, Нотр-Дам де Пари, Елисейские Поля, Лувр и Тюильри), но и Монмартр, а также модное, бешено модное местечко среди богемы – Монпарнас.

Поскольку действие далее будет разворачиваться преимущественно на Монпарнасе, есть смысл поговорить о нем хотя бы чуть-чуть подробнее.

Центральный, доживший до наших дней со Средних веков Париж как бы ограничен с севера и юга двумя «точками» – это Mont-Martre, Гора Мучеников, и Mont-Parnasse, Гора Муз. Последнее место – вовсе не гора, да и название появилось только в начале XX века, а раньше это была просто часть Латинского квартала. Центр Монпарнаса – перекресток Вавен, пересечение бульваров Монпарнас и Распай. Именно здесь обосновались в описываемое время кафе «Ротонда», «Дом», «Куполь», «Клозри де Лила», то есть «Хуторок в сирени», и прочие злачные местечки, где *тусовались (*это самое подходящее слово для обозначения процесса, происходившего в первые годы XX века!) сотни, нет – тысячи художников, как знаменитых, так и не известных, по меткому выражению Маяковского, никому, кроме своей консьержки.

Как говорили знатоки, Монпарнас не был истинно парижским

районом со своей историей или неповторимой архитектурой (в то время он как раз перестраивался). Здесь, как на постоялом дворе, можно было найти лишь то, что вы привезли или принесли с собой. И все же магия этого места, даже самого этого слова была необыкновенна!

«Скажите: «Монпарнас!» – и это слово прозвучит заклинанием: «Сезам памяти, откройся!» И один за другим, словно по волшебству, возникнут обаятельные образы прошлого: вот полуодетый богемный Модильяни неуверенным шагом бредет по бульвару, картинно декламируя стансы из «Новой жизни»; в спецовке и с челкой во весь лоб появится Кислинг, «эскимосский слесарь»; Фудзита, «монсеньор Глициновых Полей», на добрых полвека опередивший хиппи своими бусами и серьгами; а вот – весь в черном – Паскен, режиссер агонии великого пира «безумных лет»… И вспыхнут всеми своими огнями кафе «Дом» и «Ротонда», и томно польются страстные мелодии антильских танцев «Негритянского бала», и пронзительно грянет джаз зала «Жокей»… Настоящая легенда!» – так вдохновенно писал историк-урбанист Жан-Поль Креспель в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. 1905–1930».

А вот впечатления Анны: «Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена… Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны, то почти пеленали ноги. Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела парижскую поэзию».

Вот эти «съевшие» и теснились за столиками вышеназванных кафе. И преимущественно – «Ротонды».

Упоительное местечко! Во-первых, оно находилось на солнечной стороне перекрестка Вавен (в отличие от «Дома»), и в погожие дни на террасе «Ротонды» было чудесно. А хозяин, мсье Либион, просто обожал своих имущих и неимущих посетителей. Здесь проводили время, понятно, не только художники, скульпторы, поэты, актеры и актрисы, журналисты, манекенщицы и прочая богема; забегали каменщики, парни из соседней мясной лавки, кучера. Но они именно что забегали торопливо поесть вареной говядины, телячьей головы в соусе, свежепросоленной свинины с чечевицей или рагу из баранины, пропустить стаканчик мюскаде или каберне, чтобы вновь убежать по делам. А у художников и поэтов подчас не было иного дела, как часами сидеть в «Ротонде» перед опустошенным бокалом, ни о чем не беспокоясь, потому что мсье Либион не требовал обновления заказа. Он не обращал внимания на то, сколько съедено

круассанов и сколько отщипнуто от багетов, наваленных в хлебницах на прилавке. Либион пророчествовал:

— Эти типы обращают на себя внимание, в конце концов они сделают мое заведение знаменитым.

Он просил художников приносить их не имеющие сбыта картины, брал полотна и рисунки вместо платы и вешал на стены. Куда-то они потом девались, но появлялись новые. Гениальность здесь выдавалась погонными метрами, одним росчерком пера!

Именно вот об этом – о гениальности росчерком пера, вернее, карандаша – подумала новобрачная Анна Гумилева, которая глазела на обитателей «Ротонды» и вдруг увидела этого художника. Именно в ту минуту ее муж куда-то отошел. Быть может, он встретил кого-то из русских, знакомых ему еще по первому приезду в Париж. Но, скорее всего, его увела от жены Судьба. Она ведь любит играть неприкаянными сердцами, а здесь все три сердца были неприкаянными.

«Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь, – напишет Анна (Анн!) много-много лет спустя в своих записках о Модильяни, – все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак».

Анна, конечно, ничего не знала о человеке, который поразил ее воображение своей изысканной красотой: «У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами – он был совсем не похож ни на кого на свете». Он обратил на себя внимание Анны затаенной горечью в этих обворожительных искрящихся глазах, красным длинным шарфом, элегантно-мятой черной шляпой, трогательно-оборванными обшлагами рукавов бархатного пиджака. А более всего тем, что он с невероятной быстротой рисовал в синем блокноте диковинные, изысканно-удлиненные портреты и немедленно рвал их с неистовым ожесточением, бормоча:

— Не то, не то, опять не то!

— Что вы делаете? – спросила Анна, не выдержав и подойдя к нему.

— А что? – удивился художник, не поднимая глаз и набрасывая очередной портрет. – Нет, не то!

И новые клочья упали на пол.

— Что не то?! – почти возмущенно вскрикнула Анна.

— Не то лицо! – раздраженно ответил Модильяни и наконец-то поднял на нее глаза.

И обмер, потому что на сей раз лицо было то…

— Я тоже рву свои неудачные стихи, – пробормотала Анна, смущенная этим пожирающим, раздевающим, обжигающим взглядом любимца женщин.

О да, Модильяни был любимец женщин! Появившись в Париже в 1906 году, он был невероятно красив в бархатном костюме бежевого цвета с перламутровым от бесконечных стирок оттенком, в ежедневно стиравшейся голубой рубахе (Модильяни отличался маниакальной чистоплотностью) с небрежно повязанным шейным платком. Он обладал подлинной артистической элегантностью, которой безуспешно пытались научиться другие. Его чары всегда обеспечивали ему легкий успех. Он был неотразим! Среди натурщиц и шлюх он носил прозвище «тосканский принц», иногда даже – «тосканский Христос». Еще на Монмартре, откуда Амедео перебрался на Монпарнас, прожив там три года, он менял девочек как перчатки. Страстную блондинку Мадо он, по слухам, увел у самого Пикассо, который славился отвязной сексуальностью. Рассказывали, что мимолетные победы Модильяни непременно заканчивались стычками с обитателями Горы Мучеников, которые были в ярости от успехов этого чужого «охотника». Однако Модильяни умел драться, так что всегда выходил победителем.

Вообще говорили, что он способен увести любую женщину, какую только захочет. Франциск Ассизский свистом причаровывал птиц, ну а Модильяни очаровывал женщин. Каждому свое! Бывают такие мужчины, особенно среди темноглазых утонченных красавцев. Что и говорить, бывают! И «высвистывают» они себе – минутное веселье, а бедным доверчивым птичкам – погибель…

— Как можно работать в таком шуме? – спросила Анна, чтобы скрыть смущение.

Модильяни ответил так, как всегда отвечал женщинам (один из его приятелей даже записал эти слова, настолько часто они повторялись):

— Да, здесь тяжело… Я из Италии, где все дышит искусством. О Флоренция! Или родной мой город Ливорно… Меня тянет туда. Счастье там, и там здоровье… Но живопись сильнее. А только в Париже я могу работать – страдать, быть несчастным, но работать!

«Страдать, быть несчастным…» Анна не знала, что это уже

начался знаменитый свист Франциска Ассизского. «Голос его как-то навсегда остался в памяти» – строка из ее будущих мемуаров. «Пьянея звуком голоса, похожего на твой» – строка из будущих стихов.

Слабея и пьянея от этого голоса уже сейчас, она взглянула на стакан, стоящий перед Модильяни, и художник вызывающе кивнул:

— Алкоголь отгораживает от всего. Уводит внутрь самого себя. Я пью не для веселья. Это тоже для работы…

Конечно, он лукавил. На Монмартре Модильяни предпочитал вдохновенья ради бегать за девочками, а не заглядывать на дно бутылок, ну а на Монпарнасе уже пил по-черному. Но это было полбеды. Еще в Ливорно – портовый город, ну что с него возьмешь! – он начал пробовать наркотики. А на Монмартре свел дружбу с художником-яхтсменом Пижаром, который обожал опиум и держал на дому небольшую курильню (в ту пору это еще не преследовалось законом). Выкурить у Пижара трубочку было даже признаком хорошего тона.

Фернанда Оливье, любовница и натурщица Пикассо, обитательница Монмартра, вспоминала через много лет: «Самые близкие друзья – когда сколько придет, – растянувшись на циновках, с удовольствием проводили здесь время в атмосфере утонченности и интеллектуальности. Гости попивали чай с лимоном, беседовали, колдовали в полутьме над пламенем опиумной лампы, подставляя на длинной игле белые шарики. Незаметно текли часы, создавалось ощущение близости и взаимопонимания…»

Впрочем, Модильяни предпочитал опиуму более мягкий гашиш в сочетании с алкоголем. Возможно, он был под кайфом, когда встретился с Анной. А может быть, в тот раз наркотиком оказалась она сама, не зря же потом он целых два года не мог «избавиться от зависимости» этой любви.

Наверное, вид у него был соответствующий. Да и Анна, конечно, стала сама не своя. Поэтому Гумилев, появившийся в это мгновение в зале, мигом понял, что случилось что-то неладное с его женой, с этой девой с печальным лицом: в тихом голосе слышались звоны струны, в странном взоре сливался с ответом вопрос… Он озлился, потому что чего-то в этом роде он ждал всегда. Ждал и боялся, что его предвидение сбудется! Поживите-ка с любимой, но не любящей женщиной – и тоже станете таким же провидцем.

Гумилев злобно сказал, что пора уходить из этого сарая. Разумеется, сказал по-русски. А Модильяни вдруг заговорил обиженно, сварливо, что просто свинство – говорить при нем на

чужом языке. Что это дурной тон, c'est le ton mauvais!

Он не знал, с каким задирой имеет дело! Как ни плохо Гумилев знал французский, последние слова он понял! Гумилев захотел ударить этого омерзительно красивого бродягу в красном шарфе, но поступил иначе – высокомерно сунул руки в карманы и ответил… непереводимой игрой слов, понятной только истинно русскому слуху.

— Нам пора, – заспешила Анна, понимая, что эту натянутую тетиву – ревность мужа – нельзя слишком долго испытывать на прочность.

Модильяни поглядел с отчаянием:

— Где вы живете? Я увижу вас еще?

— Я сама приду сюда когда-нибудь, – сказала она, лживо улыбаясь и бросая быстрый взгляд в сторону Гумилева: мол, не пойми превратно, я говорю так всего лишь из вежливости. Но Модильяни получил другой взгляд, который вселил в него надежду: она придет, не обманет!

Улыбнулся – Гумилев с отвращением посмотрел на его яркие, словно плотоядные губы. Ударить бы… убить! Однако сейчас он чувствовал себя совершеннейшим ягуаром из своего же собственного стихотворения – тем самым, который крался к людскому жилью за добычей, но был очарован прекрасной, нежной девой с поступью лани, со взором королевы, в ярких подвесках, по которым скользил лунный луч, и утратил свою ярость, после чего достался, как шакал, в добычу набежавшим яростным собакам.

А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.

Такими же самыми «тихими и легкими шагами» Анна потом тайно убегала от мужа (а он оставался в добычу яростным псам ревности) на свидания с поразившим ее в самое сердце художником. У нее не было подвесок с жемчугами – зато была шляпа с пером, а еще – купленное где-то на развалах блошиного рынка тяжелое ожерелье, по поводу которого Модильяни сказал:

– Lesbijoux doivent ктre sauvages[7], – и захотел нарисовать Анну в них.

Когда это случилось? После той прогулки, о которой она обмолвилась в стихах лишь спустя три года, бесконечно

возвращаясь к началу истории, беспрестанно вспоминая самые тонкие, самые острые, самые пряные – и самые мимолетные детали?

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени
Насторожившийся покой…
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

После одной из таких прогулок, во время которых он, конечно, тоже места себе не находил – зря она так, о недрогнувшей руке, в этой строке звучит обида разлуки, тяжесть лет, прожитых без него, – Анна и попала в мастерскую Модильяни.

Нет, это не был, вопреки легенде, знаменитый «Улей», построенный из остатков выставочных павильонов, которые купил скульптор-академист Альфред Буше, чтобы помочь бездомным художникам решить «квартирный вопрос». В «Улье» Модильяни только навещал приятелей, оставался у них, когда не имел собственной мастерской, а вообще-то он, Фудзита, Сутин и Липшиц жили в Фальгьер, называвшемся также красиво – «Вилла роз». «Пока стены его не покрылись грязью», – уточняет Жан-Поль Креспель. Это сооружение, вовсе не предназначенное для филантропических целей, принадлежало некой мадам Дюршу, владевшей также кафе на углу дома и улицы Фальгьер. Случалось, конечно, что славная хозяйка закрывала глаза на задержку с оплатой, но… В конце концов ее терпение лопнуло, и она выставила Модильяни за дверь. Легенда гласит, как судьба наказала ее: для починки матрасов она отдала сыну полотна Модильяни, оставленные ей в залог, а через несколько лет узнала, что погубила целое состояние.

Кто знает, не было ли среди этих полотен нескольких

прелестных «ню» стройной и невероятно гибкой темноволосой красавицы с царственным профилем, с длинной шеей, обрамленной «lesbijoux sauvages»? Некоторые исследователи творчества Модильяни полагают, что первые «ню» русской поэтессы можно датировать именно 1910 годом.

Именно тогда Модильяни сказал своей мимолетной подруге, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. Ох, не Венеру Милосскую он подразумевал, тут Анна Андреевна лукавила с воспоминаниями! Ведь Модильяни писал и рисовал Анну только в варварском ожерелье. Больше на ней и нитки не было.

Разумеется, мадам Дюршу не помнила ни этих «ню», ни самой натурщицы. Здесь столько шлялось всяких девок! Нравы были самые вольные.

Честно говоря, эти нравы и обычаи, как, вероятно, и сами «апартаменты», немало должны были смутить, а то и напугать изысканную царскосельскую русалку. Даже в «приличных» домах, построенных на Монпарнасе уже после 1905 года, такая мелочь, как ванные, даже не предусматривалась, были только туалеты. Если имелась холодная вода и газ, это казалось верхом роскоши. Ну а те, кто жил в студиях, вообще не ведали такого слова – комфорт.

Креспель, например, с упоением живописал: «Очень часто обиталища художников в лучшем случае могли порадовать своих непривередливых жильцов фонтанчиком во дворе, куда по утрам они бегали с кувшинами. От отхожих мест исходило такое зловоние, что их ставили на порядочном расстоянии от дома, чтобы вовсе не отпугнуть постояльцев. И никто, похоже, не находил такое положение ненормальным… Модильяни выделялся как явление исключительное: он ежедневно мылся в цинковом тазу, который при переездах увозил прежде своих рисунков или скульптур. Подобная чистоплотность считалась одной из странностей его характера и милостиво ему прощалась».

Впрочем, Анна смотрела на неустроенность Фальгьера сквозь сиреневую дымку, – ту самую очаровательную и очаровывающую парижскую дымку, – сквозь завесу своей невероятной любви и видела лишь изысканное, талантливое, элегантное, невероятное существо мужского рода, которое одарило ее своим страстным вниманием и разбудило ее дремлющее сердце. Новобрачная мигом забыла, что была когда-то «отравлена на всю жизнь горьким ядом неразделенной любви», забыла о постылом муже – и насторожилась, чувствуя, как заиграло ее сердце вновь при новой любви, которая:

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя…
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
Но страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

Пусть улыбка Амедео еще оставалась для Анны незнакомой, но он уже узнал ее тело. Те две или три встречи в 1910 году дали ему новые изысканные линии в рисунке – линии почти классической четкости! А ей – новые стихи.

Высоко в небе облачко серело,
Как беличья расстеленная шкурка.
Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело
Растает в марте, хрупкая Снегурка!»

В пушистой муфте руки холодели.
Мне стало страшно, стало как-то смутно.
О, как вернуть вас, быстрые недели
Его любви, воздушной и минутной!

Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пускай умру с последней белой вьюгой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой.

«В январе» лучше подходило в строку, чем «в апреле» или «в мае»… И вообще, она всегда маскировала истинные даты их встреч. Кого путала? Просто интересничала? Впрочем, неважно – когда, важно, что она все-таки была его подругой!

Но вот свадебное путешествие, обернувшееся внезапным

адюльтером, подошло к концу. Все кончилось!

Гумилев увез Анну из Парижа, и всю дорогу домой у нее было это выражение растерянности, нет, потерянности, как будто она на правую руку надела перчатку с левой руки…

Их случайным попутчиком оказался редактор модного литературного журнала С. Маковский, давно знакомый Гумилеву, и позднее он будет вспоминать: «Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», – но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость».

А между тем Анна думала вот о чем:

Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут – и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

И еще она чувствовала, что жизнь ее, конечно, кончена.

Примерно то же чувство печального любопытства и сочувствия вызывала она у бедняги Гумилева, который жаловался друзьям (и подругам тоже – понятие вечной верности у этих молодых супругов было весьма условным!), что Анна всегда была грустна, всегда имела страдальческий вид. Он уже понимал, что совершил самую, быть может, трагическую ошибку в своей жизни:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью…

Молчит – только ежится,
И все ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,

Березу подрытую…

Они все больше отдалялись друг от друга, да и жили практически врозь. Гумилев доказывал, что он по-прежнему конкистадор в панцире железном, заводил новые романы, которых не скрывал ни от кого, в том числе (или прежде всего?) от жены. Анна уезжала из Слепнева под Бежецком (там у матери Гумилева было имение) в Киев к родственникам, писала стихи, а потом, когда Николай отправился наконец в экспедицию в свой давно чаемый «Левант», в Африку, она вернулась в Царское Село и неспешно вошла в петербургский поэтический круг, которому уже давно была интересна своими стихами, исполненными настоящего, отнюдь не придуманного страдания.

Муза! ты видишь, как счастливы все –
Девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Как беззащитно иногда проговариваются женщины, как точно указывают адрес того, о ком не хотят, не хотят, не хотят ничего знать! Эта маргаритка, лепестки которой Анне теперь суждено обрывать… Почему маргаритка, а не ромашка, которую издревле обрывали все влюбленные русские барышни-крестьянки? Да потому, что именно на маргаритке гадают во Франции! Обрывают ее лепестки и шепчут:

Маргаритка,
Маленький цветок,

По краям красная,
С зеленою каймой,
Открой судьбу любви моей…

Точно так же невзначай проговорится Анна о предмете своей тайной страсти в строках:

Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.

Впервые она узнала, что можно пить не просто из стакана, а через соломинку, именно там, в Париже, в «Ротонде», где встретила Амедео!

Погруженная в размышления о судьбе любви своей, Анна бывала на «Башне» у Вячеслава Иванова, в квартире знаменитого поэта, известного своей эпатажностью, а грубо говоря – безнравственностью. Таким же был и весь этот петербургский круг, не только поэтический, но и сильно-таки содомский. Однако эта грешная суета пока что пролетала мимо Анны, потому что сердце ее было занято другим. Куда более значительным.

Единственным, имевшим для нее значение в жизни!

Из Парижа начали приходить письма. И какие!

«Он всю зиму писал мне… Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них: «Vous ktes en moi comme une hantise…»[8] – сдержанно признается она потом-потом-потом, после-после-после.

Он тоже был для нее – comme une hantise, как наркотик, как вино. Голос, этот его незабываемый голос…

Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.

Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

И знать, что все потеряно,
Что жизнь – проклятый ад!

О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

Существовать с сознанием, что все потеряно, было невыносимо. Хотя именно это ощущение и рождало прекрасные стихи! Радуясь своим несомненным поэтическим успехам и умирая от любви, Анна встретила вернувшегося из африканских странствий Николая Гумилева.

Умные люди уверяют, будто страдание – разменная монета: получив ее, немедленно захочешь передать другому. Неверная жена сделала все, чтобы и жизнь мужа превратить в проклятый ад – как могла, она постаралась омрачить его триумф, лишить радости первооткрывателя, капитана, рыцаря, конкистадора, добывшего-таки свою голубую лилию. Сколько угодно можно было рассказывать, что он отрыл из-под песка древний храм, что именем его названа река, что в стране озер пять больших племен слушали его и чтили его закон… Ей все это было безразлично, она думала только о своем:

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Вскоре после возвращения Гумилева из Африки, в самый разгар своих первых, таких важных для нее, поэтических успехов Анна одна уехала в Париж – к тому, о ком томилась целый год. Уехала все так же, как и прежде, совершенно не зная этого человека, а только ощущая его всем существом своим. Поэтому встреча в Париже была для них прежде всего узнаванием друг друга, знакомством, попыткой понять: может ли из этой встречи выйти нечто большее, чем утоление страстного, почти неодолимого голода, который они испытывали в разлуке.

Решение поехать в Париж не было таким уж неожиданным, как могло показаться и как потом уверяла Анна Андреевна, которая на старости лет начала вдруг заботиться о своей репутации: она и Модильяни сговаривались об этой поездке в письмах! Встреча была назначена именно на май. Анна ждала возвращения Гумилева, который дал бы ей денег на поездку. Своих-то средств у нее не было… И муж дал денег. Конечно, куда ж деваться. Неведомо, под каким предлогом она уезжала, знакомиться, видимо, с недосягаемыми вершинами французской поэзии, совершенствоваться в языке… Как ни странно, Гумилев

это проглотил: ему и в голову не могло прийти, что мимолетная встреча в «Ротонде» с каким-то «пьяным чудовищем» (он весьма презрительно отзывался о том художнике!) могла иметь последствия, столь разрушительные для его семейной жизни.

То, что эта встреча была заранее условленной, намеченной на май, снова выдали стихи. Как выдали и то, что Модильяни уже знал сокровенную красоту тела Анны, почти фантастическую гибкость, которой она поражала друзей и знакомых. Именно тогда он прозвал ее циркачкой, канатной плясуньей.

Меня покинул в новолунье
Мой друг любимый. Ну так что ж!
Шутил: «Канатная плясунья!
Как ты до мая доживешь?»

А дальше – аллегория притворства, которым она мучилась весь год, пытаясь «дожить до мая»:

Ему ответила, как брату,
Я, не ревнуя, не ропща,
Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

Пусть страшен путь мой, пусть опасен,
Еще страшнее путь тоски…
Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!

Оркестр веселое играет,
И улыбаются уста.
Но сердце знает, сердце знает,
Что ложа пятая пуста!

При встрече они ощутили не только радость, но и некоторое разочарование: «Я могла знать только какую-то одну сторону его сущности – сияющую, – ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся». Что ж, так часто бывает, когда чего-то очень сильно

ждешь и многажды лелеешь в мечтах, а потом оно, то самое, приходит и… Вообще, не случайно же многие мудрецы уверяют, что ожидание счастья счастливей его достижения.

«Потемнел и осунулся»… Ну, может быть, и так. Хотя это изменение было связано не с унынием безунывного хулигана, а просто с медленным, но верным разрушением им своего собственного здоровья. Все теми же испытанными средствами: вином и наркотиками. А также – работой на износ.

В Париже Анна поселилась на рю Бонапарт, неподалеку от бульвара Сен-Жермен. Это было не слишком-то далеко от Монпарнаса, от улицы Вожирар, где находилась мастерская Модильяни. И началось то, ради чего она приехала, началось, но – в скучной, благопристойной, насквозь католической комнате с ее искусственными цветами, вышитым благонравным изречением над кроватью, старыми статуэтками на каминной полке… Однако комната эта, словно невзначай согрешившая монахиня, с тех пор обречена была хранить память о скороспелой и такой яростной любви. В ее старых зеркалах навеки отразились бледные от страсти лица, свившиеся в клубок тела…

Анна тоже была обречена навеки запомнить пристанище ее великой тайны, которую она старательно открывала потом перед целым миром влюбленных:

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.

И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: «Seigneur, ayes piti-й de nous»[9].

Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи…
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые плащи.

Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,
И как во сне я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.

Ну а когда разомкнулись объятия, Анна начала наконец присматриваться к своему любовнику, к своему возлюбленному – и поразилась: да ведь он беден! Он нищий!

«Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguiire. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом».

Анна так изумлена, как будто бедность Модильяни не была очевидна с первого взгляда, при первой встрече, особенно – после посещения его мастерской. А впрочем, может быть, это было просто стремление к оригинальности? Так подумала она.

Кстати, Анна оказалась права.

Модильяни вовсе не был так уж вопиюще беден. Его семья считалась вполне достаточной, хоть и не бог весть какой богатой. В любом случае посылать двести франков в месяц беспутному сыну мать могла.

Отец его сначала торговал лесом и углем, а потом открыл посредническую контору. Амедео был четвертым сыном, и его больше, чем прочих племянников, любила матушкина сестра, Лора Гарсен. Гарсены были сефарды – испанские евреи, семья утонченная, интеллигентная, и именно Лора привила Амедео те зачатки культуры и культурности, которые потом и сделали из него не пошлого красавчика, а – тосканского принца. Вдобавок – одержимого искусством.

У Амедео с детства были слабые легкие, но он так привык к своей болезни, что вполне сжился с ней. Он окончил лицей в Ливорно, после чего поступил учиться живописи, совершил поездку по Италии, побывал в Риме, в Неаполе, на Капри. Во Флоренции поступил в Школу изящных искусств. В то время он писал стихи и вообще обожал поэзию: Данте, Леопарди, Габриэле Д'Аннунцио. Впрочем, Амедео всегда верил, что станет не поэтом, а художником, хотя путь его к вершинам будет труден. Занимаясь в Венецианской академии изящных искусств живописью и скульптурой, Амедео приучился к вину и к гашишу. Почерпнув в Италии все, что мог, он подался в Париж, где только и имело смысл работать и творить. Модильяни было тогда 22 года.

Своих новых друзей, может быть, и гениальных, но, мягко говоря, необразованных, Моди (так его немедленно стали звать все подряд) поражал знанием стихов, изысканностью манер, шиком и манерой безудержно сорить деньгами. Ну а склонность к

самоистреблению была свойственна всем новым гениям Монмартра и Монпарнаса – как признанным, так и непризнанным.

Да, на двести франков в месяц Амедео мог бы спокойно жить и творить. Однако просаживал деньги в несколько дней на алкоголь и гашиш. Его приятель художник Моисей Кислинг ехидствовал по этому поводу:

— Когда получаешь на жизнь двести франков в месяц, но сто девяносто из них тратишь на выпивку и наркотики, непременно окажешься в нищете!

Чтобы дожить до очередной субсидии, Модильяни рисовал в «Доме» или «Ротонде» за один франк или за выпивку портреты – до двадцати штук за вечер.

Хотя Моди, как многие алкоголики, почти не испытывал голода, все же он иногда приходил в итальянское кафе-молочную на улице Кампань-Премьер. Открыла это кафе бывшая натурщица по имени Розали Тобиа. Глядя на эту невероятную толстуху, мало кто решился бы предположить, что некогда она позировала для «Венер» Бугро. Здесь столовались и художники, и поэты. Еда у Розали обходилась в два франка, она разрешала брать по полпорции, а если у посетителя совсем уж пусты оказывались карманы – даже просто один суп, способный тем не менее утолить самый острый голод.

Моди обожал поболтать с Розали на сочном простонародном тосканском диалекте, вернее, на арго. Порою даже нарочно злил ее, чтобы услышать, как она живописно бранится. Лучшим способом вывести Розали из себя было расплатиться с ней не деньгами, а рисунками. Она пренебрежительно пожимала плечами, а потом или бросала листы в погреб, где их пожирали крысы, или вульгарно топила шедеврами Модильяни печку.

Кстати, не она одна! Художница Фернанда Баррей рассказывала:

— У меня было семь больших рисунков Модильяни. Я разжигала ими огонь во время войны. Да-да, они были ценны именно этим!

Амедео не тяготила нищета – он *хотел быть н*ищим. Хотел быть богемным – ну и был. Он поборол пристрастие к тем милым мелочам, которые делают жизнь комфортной, однако изысканность, образованность, страстность вытравить из себя не мог. Чем и пленил залетную русскую пташку.

«Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества, – напишет она потом. – Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не

слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки… Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа».

Высота его духа…

Между прочим, не таким уж розовым пупсиком он был, этот принц.

Еще только прибыв на Монмартр в 1906 году и прожив там около трех лет, он переносился с квартиры на квартиру, меняя какой-нибудь сарайчик на гостиницу, меблированные комнаты на уголок в столярной мастерской, а затем и все это, вместе взятое, на… зал ожидания вокзала Сен-Лазар. Наконец доктор Поль Александр, уверенный, что видит перед собою будущего гения (ох, прозорлив он был!), на время пристроил его в фаланстер – некое общежитие для художников на улице Дельта. Правда, Модильяни, травящий себя алкоголем, эфиром и гашишем, был не слишком-то удобным соседом. Бывало, что в момент ожесточенного творческого спора он начинал бить скульптуры и рвать картины, выставленные в галерее! Его решились было выставить из фаланстера, однако пожалели. Ну что ж, он совершил новый подвиг: в ночь перед Рождеством 1908 года поджег праздничные гирлянды в салоне, где готовились к торжественному ужину.

Ну, после такого, несмотря на очевидный его талант, неудобного жильца соседи вынудили убраться с улицы Дельта. Впрочем, здесь и без него море талантов выходило из берегов! Так что в этом смысле улица Дельта мало что потеряла.

Все это было. Однако, само собой, перед Анной, в которую Модильяни был-таки в то время влюблен, он пытался выставить себя в наилучшем свете. «Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах», – вспоминала Анна.

Строго говоря, не все ли ей было равно, пил Моди или не пил? И даже если он попытался было приохотить ее к наркотикам (не удалось!), чтобы чувствовать себя с нею более на равных, Анна и это ему простила.

Мне с тобою пьяным весело –
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного, и нежного.

«Беспутные и нежные товарищи» проводили время не только в постели, конечно. Они ведь были людьми искусства, а значит, их тянуло в места, где искусство обожествлено: в музеи.

«В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют Periode negre».

Ах, где, где они, эти полотна, эти изображения прекрасной, аристократической головы Анны в уборах египетских цариц? Их не сохранило время. Они сгорели в печке тетушки Розали, а может быть, стерлись до дыр в матрасах мадам Дюршу!

«В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным, очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал le vieux palais a Italienne[10], а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи».

Может быть, они читали вот это:

Il pleut dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est celle lanqueur
Que pйnitre mon coeur?[11]

«Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я

тогда еще не знала итальянского языка.

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки».

Вообще-то он правильно подозревал. Потому что каждая их встреча, каждая деталь каждой встречи станет потом истинным чудом, совершенно сказочным явлением русской поэзии, загадочным, туманным намеком на возможность и невозможность вечной любви:

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных…
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса –
Ты первый раз одна с любимым».

Анна застала период безудержного увлечения ее любовника не только «портретами невероятной длины» (как ей казалось – от пола до потолка), но и ваянием.

Да, Модильяни был не только художником, но и скульптором. Однако еще во время его обитания на Монмартре добрейший доктор Александр отсоветовал ему работать с камнем, опасаясь, что каменная пыль окончательно загубит его слабые легкие. Поэтому Модильяни в основном работал тогда с деревом, а чтобы добыть материал для своих скульптур, он крал шпалы со строящейся тогда станции Барбес-Рошешуар.

Однако, перебравшись на Монпарнас, он забыл об осторожности. А может быть, как поступали со своей жизнью многие художники – что французские, что русские, – сознательно

начал жечь свечу своей жизни с обеих сторон.

Скульптор Жак Липшиц вспоминал о посещении мастерской Модильяни в Фальгьер: «Когда я пришел к нему, он работал стоя, и несколько каменных голов – кажется, пять – стояли на цементном покрытии дворика перед ателье. Он как раз группировал их. Как сейчас вижу, склоняясь над ними, он объясняет мне, что они должны являть единое целое. Если не ошибаюсь, они были, насколько помню, спустя несколько месяцев выставлены в Осеннем салоне, где стояли, точно трубы какого-то органа, настроенного на музыку, звучавшую у него в душе».

А вот отзыв Раме, соседа по «Розовой вилле»: «Просыпаясь рано, Модильяни тесал во дворе камень. Головы на длинной шее выстраивались в шеренгу перед его ателье, одни лишь едва тронутые резцом, другие уже завершенные. К вечеру, закончив труд, он поливал свои скульптуры. С любовью, как поливают цветы, этот рачительный и дотошный скульптор-садовник ждал, пока стечет вся вода через дырочки лейки, и вода струилась по священным примитивам, рожденным под его резцом. Потом, присев на корточки у входа в свое ателье, он наблюдал, как они сверкают в последних отблесках заходящего солнца, и говорил спокойный, счастливый: «Они точно отлиты из золота!»

Анна годы спустя вспоминала тоже об этом увлечении Модильяни. «В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Скульптуру свою он называл la chose[12] – она была выставлена, кажется, у «Independants»[13] в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи».

«Время больших пропаж» настанет для Анны в 30-е годы. Тогда вместе со многими дорогими ее сердцу вещами исчезнет главное ее достояние, главная память о той невероятной любви – рисунки Модильяни.

«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей царскосельской комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…» (Конечно, рисунков Анны и полотен, написанных с нее, на самом деле было куда больше. Они возникали потом в каких-то изданиях о Модильяни, в сборниках безвестных репродукций)… Был и такой случай: генуэзская славистка А. Докукина-Бобель опознала Анну Ахматову на

рисунках («ню») из коллекции доктора Поля Александра, выставленных в Венеции в 1993 году, и сообщила об этом в парижской газете «Русская мысль».

Ох, как Анна будет потом горевать, что погибли эти рисунки, подаренные ей и сохранившие столько тонкостей, столько мелочей, столько деталей их отношений, их кратковременной любви, их взаимного распутства и служения их общему богу – творчеству. В этом служении Моди был верховным жрецом, беспощадным в своем фанатизме, а она, Анна, – приносимой Эросу и Аполлону жертвой.

О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь, на сером полотне,
Возникла странно и неясно.

Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел
Словами мертвыми и злыми.
Мой рот тревожно заалел,
И щеки стали снеговыми.

И нет греха в его вине,
Ушел, глядит в глаза другие,
Но ничего не снится мне
В моей предсмертной летаргии.
Откуда такая безмерная печаль?

Ну да, конечно, не все вечера Модильяни проводил со своей залетной подругой. Но ведь и у нее были в Париже какие-то друзья, с которыми она встречалась одна, без возлюбленного. Однако каждый миг *его о*тсутствия Анна воспринимала как предательство. Вернее сказать, понимание неотвратимости разлуки делало ее болезненно-нервной, порою назойливой, наверное, докучной… Вот уж чего он терпеть не мог!

Ей было мало… она не хотела ни с кем его делить.

Забавно – вот таким же обделенным чувствовал себя, конечно, Гумилев, когда Анна «все ежилась», не желая отдавать себя всю. Какою мерою мерите…

Она уверяла в своих позднейших записках, что «очевидной подруги жизни у Модильяни не было», однако ей так и виделась эта воображаемая, несуществующая подруга, наделенная совершенно пошлым нравом. Тогда стихи с упреками в измене получались такими:

Я не любви твоей прошу.
Она теперь в надежном месте…
Поверь, что я твоей невесте
Ревнивых писем не пишу.
Но мудрые прими советы:
Дай ей читать мои стихи,
Дай ей хранить мои портреты –
Ведь так любезны женихи!

Иногда Модильяни от нее просто-таки скрывался. И Анна, забыв гордость (а вообще-то прав тот, кто утверждает, что никакой гордости в любви быть не может!), бежала к нему в мастерскую, стерегла под окнами, мучилась, ревновала, приносила ему цветы, как влюбленная девочка, и эти трогательные движения ее души на краткий миг возвращали ей его уже отравленную угаром жизни любовь.

«Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть – они так красиво лежали…» Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами…»

Все на свете имеет конец – пришло время Анне уезжать. О, конечно, они расставались не навсегда – лишь до следующего раза, до следующего года, до когда-нибудь… Но, видимо, пронзило влюбленное сердце вещим предчувствием.

Первая встреча, последняя встреча… Потом – «Песня последней встречи» – и этот постоянный озноб, который всегда охватывал Анну в минуты волнения и недобрых предчувствий:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Она уехала. Чтобы встретиться с мужем – и жить надеждами на будущие поездки в волшебный, вожделенный Париж.

Модильяни… Ну, он немедленно вернулся к себе: в смысле, стал самим собой. Вот только один эпизод.

Моисей Кислинг был влюблен в молоденькую художницу Рене-Жан (по отзывам знающих людей, «создание невероятно темпераментное, но некрасивое») и решил жениться на ней. Устроили свадьбу. После трапезы с обильной выпивкой вся компания отправилась в мастерскую жениха – танцевать под патефонную музыку. Макс Жакоб умело подражал кафешантанным звездам. Модильяни раззавидовался и решил тоже поразить гостей. Он задумал изобразить призрак Макбета и для этого завернулся в простыню, сорванную с брачного ложа… Взбешенная Рене-Жан бросилась к нему, чтобы отобрать единственный и главный «элемент приданого». Модильяни выгнали вон со свадьбы!

В это самое время Анна, полумертвая от тоски по Амедео, рассказывала Николаю Гумилеву о своей поездке. Разумеется, без подробностей! Вот про то, что «Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило – Чарли Чаплин, – «Великий немой»[14] еще красноречиво

безмолвствовал», – она, конечно, рассказала. И весело (!) поведала, что видела в Париже «ранние, легкие и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы, которые кружились над моей ржавой и кривоватой современницей – Эйфелевой башней[15]. Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов».

Анна болтала всякую чушь, потому что боялась скандала, ревнивых обличений. Однако обошлось.

Я и плакала, и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.
А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня, –
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»

Итак, она перевела дух после этой смиренной встречи, на минуточку порадовалась – и всецело погрузилась в свою тоску, которая внешне никак не выражалась, кроме как в беспрестанном ожидании почтальона.

Сегодня мне письма не принесли:
Забыл он написать или уехал;
Весна как трель серебряного смеха,
Качаются в заливе корабли.
Сегодня мне письма не принесли…

Он был со мной еще совсем недавно,
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой,
Теперь весна, и грусть весны отравна,
Он был со мной еще совсем недавно…

Конечно, эти новые игры со временами года по-прежнему нужны были для рифмы, ритма и последних попыток хоть как-то сберечь тайны своего сердца… И все же она одновременно выставляла их напоказ, всем и каждому, – в стихах. Шли недели, месяцы, годы.

Писем не было.

Она пыталась хоть что-то узнать о Модильяни у людей, которые вроде бы «по должности» обязаны были знать о нем многое, если не все. Однако это имя продолжало оставаться неведомым «серьезным искусствоведам»: «В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали».

Его не знали ни А. Экстер, которая дружила в Париже с итальянским художником Соффичи, ни Б. Анреп, известный автор мозаик, ни Н. Альтман, который в эти годы (1914–1915) писал ее портрет.

А между тем даже среди цветника гениев, которыми в те годы переполнен был Монпарнас, Модильяни начал очень сильно выделяться. Ну, и зарабатывать, конечно.

Вокруг художников Монпарнаса постепенно собирались перекупщики картин, начинавшие понимать, что «эта мазня» когда-нибудь обернется немалыми деньгами. Самые известные из них были Зборовский, Баслер, Шерон. Леопольд Зборовский, польский поэт и лингвист, влез в это дело сначала по необходимости – на что-то надо было жить, а потом увлекся, стал профессионалом. Он заключил с Модильяни договор, по которому художнику полагалось 15 франков в день. Это значило для него немало: ведь он больше не получал денег от семьи, просто-напросто уставшей оплачивать его пьянство. Теперь он обрел возможность серьезно работать и в относительном спокойствии написал за три года двести картин, портретов и «ню». А Зборовский железно исполнял условия договора, хотя порою ему приходилось закладывать в ломбард украшения и шубку жены. И даже, в самом крайнем случае, занимать деньги у консьержки! Кстати, благодаря ему стоимость работ Модильяни росла и увеличилась с 50 до 450 франков за портрет. Именно в те годы о Модильяни заговорили *теоретически*. То есть не просто как о художнике, но и как о явлении в становлении современного искусства. Он стал зваться одним из основателей «Парижской художественной школы» с ее ощущением беспокойства, подчеркнутым субъективизмом в мировосприятии и мировыражении, экспрессией образов. Выражаясь шершавым языком рецензий, Модильяни создал «элегантное декадентское

искусство, вдохновленное сиенскими примитивами».

Итак, Анна ждала писем, а тем временем однажды – вольно или невольно, кто ее разберет! – напоила беднягу Гумилева допьяна горькой печалью. Он наткнулся на рисунки, по забывчивости оставленные ею в книге: три из тех шестнадцати нежных «ню». О милые улики, куда мне спрятать вас?.. После этого она убедилась, что, ставши лебедем надменным, изменился белый лебеденок: из него уже не получится вить веревки. По сути дела, она очутилась одна: мужу надоели ее «проказы», да и вообще он был слишком сильным для того, чтобы губить свою жизнь из-за вздорной колдуньи, когда на свете так много других женщин, которые смотрят обожающими глазами. Ну, а на ее жизнь нетленным лучом легла грусть – ей остались либо надежда на будущее с кем-то другим, либо тоска о прошлом и ревность к настоящему.

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Иду по тропинке в поле
Вдоль серых сложенных бревен.
Здесь легкий ветер на воле
По-весеннему свеж, неровен.

И томное сердце слышит
Тайную весть о дальнем.
Я знаю: он жив, он дышит,
Он смеет быть не печальным.

Да уж, ее Амедео смел быть не печальным. Даже очень! В своих мемуарах Анна обмолвится: «Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса Х. (цирковая наездница из Трансвааля… Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?» – *Прим. авт.*), та самая, которая называет его «perle et pourceau». Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника

поросенком, может кого-нибудь просветить».

А между тем Беатрис Хестингс, или Гастингс, если произносить это имя на английский манер (на самом деле ее звали Эмили Алис Хейг, но она любила менять имена), сыграла немалую роль в жизни Амедео Модильяни. Она была старше его на пять лет, богата, эксцентрична, своевольна и сексуальна. Когда-то, живя в Южной Африке, она выступала в цирке (не приревновала ли Анна еще сильнее оттого, что и Беатрис была «канатной плясуньей»?), потом была журналисткой, писала стихи (!), увлекалась эзотерикой и спиритизмом. Словом, не женщина, а легенда! Модильяни вошел в эту легенду в 1914 году, и встреча с Беатрис немало его встряхнула. Осталось множество портретов Беатрис, изящных и утонченных. Кто-то говорил, что Беатрис спаивала его, сама же Беатрис уверяла, что именно она удерживала художника от пьянства. Так или иначе, он работал все больше и лучше.

Это был райский сезон любви, быстро превратившийся в адский.

Связь их длилась до 1916 года.

Потом у Модильяни возникали разные подружки-натурщицы, вроде знаменитой Кики (Алисы-Эрнестины Прен), достопримечательности Монпарнаса, или студентки художественной Академии Ханны Орловой. Роль ее в жизни Амедео воистину судьбоносна, потому что именно Ханна познакомила его с лучшей своей подружкой – очаровательной студенткой и талантливой художницей Жанной Эбютерн. У нее было прозвище Кокосовый Орешек из-за резкого контраста темно-каштановых волос с белизной ее кожи. Знакомство произошло на веселом студенческом карнавале и имело для Жанны роковые последствия, ибо она смертельно влюбилась в Амедео.

Скоро они вместе поселились на рю де ла Гранд-Шомьер. Зборовский устроил Модильяни выставку. Кстати, для начала полиция велела снять пять «ню», оскорблявших стыдливость публики. Не было ли среди них красавицы с великолепным профилем, тяжелым узлом волос и в lesbijoux sauvages? Вряд ли. А если даже и была, Амедео вполне мог уже забыть, кто такая ему позировала когда-то. Для него существовало только настоящее! Именно эта минута жизни и никакая другая…

Скандал при открытии выставки мог послужить великолепной рекламой, но ничем художнику не помог: на выставке не было продано ни одной работы. Это не ослабило творческой одержимости Модильяни – он работал по-прежнему много. Написал невероятное количество портретов Жанны, которой и гордился, и дорожил, и которую любил, но…

пошатнулось его здоровье, и без того донельзя подточенное. Поскольку Жанна была беременна, они уехали в Ниццу, где и родилась вторая Жанна Эбютерн (брак с Модильяни не был зарегистрирован).

Вскоре они вернулись в Париж, и Жанна снова забеременела. Продолжать жить во грехе было уже неудобно. Но ноги все никак не несли Модильяни ни в мэрию, ни в церковь. Тогда он написал на тетрадном листке: «Сегодня, 7 июля 1919 года, принимаю на себя обязательство жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн, как только придут бумаги». Одним из свидетелей этого обещания был Леопольд Зборовский.

Однако исполнение клятвы затянулось: Амедео пил, мучимый предчувствиями скорой смерти. И пил по-прежнему много.

В конце января он простудился – и сгорел в одночасье. Перед смертью он звал за собой Жанну, чтобы в раю у него была натурщица.

В раю или в аду, но он оставался один, без нее, только одну ночь. Под утро она отправилась вслед за ним, выбросившись из окна.

А между тем Анна…

Но какой смысл сейчас перечислять общеизвестные события ее жизни? Рождение сына, развод с Николаем Гумилевым, любовь многих и многих мужчин и женщин, страдания, невероятный успех, снова страдания, страх постреволюционного бытия, жизнь советской поэтессы, кровавый орден «монахини-блудницы», выданный ей за то, что все события своей личной жизни она делала достоянием гласности… Ну а как иначе? Оправдание этому – в ее стихах, написанных в память о том пылающем в любовном огне Париже:

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

Да, нестерпимо больно душе любовное молчание – и это вынуждало Анну исповедоваться перед целым миром, вызывая у него потоки ответных восхищенных слез и грязной брани. О, она

вызвала всего этого куда больше, чем те прелестные, но такие простенькие парижские «ню» работы Модильяни!

Вот странно: столкнулись в пространстве два метеора… Нет, две планеты… Нет, две звезды, два солнца… Эта встреча дала русской поэзии прекраснейшие из стихов. Во французской живописи эта встреча почти ничего не оставила – так, мимолетный очерк силуэта канатной плясуньи… Может быть, потому, что Анна лучше умела *брать*? Любила сильнее? Была талантливей своего золотоглазого любовника? Так или иначе, стихи о любви к тосканскому принцу сделали ее бессмертной – даже если бы она ничего больше не написала, кроме подробной исповеди о том, как и почему однажды надела на правую руку перчатку с левой руки.

Амедео умер в 1920 году, но Анна узнала об этом много позже. «В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла – фотография Модильяни… Крестик… Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски…»

Узнала в начале нэпа… Однако свои воспоминания о Модильяни Анна написала лишь в 1964 году. И то – такое впечатление, что только после просмотра «достаточно пошлого» (ее выражение) фильма «Монпарнас, 19», где ее незабытого и незабываемого любовника играл невероятно красивый Жерар Филип (он должен был понравиться этой ценительнице мужской красоты!), а Жанну Эбютерн – юная и прелестная Анук Эме. Разумеется, тонкая фигура и изысканная прелесть актрисы должны были раздражить Анну Андреевну, которая к тому времени несколько… скажем так, окаменела. Как та ложноклассическая шаль, возвеличенная Мандельштамом. С другой стороны – оксфордская степень доктора гонорис кауза[16], то-се… Степень Анна вполне заслужила, а вот окаменения, конечно, нет. Но что же делать, что делать, все там будем! Однако она никогда не забывала, что в свое время отдала бы – не глядя, без раздумий! – всю свою последующую славу (и эту пресловутую гонорис кауза!) за неизменность и вечность любви одного неизвестного художника, за то, чтобы заклясть, задержать, *остановить мгновенье*… Смертью заплатила бы за то, чтобы не

расставаться с ним…

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.

Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу все твои глаза сказали…
Опилки густо устилают пол,
И пахнет спиртом в полукруглой зале.

И это юность – светлая пора

…… …… …… …

Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня![17]
О, эти строки многоточий…

Красота полудня (Карл Брюллов – Юлия Самойлова)

— Отныне мы будем вместе всегда, навеки, нераздельно. Вспомнят меня – тотчас вспомнят и тебя. А если зайдет речь о твоих чудачествах и страстях, скажут, что я, твой художник, был предметом одной из них.

— Самой пылкой страсти! Самой невероятной! Самой длительной!

— О, ты… ты лгунья!

— Но я твоя лгунья!

— Моя… Моя самая обворожительная лгунья на свете!

И два нагих тела сплелись в объятии на кроваво-алом бархатном покрывале, брошенном прямо на деревянный помост, где художник устраивал своих натурщиков, чтобы ноги их не зябли на мраморном полу мастерской.

Насытившись друг другом, они лежали, глядя в высокий, тающий во мраке (уже вечерело) потолок, украшенный фресками, поблекшими от времени. Лежали, то обмениваясь усталыми, ленивыми поцелуями, то одновременно поворачивая головы к огромному полотну, установленному у стены на прочных держателях. Краски этого полотна были столь насыщены и живы, что спорить с их внутренним свечением наступающей ночной тьме было бессмысленно. Эти краски озаряли и согревали тела любовников ярче и теплее пламени костра. Они же питали и поддерживали их неспешный разговор.

— Моя грудь…

— Твоя грудь?

— Моя грудь слишком роскошна на этой картине.

— Твоя грудь на этой картине даже совершеннее, чем в жизни!

— Ах так?!

Звук шутливой пощечины.

— Мои глаза…

— Твои глаза?

— Знаю, что ты сейчас скажешь! Что мои глаза на картине даже обворожительнее, чем в жизни.

— О нет, это невозможно. Даже моя кисть не в силах передать красоты твоих очей, мое итальянское солнце!

Звук долгого, долгого поцелуя.

— И все же моя грудь… Ах нет, погоди, не тронь меня, я

устала! Тебя станут упрекать за то, что ты бросил меня на мостовую в самой соблазнительной позе, да еще обнажив мою грудь.

— Что поделаешь… Эпоха требует нагого тела! Ты же знаешь, как развращена публика. Поверь, я бы с удовольствием обнажил у тебя что-нибудь еще, но это сочтут неприличным критики-ханжи. Освищут! А к груди не придерешься, потому что на картине ты – мать, твоя грудь давала молоко младенцу… то есть я хочу сказать, грудь той красавицы-брюнетки, которую я бросил на мостовую в самой соблазнительной позе, давала молоко ее ребенку.

— О, этот ребенок слишком большой для того, чтобы быть грудным. Хоть я не слишком много понимаю в детях, но мне кажется, ему лет пять, не меньше! А скажи, почему грудных детей художники вообще не изображают? Даже младенец Христос на полотнах всегда чрезмерно велик для того, чтобы его кормила Мадонна.

— Ты охальница и богохульница!

Звонкий хохот.

— Да, ты прав, я такая.

Снова поцелуй, страстный шепот, вздохи и смех.

— Еще знаешь, в чем ошибка? Я, которая лежу на мостовой, выставив все свои прелести на всеобщее обозрение, и я, прикрывающая двух дочерей, – мы слишком близко. Пристрастный взгляд не может не обнаружить между нами сходство. И какой-нибудь твой недоброжелатель (ты же понимаешь, у тебя не только одни поклонники и поклонницы, но и завистников полно!) скажет: сколь убога фантазия у этого художника. Он пишет одно и то же женское лицо!

— О, какой ужас! Я весь дрожу! Как же я раньше не заметил, что изобразил тебя на этом полотне дважды… Нет, даже трижды! Конечно, разве я мог удержаться и не написать самое прекрасное, самое любимое лицо на свете? Посмотри в левый угол моей картины. Видишь там рыжеволосого юношу, который несет ящик с кистями? Это художник. Рядом с ним девушка с кувшином, которая словно бы сама не знает, испугана она или нет. Это ты, моя бесстрашная возлюбленная, и красота твоя сияет, словно полдень, даже среди мрака и ужаса извержения Везувиева. Это мы с тобой, любовь моя. Это мы с тобой. Эта картина останется лучшим, величайшим нашим творением. Это памятник нашей любви. Отныне мы будем вместе всегда, навеки, нераздельно. Вспомнят меня – тотчас вспомнят и тебя. А если зайдет речь о твоих чудачествах и страстях, вспомнят, что я, твой художник, был предметом одной из них…

Дело происходило в Италии, в Риме, в мастерской модного художника Карла Брюллова. А женщиной, которая возлежала рядом с ним на красном бархате и со знанием дела оценивала достоинства и недостатки недавно завершенного полотна «Последний день Помпеи», содеявшего превеликое смятение в умах современников и, по словам одного из них, принесшего автору успех «единственный, какой когда-либо встречается в жизни художника», – этой женщиной была его любовница графиня Юлия Самойлова.

Нет, не просто любовница. Великая любовь его жизни. Лучшая из его натурщиц. Источник его вдохновения…

Брюллов не зря говорил о чудачествах и страстях. Он хорошо знал свою прекрасную модель и ее нрав. Графиня Юлия Самойлова славилась своей чувственностью и обожала скандализировать общество. Склонность к этому она впитала, можно сказать, с молоком матери, ибо само происхождение Юлии было чрезвычайно скандальным.

Ей-богу, не каждому так везет с предками!

Двоюродным прадедом ее был князь Григорий Потемкин-Таврический (любовник императрицы Екатерины Великой), родная племянница которого, невероятная красавица Екатерина Васильевна Энгельгардт, вышла замуж за добродушного и безобидного, однако безумно скучного дипломата – графа Павла Скавронского, дальнего родственника некой Марты Скавронской, более известной как императрица Екатерина I Алексеевна. Скавронский обожал Италию, однако именно эта страна сгубила его семейное счастье. В Италии Екатерина Васильевна встретила мальтийского рыцаря, графа Джулио Литту. Он принадлежал к знатному роду Висконти Арези, которые исчисляли свое происхождение от миланского графского рода Висконти, связанного родственными узами с герцогами Сфорца.

Более чем громкие имена в истории Италии!

Граф Литта был не только знатен и богат, но и обворожительно красив. Его невероятные черные глаза зажгли такой пожар в сердце Екатерины Васильевны, что она едва не сгорела в огне этой страсти. Страсть, к счастью, была взаимной, однако существовало препятствие в виде законного супруга…

Время шло. Вздыхая по Литте, Екатерина Васильевна родила двух дочерей: Екатерину и Марию. Наконец граф Скавронский, величайший сибарит и чревоугодник, то ли переел pasta, то ли перепил терпкого итальянского вина – и очень удачно скончался. Екатерина немедленно вышла замуж за Литту, который явился в

Петербург, был обласкан Павлом I и стал адмиралом русского флота. Увы, на сем поприще он не достиг ни одной вершины. Более того – был уволен от русской службы «впредь до востребования», что означало дипломатичное «навсегда». Зато он был первейшим сподвижником и даже вдохновителем Павла на внедрение в Россию идеалов братьев-госпитальеров, сиречь мальтийских рыцарей. Именно с его легкой руки вся императорская фамилия и весь двор оделись в ярко-красные супервесты[18] и малиновые мантии и принялись исполнять обряды иоаннитов, а император начал по-глупому ссориться со всем прочим миром, почему-то не стремившимся под знамена Мальтийского ордена. Завершить латинизацию и полную компрометацию державы Российской на мировом уровне Павлу помешал известный заговор 11 марта 1801 года, душою и мозгом которого стал граф Петр Алексеевич Пален, великий человек, фактически сосланный неблагодарным наследником трона Александром в свое лифляндское имение и обреченный на забвение в русской истории. Именно за сына Палена, названного – ну не насмешка ли судьбы?! – Павлом, да еще и Петровичем по отчеству, и выдал позднее Литта свою младшую падчерицу – Марию. Старшая, Екатерина, стала женой прославленного полководца князя Петра Ивановича Багратиона, а спустя несколько лет соперничала за его любовь с великой княжной Екатериной Павловной, любимой сестрой императора.

Более чем громкие имена в истории России!

Впрочем, сказать, что Литта «выдал» Марию за Павла Палена, – значит погрешить против истины. Павел Петрович, унаследовавший от отца склонность к авантюрам, однако проявлявший эту склонность только на личном фронте, просто-напросто однажды похитил Марию Скавронскую, которая вовсе не хотела выходить замуж за боевого генерала и разделять с ним бивачную жизнь. Однако после нескольких ночей, проведенных в одном доме с Павлом Петровичем, деваться ей было уже некуда – пришлось-таки идти с ним под венец, а затем уехать в дальний гарнизон. Там, чуть ли не в крестьянской избе, у Марии и Павла Паленов в 1803 году родилась дочь Юлия.

С первых и до последних дней жизни она поражала людей своей редкостной красотой того яркого типа, который среди художников непременно называется южным, итальянским. И очень справедливо! При взгляде на нее ни у кого и сомнений не могло возникнуть, что в ее жилах течет итальянская кровь. И это при том, что Екатерина и Павел Скавронские были светлоглазы и светловолосы, да и весь род Паленов яркостью красок не блистал.

Спустя некоторое время после рождения дочери в доме Павла

Петровича и Марии Павловны начались ужасные скандалы, дошедшие до того, что Мария сочла за благо расстаться с мужем (не затевая, впрочем, скандального бракоразводного процесса) и отбыть за границу – учиться не то музыке, не то рисованию. Выяснить подробности никому не удалось, ибо Мария Павловна в Россию более не вернулась и с результатами учений своих никого не ознакомила.

Юлию, которая осталась форменной сиротинушкой (Павел Петрович ее жизнью и воспитанием интересоваться категорически перестал), сначала изумляло, почему растет она не при отце, а в доме деда. Юлий Помпеевич (так в России звался граф Джулио Литта) обожал девочку, названную, понятно, в его честь. Между нами говоря, позднее выяснилось, что был он ей не приемным дедом, а отцом… А если копнуть глубже, как пытались делать многие любители скандалов, то, может быть, оказалось бы, что и отцом, и дедом, ибо, по слухам, не столь уж безгрешно проводили свои редкие встречи в Италии страстно влюбленные друг в друга мальтийский рыцарь и Екатерина Скавронская.

Впрочем, это слухи, слухи, всего лишь слухи! Но таковых всегда несметно много клубится вокруг личностей столь ярких и блистательных, какой была юная графиня Юлия Пален.

Ей едва исполнилось пятнадцать, как вдовствующая императрица Мария Федоровна взяла ее фрейлиной к своему двору. Как известно, в ту пору существовало при одном императоре Александре две императрицы и два двора: государыни Елизаветы Алексеевны и государыни Марии Федоровны, причем отношения между ними едва ли можно было назвать мирным сосуществованием. Мария Федоровна ненавидела всякое напоминание о Палене, однако дружба с обер-камергером и обер-церемониймейстером двора Литтой была для нее священна, поэтому она и приняла его внучку (или дочку? Или все-таки дочку и внучку разом?) в свой фрейлинский штат. Люди сведущие, впрочем, немедля начали шептать, что раздобрилась-де Мария Федоровна не столько из признательности Литте, сколько из-за того, что хотела подложить очередную свинью нелюбимой невестке, императрице Елизавете. Она и прежде-то не преминывала напакостить, где могла, жене сына, а уж тут – как не постараться, коли Александр сам в приватной беседе намекнул, что желал бы видеть во дворце прекрасную Юлию, «маленькую Скавронскую», как ее называли при дворе, по возможности чаще.

Мария Федоровна, вообще-то великая блюстительница нравственности и страшная ханжа, вдосталь натерпевшаяся от связей мужа то с Нелидовой, то с Лопухиной, то с мадам Шевалье, незамедлительно согласилась потрафить новой

склонности сына. Впрочем, ей и самой стало любопытно, что ж это за Юлия такая?

С первой минуты Мария Федоровна, которая была далеко не дура (страдание учит и опыт дает, а страданий за жизнь свою она немало натерпелась), поняла, что Юлия внимания сына надолго не привлечет – слишком уж яркий цветок, собой всех затмит, даже и императора, – однако жизнь проживет пребурную! Совершенно так все и вышло. Роман вспыхнул – да и перегорел, как только наш Благословенный получил желаемое.

Александр не зря носил прозвище «русский Диоклетиан». Он прославился как монарх просвещенный, а при таковых монархах всегда хорошим тоном было устраивать выгодные партии отставным фавориткам. В самом деле, мы же не иваны какие-нибудь грозные, чтобы гнать женщину из своей постели на плаху либо в монастырь! Позаботился о Юлии и Александр Павлович – опять же через любящую матушку.

Мария Федоровна с увлечением занялась своим любимым делом – сватовством. Юлии начали искать мужа.

Искали, искали, но что-то никак не находили. Император, конечно, мог бы топнуть на кого угодно, да ведь Юлия была переборчива. И топать на нее он не осмеливался.

Время шло. Сватовство затягивалось. Впрочем, время от времени Александр Павлович этому даже радовался и со свойственным ему подобием пыла возобновлял прежнюю связь. Раз или два Юлии даже пришлось обращаться к лекарям. Последствием этих обращений стало то, что детей у нее больше быть не могло.

Впрочем, это ее не больно огорчало. Хотя вообще-то детей она любила и всех их жалела. А некоторым она даже станет оказывать в будущем покровительство и брать их на воспитание.

Наконец, в 1824 году император окончательно распростился с Юлией и сказал матушке, что судьбу «маленькой Скавронской» пора наконец устроить.

«Маленькой Скавронской» в ту пору исполнилось двадцать два года. Возраст если еще и не критический, то уже настораживающий… Как бы в девках не засидеться первой красавице Петербурга!

В числе старинных приятельниц императрицы Марии Федоровны была графиня Самойлова, дама умнейшая, хоть и капризная. Еще более капризен был ее сын Николай Александрович, флигель-адъютант, получивший среди приятелей общеизвестное прозвище Красавец Алкивиад[19] за свою воинскую доблесть и еще одно, менее афишируемое, – Мело́к. Прозвали его так за необычайно светлые волосы, но гораздо более – за

пристрастие к карточной игре, ведь мелко́м записывают игроки по зеленому ломберному сукну свои ставки и счета.

Правда, об этом пристрастии Алкивиада были осведомлены лишь самые близкие его друзья-приятели (в частности, некто Сашка Пушкин), потому что, смертельно боясь матушки, он носил маску человека, не отзывчивого к искушениям. Играл он все в долг да в долг… До поры Алкивиаду верили, однако вдруг р-раз – да и перестали. И необходимость оплатить проигрыши обожаемого сына обрушилась на графиню Самойлову с внезапностью и неотвратимостью того самого пламени небесного, который некогда пожрал Содом и Гоморру.

Иллюзии графини сгорели дотла, а заодно – ее тайная решимость никогда не расставаться с ненаглядным Николашею. Конечно, она была богата, однако не баснословно. И единственное, из-за чего графиня позволила бы любимому сыну *связаться с какой-нибудь женщиной*, были деньги… Причем очень большие деньги!

У Юлии Пален именно такие деньги имелись. И вот 25 января 1825 года два потомка князя Потемкина-Таврического (Алкивиад также приходился ему внучатым племянником) пошли под венец.

Всякая (за очень редким исключением!) любовь проходит в своем развитии два этапа – очарования и разочарования. Любовь Юлии и Николая Самойловых длилась одну ночь, вслед за чем пылкая красавица окончательно утвердилась в мысли, что с блондинами ей не везет. А потому она со вздохом огляделась вокруг – и приметила некоего господина Александра Мишковского. Это был управляющий, приятель и доверенное лицо ее супруга – весьма привлекательное лицо! Его освещали лукавые, вернее, жуликоватые темные глаза, обрамленные чарующими ресницами, у лица имелись изящный нос и пухлогубый улыбчивый рот, а обрамлено это лицо было темно-русыми, почти черными кудрями.

Граф Николай Александрович весьма скоро узнал, почему его жена предпочитает проводить ночи не в супружеской опочивальне, а в своей собственной. Однако слишком не обиделся, а скорее вздохнул с облегчением: знойная красота Юлии обжигала и подавляла его, он любил миленьких и маленьких, нежненьких и пухленьких поселяночек и горожаночек, которые при одном лишь взгляде холодноватых голубых глаз Алкивиада начинали жутко трепетать, а про Леонардо да Винчи, Тициана и тем паче Пьетро Аретино (Юлия была помешана на Кватроченто[20]!) слыхом не слыхивали, а значит, и не могли ранить самолюбие его сиятельства.

Словом, новобрачные отлично договорились. Мишковский

угождал обоим: графу днем, графине ночью… не только из добрых чувств, разумеется. Услуги его отлично оплачивались – настолько отлично, что однажды выяснилось: признательные Николай и Юлия понавыписывали своему любимчику на 800 тысяч рублей заемных писем.

Мишковский счел, что «этой малостью» он вполне сможет удовольствоваться, и решил покинуть друга и любовницу, но раньше потребовал оплатить векселя.

Почти миллион наличными – это еще надо подумать, где сыскать! Юлия бросилась к любимому дедушке (или все же папеньке?). Граф Литта уж на что крепок был, однако нравственно покачнулся. Да и физически тоже. Посидев на своевременно подсунутом услужливым лакеем стуле и слегка отдышавшись, вскочил и велел заложить лошадей. Как ни молила его Юлия остановиться, подумать, подождать, не рубить сплеча, мальтийский рыцарь уже мчался в бой. Юлия кинулась было его догонять, однако ее лошади отстали от лошадей доблестного госпитальера, и он успел достичь дома графини прежде хозяйки. А еще он успел сгрести господина Мишковского за грудки и несколько раз огреть тростью. То есть под ярко-алым супервестом билось еще вполне ретивое сердце!

После этого Мишковский, решив не подвергать Литту искушению совершить смертоубийство, векселя возвратил, а потом из Петербурга исчез. Николай Александрович за это весьма на супругу гневался, считая ее единственной виновницей разлуки с дорогим другом. Уж не от жажды ли вновь ощутить сладость суровой мужской дружбы он начал искать знакомства среди участников небезызвестного Северного общества? Правда, 14 декабря на Сенатскую площадь Самойлов не явился – к счастью своему. Досужие языки чего только не говорили о причинах его отсутствия в момент исторического комплота! Причины выдвигались, впрочем, весьма тривиальные: вино, карты, женщины. Ну что ж, каждая из них более извинительна, чем запоздалое благоразумие князя Трубецкого.

Впрочем, бог с ним, с Трубецким. Он отправился в Нерчинск, чтобы с лихвой расплатиться за ошибки молодости, а флигель-адъютанта графа Самойлова хоть и привлекли к дознанию по поводу участия его в комплоте, но сие участие по высочайшему повелению оставлено было без внимания – за недоказанностью преступных действий.

Поговаривали, что новый император Николай Павлович, который учился подражать величавой осанке старшего брата, подражал ему не только в этом – и некогда даже отпил из царского бокала пьянящего вина под названием «Юлия

Самойлова». Ну так вот он и не остался равнодушен к мольбам красавицы графини пощадить супруга.

Юлия Николая не любила. Юлия его безумно жалела! И еще более безумно не хотела числиться женой государственного преступника.

Словом, от Самойлова отстали. Некоторое время супруги умиляли свет своим нежным примирением (Пушкин даже поздравлял с этим своего приятеля в письме), а потом путь Юлии перешел барон Эрнест де Барант, сын французского посланника, – тоже очень яркий брюнет, такой же лукавоглазый и жуликоватый, как приснопамятный Мишковский. Гораздо более, чем этим романом, знаменит де Барант в русской истории тем, что спустя несколько лет на балу в особняке графа Лаваля на Английской набережной в Петербурге он упрекнет поручика Лермонтова, будто бы тот говорил о де Баранте «известной особе невыгодные вещи». Особой этой была то ли Тереза фон Бахерахт, то ли княгиня Мария Щербатова. Выйдя на дуэль, де Барант и Лермонтов сначала будут биться на шпагах, потом, когда у де Баранта сломается кончик шпаги, станут стреляться, а в результате разойдутся с миром, потому что Лермонтов, чуя, видимо, правоту противника (ну о ком злоязыкий юнец когда что доброе говорил в стихах либо в прозе?!), выстрелит в сторону. Но это еще когда-а будет…

Ни застрелить, ни продырявить Лермонтова де Баранту не удастся, видимо, утратит он меткость с годами, однако же в сердце графини Самойловой он попал с одного залпа своих дерзких глаз.

Пламень этой страсти пылал так жарко, что Николай Александрович понял: от его репутации скоро останется только пепел! И решил разъехаться с женой. Сам он отбыл в армию генерала Паскевича, а Юлия Павловна отправилась в имение Графская Славянка близ Павловска, доставшееся ей по наследству от графов Скавронских.

Вскоре слухи оттуда поползли самые невероятные. Описывались кутежи на манер Клеопатриных и Мессалининых. Бассейны, мол, там наполняются шампанским, шампанским же фонтаны бьют. А графиня-де Юлия вовсе с привязи сорвалась: каждого гостя берет себе в любовники. А которые отказаться норовят, тех крепостные силком в ее постель тащат!

Слушавшие эти сплетни в фонтаны шампанского верили, а в насилие над привередниками – нет. Прежде всего потому, что не хватало у людей фантазии представить себе мужчину, которому Юлия Павловна себя бы предложила, а он бы отказался.

Небыль это, господа. Небыль!

Не о ней, о другой напишет спустя несколько лет Пушкин следующие строки, однако они поразительно точно рисуют портрет Юлии Самойловой:

…Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сияньи исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, –
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Разумеется, перед красотой графини Юлии не «благоговели богомольно» – ее дьявольски вожделели! Это была еще одна «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», та, что называлась едва вошедшим в обиход словом «львица». Подражательницы Жорж Санд были свободны, дерзки и всячески выставляли напоказ свою личную жизнь. И дошло дело наконец до того, что слухи, выползавшие из Славянки, превзошли всякие мыслимые и немыслимые приличия. Николай Павлович внимал им снисходительно, вспоминая вкус терпкого вина, пригубленного им в былые годы, однако, когда стало известно, что в Славянке появляется народец подозрительный, тоже «за недоказанностью», подобно графу Самойлову, освобожденный от расследования по делу декабристов, – Юлии Павловне посоветовали слегка угомониться.

Этого прекрасная графиня сделать не могла, но и ссориться с государем было глупо. Она стала размышлять, как бы ей половчее отступить, не уронив своего эпатажного достоинства и, не дай бог, не запятнав смирением репутации «львицы», «вакханки» и «гетеры». И тут вдруг судьба просто-таки выпихнула ее из Петербурга!

Среди тех, кто останавливался невольно перед святыней… вернее, перед бесчинством ее красоты, был известный в Петербурге гусарский корнет и карикатурист Эммануил Сен-При. Веселый, популярный, всеми любимый, талантливый красавец однажды утром был найден в луже крови. Застрелился от

безнадежной любви к Юлии!

Какой бретершей по натуре своей она ни была (родственная душа бывшему мужу своему, Николаю Александровичу, известному страстью к смертельным забавам!), но обагренные кровью поклонников платьица никогда не были в моде. Поэтому Юлия Павловна немедленно сочла, что север вреден для нее, и отправилась попутешествовать и помотать деньги во Францию, а потом и в Италию.

Под Парижем у нее было имение Груссе, известное собранием картин. Прекрасная графиня купила также виллу на озере Комо, дворец в Милане, заполнив их произведениями искусства, на которые она никогда не жалела денег. Ее виллы, дворцы и дома сделались самыми модными местами в Италии. В них собирался цвет общества – композиторы, артисты, художники, дипломаты. Бывали здесь молодой Верди, Россини, Доницетти, Беллини, Паччини. Юлия покровительствовала молодым дарованиям, нередко оплачивала постановки опер в Ла Скала.

С Паччини у нее, по слухам, был роман, который перешел в дружбу, настолько близкую, что Юлия взяла на воспитание двух его хорошеньких девочек, Джованину и Амацилию. Спустя годы заклубилась молва, что это были собственные дочери графини, рождение которых она почему-то скрывала.

Глупости! Она гордилась бы, появись у нее дочери, пусть даже от какого-то безродного итальянца. Нет, забота о девочках – это было все, чем она могла вознаградить Паччини за прелестный роман, потому что сердце ее уже принадлежало другому человеку.

Юлия услышала о нем случайно. Имя его звучало в связи со скандалом, живо напомнившим Юлии ее собственный петербургский пассаж: молодая красавица Аделаида Демюлен утопилась в Тибре, не перенесла равнодушия своего любовника, русского художника Карла Брюллова.

Художник, да еще и русский, да к тому же со скандальной славой…

Юлия почуяла товарища по несчастью, родственную душу – и заинтересовалась.

Кто такой? И что у него за душой, кроме смерти ревнивой натурщицы?

В Риме в те годы было много русских, и Юлии не преминули рассказать о Брюллове.

— Холоден, как лед. Бедная девушка засыпала его нежными письмами, а он их даже не распечатывал! Конечно, он глуховат на одно ухо – еще в детстве ударил отец, – но не слышать признаний

Аделаиды было невозможно! Страшный эгоист, для него ничего не существует, кроме него самого. Как ни странно, именно это равнодушие ко всем на свете и обеспечивает ему невиданный успех у женщин! Бедняжка Аделаида – лишь одна из многих. Маркиза Висконти-Арагона с ума по нему сходила. Возила его по Италии, осыпала подарками. И что только прекрасные дамы в нем находят? Роста маленького, рыжий… – презрительно пожимали плечами одни.

— Небольшой рост его заключает в себе атлетические формы: эта широкая и высокая грудь, эти мощные плечи… не говоря уж о его прекрасной голове! Он невольно обращает на себя внимание всякого. Я не знаю мужского лица прекраснее его. Он красавец! – восхищались другие.

Впрочем, Юлию в человеке творческом интересовали не только и не столько мужские достоинства, сколько само творчество. Талантлив этот Брюллов или нет?

Постепенно она узнавала о нем все больше и больше.

Ему нет еще и тридцати. Родился в Петербурге. Предки его были французами, потом онемечились, и именно из Германии один из них был приглашен императрицей Екатериной, увлеченной созданием русского порцеллина, то есть фарфора, на только что созданный завод лепщиком глины. Потомки того Брюло были граверами, рисовальщиками… Один из них, Поль Брюло, художник-миниатюрист, стал преподавателем Академии художеств, куда поступили учиться сыновья – Александр, талантливый архитектор, и Карл… Ну, вот этот самый, из-за которого бедняжка Аделаида…

Оказывается, он стал учеником Академии в возрасте… десяти лет. Рисовать научил его отец. В Академии Карл мигом завоевал первенствующее положение среди своих товарищей, однако брата Александра искренне считал талантливее себя. Преподаватель Брюллова Егоров восхищался той чистотой античного штриха, которой обладал ученик. Товарищи нередко просили его поправлять их рисунки, и тихонько по ночам, в спальнях, он выправлял выкраденные из классов этюды. Когда наступило время конкурсов, молодой художник сумел из сухих поз академических натурщиков воссоздавать аллегорические картины, не довольствуясь точной передачей нагого тела, но выискивая мотив, почему именно в такой позе может быть изображен человек. В 1819 году он получил малую золотую медаль именно за такой этюд, превращенный им в картину «Нарцисс, смотрящий в воду».

В 1821 году Брюллов получил первую золотую медаль за композицию «Авраам и три ангела». Сюжет этот был предложен

академическим советом для испытания сил молодых художников при одновременном изображении чудесного и реального. Миловидность ангелов, благородство типа Авраама, добросовестно изображенный пейзаж искупали античную барельефность композиции, которая составляла неизбежное требование всякой академической программы того времени.

Получив медаль, поощряемый первыми успехами, Брюллов счел себя человеком вполне состоявшимся и даже решился жениться. Он давно вздыхал по дочери своего профессора А. И. Иванова и сделал ей предложение. Мария Андреевна была к нему неравнодушна, однако… отказала. Честно говоря, она побаивалась необузданной страстности этого рыжего гения, а в его особенный художественный дар, в его грядущий грандиозный успех не слишком-то верила. Она ошиблась – успех ее несостоявшегося жениха окажется именно грандиозен… Однако Мария Андреевна оказалась редкостной женщиной. Когда Брюллов вернется из Италии, опьяненный триумфом, Мария Андреевна не станет рвать на себе волосы от невозможности вернуть несбывшееся и упрекать себя за ошибку, а, наоборот, будет гордиться собой: мол, если бы Карл связал с ней жизнь, то никогда не добился бы таких успехов.

Воистину так. Ведь в этом случае он не встретил бы Юлию Самойлову, которая одна была половина успеха…

А впрочем, не станем забегать вперед.

Итак, после отказа Марии Андреевны Брюллов грустил, как он полагал, от разбитого сердца. Одна работа была его исцелением.

В то время образовалось в Петербурге «Общество поощрения художеств», которое нашло дарование Брюллова необыкновенным и определило отправить его в чужие края на собственное иждивение. Общество снабдило Брюллова инструкцией, из которой следовало, что пенсионер[21] должен писать в Петербург свои впечатления, которые он вынесет из обозрения европейских галерей. Далее ему был дан совет заняться серьезным чтением и изучить практические языки настолько, чтобы «писать отчеты на диалекте той земли, в которой будет находиться». Маршрут путешествия был такой: три месяца в Дрездене, для изучения Корреджо, Рафаэля и Ван Дейка; затем следовали Мюнхен, где предложено было пробыть месяца два; а в конце концов следовала Италия – Милан, Флоренция и Рим.

В 1822 году Брюллов с братом Александром выехал из Петербурга в Ригу, Планген и Берлин. Осмотрев берлинскую и дрезденскую выставки, Карл Брюллов, пораженный Сикстинской мадонной, особенно подчеркнул то обстоятельство, что «у

Рафаэля каждая черта обдумана». Гораздо менее понравился ему в Мюнхене знаменитый в то время художник Корнелиус: Брюллов нашел его сухим и условным.

Прибывши в Рим и внимательно принявшись за изучение Рафаэля, он начал постепенно понимать все безвкусие итальянской живописи XVIII века и обратился к эпохе Возрождения как к новому живительному источнику. Здесь Брюллов начал серьезно довершать свое художественное образование, копируя статуи и фрески Ватикана и работая в натурном классе. В это время он написал «Девушку у фонтана», иначе называемую «Итальянским утром». Позднее эта картина разошлась в России множеством литографий. Брюллов был обуреваем темами и идеями: то он писал Юдифь, то Олега у ворот Царьграда, то библейские сюжеты, то вакханалии. В конце 1824 года он получил через русское посольство заказ написать копию с «Афинской школы» Рафаэля, этой огромной фрески. Работа занимала Брюллова четыре года. Одновременно он написал четырнадцать портретов и картин, поражая итальянцев своим странным, холодноватым талантом и пылкостью натуры. После завершения копии Брюллов сделался одержим мыслью написать «Последний день Помпеи». Он был совершенно уверен в своих силах создать грандиозное полотно – эту уверенность немало укрепляло слово известного богача Демидова купить будущую работу.

Именно в это время он расстался с маркизой Висконти-Арагона, свел в могилу Аделаиду Демюлен и встретился с графиней Юлией Самойловой…

Это произошло в имении Гротта-Феррара, которое принадлежало князю Григорию Ивановичу Гагарину, послу при тосканском дворе. Там Брюллов скрывался от упреков римского света, который с наслаждением обсуждал самоубийство Аделаиды. И вот однажды…

Во двор поместья на полном скаку влетела карета. День был ветреный, и Брюллову, который с восхищением наблюдал за взмыленными лошадьми (редко увидишь такую великолепную упряжку!), показалось, что высокая женщина с разлетевшимися в сторону черными волосами была вырвана из кареты порывом ветра и заброшена на террасу, не коснувшись ногами презренного земного праха. В ней все казалось слишком – слишком высокая, слишком красивая, слишком… неодолимая. Она смотрела на Карла сверху вниз, нисколько не стесняясь своего великолепного роста; она блестела глазами, словно хотела ослепить его; она сверкала зубами, словно хотела его укусить; у нее были яркие губы, которые будто разгорелись от поцелуев… Одна из тех

страстных вакханок, которых он так любил изображать, умирая от вожделения рядом с экстатической страстью, которая, увы, существовала раньше лишь в его воображении.

И вот она – живая! Во плоти!

Некоторое время красавица испепеляла его своими черными очами, которым напрасно пытались противиться холодноватые серо-зеленые, словно речная вода, глаза Карла. Произошло невероятное: не вода загасила огонь, а огонь зажег воду!

С этого мгновения художником владело одно лишь желание – как можно скорей затащить эту красавицу в свою мастерскую и там овладеть ею. Впрочем, до мастерской он боялся не дотерпеть, а потому готов был утолить свое внезапно вспыхнувшее вожделение где придется, пусть бы прямо здесь, на террасе Гротта-Феррара…

Увы, появился хозяин. Пришлось делать взаимные реверансы. Красавица – оказалось, ее зовут графиня Юлия Самойлова – заговорила, и Карл даже не понял, чем он был поражен сильнее: звуком ее чувственного, насмешливого голоса или тем, что в этой хорошенькой головке роились какие-то мысли.

Нет, не какие-то, отнюдь нет!

— Я слышала, вы хотите писать гибель Помпеи? Слышали оперу Паччини «L'Ultimo giorno di Pompeia»? Она имела огромный успех по всей Италии. Композитор – мой добрый друг.

Графиня произнесла эти слова, чуть облизнувшись, и Карл, который и так-то разобиделся, что она его чуть ли не в плагиате обвинила, вконец рассвирепел – теперь уж от неистовой ревности к несчастному Паччини.

— Ежели вы хотите писать этот самый l'ultimo giorno, – произнесла она, глядя ему в глаза и прекрасно понимая, какой пожар раздувает в его чреслах, – вам надобно съездить на место помпейских раскопок, перечитать Плиния, копировать позы найденных под пеплом помпейцев… Кстати, я давно собираюсь в Помпеи. Хотите поехать со мною?

— Что? – пробормотал Брюллов.

— Поехать со мною, – повторила она. – Хотите?

— Куда? – выдохнул Брюллов, едва ли слыша себя, и тут же, не ожидая ответа, выпалил: – Хочу!

Свидетель этой сцены господин посол Гагарин только вздохнул…

Брюллов кинулся в карету, словно за ним гнались фурии. Впрочем, фурии были просто детьми по сравнению с сонмом бесов сладострастия, которые зашвырнули Карла в карету Юлии.

Великолепная упряжка помчалась… и Карл понял, что в мастерскую ехать не обязательно. Карета вполне ее заменила.

«Между мной и Карлом ничего не делалось по правилам», – признается Юлия позже. Это было именно так – с первой минуты первой встречи!

Юлия и сама удивлялась безумной страсти, которая обуревала ее рядом с Карлом. Может быть, именно кровью они были повязаны? Кровью Сен-При и Аделаиды? Два сапога пара, муж и жена – одна сатана… Разумеется, их отношения не были узаконены. Да и зачем?! Взаимное желание их было почти неодолимо, и только работа над новой картиной могла заставить Карла отвлечься от Юлии. Впрочем, нет, это не слишком-то верное выражение – хоть он отрывался от ее тела, но глаза его не отрывались от ее глаз, вбирали в себя ее красоту, насыщались – и не могли насытиться ею, именно поэтому столько обольстительности в трех женщинах с полотна «Последний день Помпеи», обольстительности среди трагизма и ужаса.

Описывая впоследствии основные типы картин Брюллова, Гоголь найдет для них такие слова: «Его человек исполнен прекрасно-гордых движений; женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, – она женщина страстная, сверкающая, южная, италианская во всей красоте полудня, мощная, крепкая, пылающая всей роскошью страсти, всем могуществом красоты, – прекрасная как женщина».

Эта самая «красота полудня» испепеляла Брюллова любовью.

«Никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как твоя верная подруга…»

«Мой дружка Бришка… Люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду душевно тебе приверженная Юлия Самойлова…»

«Люблю тебя, обожаю, я тебе предана, и рекомендую себя твоей дружбе. Она для меня – самая драгоценная вещь на свете!»

И одновременно это была связь двух совершенно свободных людей. Юлия отлично понимала право Карла на внезапный порыв вдохновения, который может быть спровоцирован только порывом нового вожделения. Именно этого не смогла понять бедная Аделаида Демюлен. Да и вообще – не всякой женщине свойственно такое самоотречение. Разве только на подобное же самоотречение взамен. Ведь и Карл охотно отпускал от себя свою ненасытную подругу, со временем поняв, что не может сосуществовать в его жизни Юлия и искусство одновременно – нужно уметь выбирать. Да и вообще – рядом с Юлией недолго и умереть в постели!

А Брюллов хотел жить и работать.

Но, вообще говоря, он тоже был еще тот мужчина! Один из

его современников писал о нем: «За внешностью молодого эллинского бога скрывался космос, в котором враждебные начала были перемешаны и то извергались вулканом страстей, то лились сладостным блеском. Он весь был страсть, он ничего не делал спокойно, как делают обыкновенные люди. Когда в нем кипели страсти, взрыв их был ужасен, и кто стоял ближе, тому и доставалось больше».

Пара подходящая. Одна сатана, воистину!

То ли высшей была их форма любви, то ли низшей? Может, они были люди будущего? Кто их разберет! Однако часты и такие строки среди сердечных излияний в их письмах: «Скажи мне, где живешь и кого любишь? Нану или другую? Целую тебя и верно буду писать тебе часто», – строчила перышком великодушная подруга.

Брату Карла, Александру, она признавалась, что они все же хотели соединить свои жизни, однако просто-напросто побоялись убить друг друга, уничтожить свою любовь. Оба были птицами свободными, свободными…

Может быть, они встретились лишь для того, чтобы красота Юлии была запечатлена в веках? Может быть, не она была музой Брюллова, а Брюллов – орудием влюбленной в Юлию вечности?

Она стала моделью для сверкающей нагой «Вирсавии». Из портретов Самойловой сохранились два. Другие исчезли бесследно. Один из сохранившихся – «Самойлова с воспитанницей Джованиной Паччини и арапчонком». Именно от этого портрета итальянская публика пришла в восторг, а его создателя взахлеб сравнивали с гениальными Рубенсом и Ван Дейком.

Красота Юлии на этом полотне не поддается никакому описанию. Слова меркнут… и становится понятно, что каждая картина была написана ими совместно: кистью Брюллова – и сияющей красотой Юлии Самойловой.

В том числе, конечно, и «Последний день Помпеи».

Художник решил запечатлеть бегство жителей Помпеи через Геркуланумские ворота. Для изображения он выбрал улицу, лежащую за городскими воротами, на месте ее пересечения с кладбищенской улицей. На картине боролись два освещения: красное, собственно от извержения, и синевато-желтое, которым осветила первый план сверкающая молния. Небо было затянуто густыми, черными клубами дыма, так что дневной свет ниоткуда не проникал…

Конечно, то, что изобразил Брюллов, далеко от той ужасной картины, которую рисовал в своих записках Плиний. Этот очевидец ужасной катастрофы особенно подчеркивал то

обстоятельство, что все вокруг тонуло во мраке, сыпался такой густой пепел, что надо было беспрерывно его стряхивать, чтобы не быть навсегда засыпанным.

Некий французский критик, описывая впечатление от картины Брюллова, иронизировал: она-де создана совершенно в тоне манерных мелодий и цветистых декораций оперы Паччини, в ней масса театральности. Упреков в чрезмерной декоративности, патетичности было много. И в чрезмерной красивости… Разумеется, разговоры о пресловутой груди и соблазнительной позе тоже велись. Но при всем при том любовник Юлии Самойловой взлетел на гребне такого триумфа, который мало кто из художников испытывал.

Успех «Помпеи» был громадный не только за границей, но и в Петербурге. Это был апофеоз славы Брюллова – слово «гений» раздавалось со всех сторон. Академия преклонялась перед ним; молодые художники считали за честь быть его учениками.

Маркиза Висконти, его бывшая любовница, которой Брюллов обещал рисунок, никак не могла зазвать Карла к себе. Вернее, он приходил, но не шел дальше привратницкой, удерживаемый там красотою дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись юной красавицей, уходил домой. Наконец маркиза Висконти сама отправилась в привратницкую.

— Противная девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества моего и моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь иметь его рисунок. Но отдашь его мне!

«Брюллов меня просто бесит, – гневно писала княгиня Долгорукая, бывшая в то время в Италии и давно умолявшая художника о свидании. – Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел… Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка!»

В 1835 году Брюллов был отозван в Петербург – Россия жаждала увенчать его лавровым венком. Юлия тоже отправилась в Россию.

«Самойлова вернулась из-за границы и появилась на вокзале в Павловске с целой свитой красавцев – итальянцев и французов… ее сочные уста, вздернутый нос и выражение глаз как будто говорили: «Мне нет дела до мнения света!» – такой ее запомнил художник Петр Соколов.

То есть прекрасная графиня продолжала будоражить свет и общество своими эскападами. Вдоволь назабавившись, она снова уехала в Италию, потому что север продолжал быть вреден для нее, для этого жаркого цветка. Да и любимый Бришка сделался

невыносимо скучен теперь, поднятый на пьедестал своего невероятного успеха. Возомнил себя академиком, мэтром, бессмертным, жаждет писать исторические полотна, но натурщиц ищет теперь исключительно среди бледных россиянок…

Да, а что же Брюллов?

Вернувшись в Петербург, художник был принят Николаем I, а потом начал работу над историческим полотном «Осада Пскова». Для этого через две недели после торжеств в Академии художеств в его честь, состоявшихся 11 июня, он отбыл во Псков.

Работа над картиной продолжалась почти восемь лет, но так и не была завершена. Мечта Брюллова – создать более значительное, чем «Последний день Помпеи», произведение не сбылась, поэтому он не обращался больше к историческим сюжетам. Зато за это время Брюллов написал, создал целую галерею портретов своих современников, которые, несомненно, принадлежат к его удачам: Е. П. Салтыковой, графа А. А. Перовского (писателя Антона Погорельского), В. А. Жуковского, И. А. Крылова.

Мода на Брюллова была невероятная! Брюллова донимали заказами как частными, так и государственными: император и весь свет относились к нему как к придворному художнику.

В январе 1837 года Александр Сергеевич Пушкин побывал в мастерской художника. Одна из акварелей привела его в такой восторг, что поэт попросил ее в подарок. Когда же Брюллов ответил, что работа уже продана, Пушкин в шутку опустился на колени, настаивая на своей просьбе. Чтобы как-то смягчить отказ, Брюллов предложил написать его портрет и портрет Натальи Николаевны и даже назначил время первого сеанса. Увы, условленный день окажется следующим после роковой дуэли…

Почти за год до этого в одном из писем Пушкин описывал жене свое посещение в Москве Перовского, который повздорил с Брюлловым и перемежал восхищение его этюдами бранью: «Заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник».

Однако Брюллов был недоволен всем: и работой, и жизнью, и даже невероятной популярностью своей. Перовский не зря называл его пьяницей: кутежи и дебоши на какое-то время захватили всерьез модного художника.

Просыпаясь после очередной попойки, Карл, размышляя, начинал понимать, что в России, в круговороте светской жизни и светских заказов, он не может совершенствоваться. Ему грозило почить на лаврах, а для художника это значит – именно *почить,*

умереть. Он рвался в Италию, но заказы от высочайших особ, доставлявшие ему, между прочим, отличный заработок, не отпускали. Единственный заказ, который на время воодушевил его, была работа по оформлению купола Исаакиевского собора, где он должен был написать несколько святых покровителей членов императорской фамилии. Вспоминая Микеланджело, Брюллов готов был расписать целое небо и с таким рвением занимался работой, что нередко являлся в собор раньше своих учеников.

Увы, это вдохновение скоро остыло: отрешенные от простых человеческих чувств, тем паче – от бурных страстей, лики святых наводили тоску на художника, самую суть которого составляли неистовая страстность и чувственность.

Именно в то время ему показалось, что он найдет спасение в новой любви.

На званом вечере в доме Зауэрвейда, придворного баталиста и любимца императора, Брюллова познакомили с прекрасной музыкантшей – дочерью рижского бургомистра Федера Тимма. Ее звали Эмилией, она была тиха, скромна, чиста, юна – воплощение кротости и непорочности. Ну, сущий ангел! Рыжий демон почувствовал себя укрощенным и свободным от бесовских страстей: Брюллов влюбился и пригласил Эмилию позировать. Она согласилась. Брюллов упоенно написал портрет: тоненькая девушка в белоснежном платье – изящный лесной ландыш! – у рояля. Кстати, на рояле стояла именно что ваза с ландышами. Многим показалось странным, что фоном для фигуры нежной Эмилии был выбран красный занавес такого тревожного оттенка. Считалось, это было сделано для того, чтобы ярче оттенить ее неяркую красоту. Однако интуитивный выбор Брюллова, возможно, не слишком понимавшего, что он делает и почему, оказался безошибочным и роковым…

Влюбленный Карл сделал предложение. Ему было сорок, Эмилии – восемнадцать. И она, и ее отец предложение приняли с радостью. То есть Эмилия, конечно, потупляла глазки и прелестно краснела, однако шептала нежные, сбивчивые слова любви. Первой любви, был убежден тщеславный Карл…

27 января 1839 года состоялось венчание. И тут гости почуяли нечто неладное. «Я в жизнь мою не видал, да и не увижу такой красавицы, – вспоминал потом свидетель бракосочетания, один из учеников Брюллова, Тарас Шевченко. – В продолжение обряда Карл Павлович стоял глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту».

Почему? Да потому, что накануне он узнал правду о той

почве, на которой растут такие вот цветы непорочности, как его Эмилия.

Ну да, она была не девица… Но это еще полбеды! Ужас состоял в том, что у Эмилии был постоянный любовник, и этого человека Брюллов знал. Его звали Федер Тимм. Отец Эмилии был ее растлителем и любовником.

Вот он, красный, тревожный фон, на котором проистекала жизнь девушки в белом платье!

Нежность, чистая, романтическая нежность, которую испытывал Карл к своей юной невесте, была так велика, что он даже готов был закрыть глаза на случившееся. Удалось бы это сделать или нет – вопрос другой, главное – он был на это готов. Однако Федер Тимм не смог расстаться с любовницей даже и после свадьбы. Впрочем, Эмилия тоже не мыслила жизни без него.

То есть Брюллов с ужасом понял: он сам оказался всего лишь *занавесом* – ведь по Риге и Петербургу поползли было сплетни о странных отношениях отца и дочери, а чем лучше их прикрыть, как не свадьбой с известным художником? Тимм рассчитывал: Брюллов не сможет долее оставаться рядом с Эмилией, но скандала не захочет, жить станет вдали от нее, а она по-прежнему будет принадлежать любовнику, нося звание мужней жены и приличной дамы.

И эти расчеты едва не оправдались. Конечно, Брюллову не хотелось скандала, но… существовать в такой позорной грязи было свыше его сил. Он стал настаивать на разводе, Эмилия не соглашалась. По Петербургу поползли новые слухи – на сей раз о том, что Брюллов бьет свою юную, прелестную жену, что она убегает из дому, ища спасения у родственников и друзей…

Брюллов тоже убегал из дому и тоже искал спасения у родственников и друзей. Например, в доме барона П. К. Клодта. Карл забивался в детскую и плакал, словно сам был обиженным, потерявшимся ребенком.

Чтобы добиться разрешения на развод, Брюллову пришлось писать прошение на имя министра двора князя Волконского, а также давать письменное объяснение шефу жандармов и фактически второму лицу в государстве – Александру Христофоровичу Бенкендорфу.

Вот лишь несколько строк из этих унизительных, позорных объяснений.

«Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь обратиться к Вашей Светлости, как главному моему начальнику, и надеяться на великодушное покровительство Ваше…»

«Я влюбился страстно… Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней… Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана…»

«Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публике, приписав причину развода совсем другому обстоятельству, мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству…»

«Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор, разрушение моих надежд на домашнее счастье… что боялся лишиться ума»…

Толпа обожает наблюдать крушение своих недавних кумиров. Очень многие знакомые отвернулись от Брюллова. Имя его все равно оказалось запятнанным: ведь это какой позор – иметь такую жену!

Развод был получен к концу года в связи с «крайне печальными отношениями между супругами». Об этих «отношениях» судачили многие, и Брюллов вынужден был поспешно покинуть Петербург.

Но – не один.

Его «беззаконная комета» вдруг явилась в Петербурге, вроде бы хлопоча по делам наследства. А на самом деле – спасая своего возлюбленного друга из той пучины черной меланхолии, в которую он уже совсем было погрузился.

Однако какой странный рок преследовал Брюллова! Жена – жертва инцеста, но ведь и божественная Юлия – дитя, по слухам, такого же инцеста… Поистине, не зря шепталась досужая публика, будто у изголовья колыбели Брюллова стояли рядом бесы и ангелы!

Но это всего лишь реплика.

А наследство Юлия получила от приснопамятного мальтийского кавалера, графа Литты.

Джулио было семьдесят, однако он все еще считал себя малым хоть куда – да и был таковым. Вино, по отзывам знавших его людей, хлестал, как гусар на биваке. И вообще в удовольствиях себе не отказывал. Рассказывали, будто накануне смерти Юлий Помпеевич опустошил громадную форму мороженого, рассчитанную на двенадцать порций, восхитился искусством своего повара: «На этот раз мороженое было просто необыкновенным!» – и отправился в мир иной, испытав последнее доступное ему бренное наслаждение. Все его огромное состояние досталось Юлии.

Итак, она явилась в Петербург, где ее уже успели подзабыть и даже с трудом узнавали. «Она так переменилась, – записал в

дневнике К. Я. Булгаков, – что я бы не узнал ее, если бы встретил на улице, похудела, и лицо совсем сделалось итальянское. В разговоре даже имеет итальянскую живость и приятна…»

Юлия немедленно узнала главную злобу дня: историю с женитьбой и разводом ее бывшего любовника. Немедленно были забыты все недоразумения: она кинулась в мастерскую Брюллова, несомая порывом вновь нахлынувшей любви – этой ее необыкновенной любви, в которой к безудержной женской страстности примешивался оттенок бескорыстной, почти мужской дружбы.

Они прильнули друг к другу и долго не могли разомкнуть объятий, почти с изумлением осознавая свою небывалую, другим непонятную близость. Наконец смогли вновь взглянуть друг на друга.

Юлия была ослепительна.

Карл был удручен, несчастен… но уже с кистью в руке.

— Жена моя – художество! – усмехнулся Брюллов, избегая объяснений.

Да эти объяснения и не были нужны. Потому что Юлия, эта страстная вакханка, немедленно принялась врачевать уязвленное мужское самолюбие друга самым доступным и самым приятным способом. И делала это так хорошо, что впервые в голосе раздавленного унижением Бришки появились те снисходительные торжествующие нотки, которые были ей так хорошо знакомы по Италии. Ну да, помнится, они лежали на алом бархатном покрывале на помосте в его мастерской, сплетаясь телами и мыслями, и Карл *свысока п*оучал ее, открывая тайны своего мастерства… разумеется, мастерства художника, другим тайнам ее учить не нужно было. Она и сама могла кого хочешь научить!

Убедившись, что Брюллову полегчало, Юлия снова поселилась в своей Графской Славянке. Дом для нее перестроил брат Брюллова Александр, сделав из него истинный шедевр архитектуры. Графиня давала балы, собирала к себе весь цвет петербургского бомонда, и вечера в ее обществе были так прекрасны, что, говорят, даже Царское Село опустело: свет предпочитал проводить время у графини, чем у императора с императрицею.

Ходили слухи, будто Николай Павлович предложил графине продать ему Графскую Славянку. Юлия-де усмехнулась:

— Скажите государю, что ездили не в Славянку, а к графине Самойловой. И где бы она ни была, будут продолжать к ней ездить.

Оставив Славянку, графиня отправилась в прекрасный вечер на Елагин остров и доехала до той стрелки, где в то время пел

только соловей и вторила ему унылая песнь рыбака со взморья.

Став на эту стрелку, Юлия сказала:

— Вот сюда будут приезжать к графине Самойловой.

И в самом деле – до нашего времени дошли такие сведения – уже со следующего дня в дикий уголок Елагинского острова начали приезжать поклонники графини. В каких-нибудь две-три недели Елагинская стрелка стала местом собраний для всего аристократического и элегантного общества Петербурга.

Юлия продала Славянку богачу Воронцову-Дашкову, а у того вскоре перекупил имение император, назвав его на свой лад – Царская Славянка.

На память о жизни Юлии в Славянке художник Петр Басин, приятель Брюллова, изобразил ее в парадной зале любимого имения. Портрет получился сдержанным – просто отчет о внешности графини: была-де на свете вот такая красавица, одна из многих…

Карл Брюллов тоже начал портрет Юлии, своим любящим, а значит, вещим сердцем предугадав, что это будет ее последнее посещение России. Именно поэтому картина получила странное длинное название: «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, рожденной графини Пален, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини».

Между Юлием и обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса – алого… опять алого! – словно отрезав от нее общество. Она сорвала маску и предстает перед зрителем во всем откровенном блеске своей красоты, а за ее спиной колышутся смутные очертания маскарадных фигур. К этим невыразительным фигурам вернуться уже не захочется.

Так оно и вышло. В России ее больше ничто не держало. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу… навсегда!

Только уехала она не одна: увезла с собой «Бришку драгоценного», которого скрутила неожиданная болезнь. Скрутила в самом прямом смысле: руки сводило судорогой, он не мог повернуть шею – сказалось нервное перенапряжение. Да и сквозняки, которые терзали его на лесах под куполом Исаакиевского собора, будут еще долго напоминать о себе.

Солнце Италии, любовь Юлии на какое-то время вернули ему бодрость. Но ненадолго.

— Я жил так, чтобы прожить на свете только сорок лет, – говорил художник. – Вместо сорока я прожил пятьдесят, следовательно, украл у вечности десять лет и не имею права

жаловаться на судьбу. Мою жизнь можно уподобить свече, которую жгли с двух концов и посередине держали калеными клещами.

Страсть тоже была пережжена, как и жизнь. Это только говорится, что женщины стареют раньше! Карл Брюллов был старше Юлии всего на шесть лет, но он уже казался рядом с ней стариком, одержимым только своими хворями. И в конце концов Юлия пожала своими мраморными плечами – и удалилась с бала этой страсти, подобно тому, как она удалилась с бала у персидского посланника на картине Брюллова.

А он то уезжал на Мадейру, то возвращался в Петербург, то снова отбывал в Италию…

Прошло девять лет.

Двадцать третьего июня 1852 года Карл Брюллов, в очередной раз приехавший в Италию для лечения застарелого ревматизма сердца и поселившийся в селении Манциано, в семье своего преданного друга А. Титтони, внезапно скончался после тяжелого приступа. Незадолго до этого он написал картину «Ночь над Римом». Закончив ее, с закрытыми глазами ткнул кистью в полотно и велел похоронить его в этом месте. Оказалось, что он указал на кладбище Монте Тестаччо. Там его и погребли – точно в указанном месте.

Юлия всегда гордилась любовью, связывавшей ее и одного «из величайших когда-либо существовавших гениев», человека, которого она «так любила и которым так восхищалась». Однако для нее, столь алчной до жизни, до страсти, до любви, до смеха и новых впечатлений, невыносимо было долго предаваться печали. Лучшим средством утешиться была новая любовь… И она не замедлила явиться!

Удивительно: образ страдающего, изможденного Брюллова произвел на Юлию, похоже, очень сильное впечатление, потому что она обратила свое благосклонное внимание не на воплощение силы и здоровья, как следовало бы ожидать, а на изможденное лицо, лихорадочно блестящие глаза, болезненный румянец молодого тенора-дебютанта Пери. Такое случается иногда со зрелыми красавицами. То ли неутоленный материнский инстинкт дает о себе знать, то ли ищет выхода переизбыток жизненных сил, которыми непременно нужно поделиться с другим, более слабым существом. То ли хочется оправдать свое слишком уж праздное существование, придать ему новый смысл тем, что ты, может быть, своей страстью вернешь к жизни обреченного…

Но если это не удалось с Брюлловым, почему должно было получиться с Джованни Пери?

Господи, какие только слухи не ходили об этой связи! Якобы

графиня Юлия просто-напросто похитила бедного мальчика из театра после спектакля, во время которого его красота пронзила ей сердце. Будто бы слуги графини схватили его у артистического подъезда и втолкнули в карету. Не успел Джованни и слова сказать, как эччеленца[22] запечатала ему рот поцелуем… Что было дальше, можно догадаться.

Без труда.

Говорили также, что Джованни от бурной страсти так ослабел, что графиня на руках носит его из постели к столу и переносит обратно в постель. В конце концов стали болтать, якобы он вообще не покидает постели, однако любовница продолжает им наслаждаться…

Да мало ли что говорят о красавицах, которые уязвляют убогое воображение людей самим фактом своего существования!

Кстати, Юлия вовсе не была любовницей Пери. Да и вообще графиня Юлия Самойлова уже не существовала на свете. Зато появилась просто-напросто синьора Джулия Пери: ведь немедленно после достопамятного похищения из театра влюбленная красавица потащила свою драгоценную добычу под венец. Разумеется, венчались по католическому обряду – Юлия сменила веру. Строго говоря, менять ей было особенно нечего, ибо она была совершенно античная женщина, а никакая не христианка. Так или иначе, выйдя за иностранца, сменив веру, Юлия лишилась права на русский титул и на все свои богатства, оставшиеся в России.

Впрочем, в Италии из ее состояния тоже оставалось еще немало. Другое дело, что, привыкнув жить широко, очень широко, синьора Пери уже не могла остановиться или хотя бы несколько поумерить траты. Когда денег стало не хватать, она продавала то одно, то другое… Последние дни Джованни были украшены великой любовью – последней, кажется, которая только могла вспыхнуть в сердце этой необыкновенной женщины – и выжечь его дотла.

Счастье ее не длилось и года. Похоронив мужа, синьора Пери носила траур, который ей необыкновенно шел, и разбивала теперь сердца именно тем, что солнце ее красоты было затянуто тучами.

Кстати, спустя год после кончины Джованни Пери умер в Петербурге и «красавец Алкивиад», Николай Самойлов…

«О господи, – с ужасом думала Юлия, – да что же это делается на свете?! Умерли Бришка, и Джованни, и Ники… А сколько еще друзей отправились в туманные дали на том берегу Ахеронта?! Какая тоска… этак ведь и я когда-нибудь последую за ними?!»

Другое дело, что слишком сильной натурой обладала Юлия – она просто *физиологически не* была способна предаваться греху уныния. Она вернулась к жизни и задумалась об ее удобствах, которых теперь, лишившись титула, была лишена.

Самым простым способом вернуть титул было – выйти замуж. Однако места для любви в ее сердце уже не оставалось, поэтому Юлия решила выйти замуж по расчету. На какое-то время ее внимание привлек французский дипломат граф Шарль де Морне. Юлия отправилась с ним под венец, и… одной ночи хватило, чтобы понять: она слишком брезглива, чтобы продолжать быть вакханкой рядом с этим извращенцем. Она потребовала развода, ну а граф де Морне потребовал отступного. В астрономической сумме! Иначе грозил не дать развода. Или дать, но при этом лишить жену столь желанного титула.

Юлия попыталась сторговаться с Морне. Сговорились, что ему будет выплачиваться ежегодно сумма, которая, как графиня Самойлова (так она стала зваться после развода, ну и на том спасибо!) вскоре поняла, оказалась для нее непосильной, разорительной…

Разорение, увы, вскоре и наступило. Так что жизнь свою графиня Юлия заканчивала в Париже, лишенная всех своих баснословных богатств. О нет, она не нищенствовала! Однако того, кто привык сорить деньгами, необходимость считать их способна свести с ума.

Кроме того, ее изрядно донимали тяжбы с родственниками. Да еще добро бы с какими-нибудь обиженными ею! Нет, безумно огорчала Юлию именно горячо любимая малютка Амацилия Паччини, некогда изображенная со своей прелестной сестрой Джованиной на картине Брюллова «Всадница», а потом сопутствовавшая Юлии на двух ее знаменитых брюлловских же портретах. Разумеется, Амацилию теперь никто бы не назвал малюткой. Она пережила два неудачных замужества и собиралась с горя в монастырь, однако никак не могла отряхнуть со стоп своих прах земных пакостей – и затеяла со своей приемной матерью тяжбу из-за какого-то дома, который принадлежал Амацилии наравне с Джованиной не то по праву наследования, не то по договору удочерения. Это была весьма запутанная, долгая и скандальная тяжба. Чем она закончилась, неведомо. Такое ощущение, что никто ничего не получил, потому что Амацилия ушла-таки в монастырь, а графиня Юлия покинула Италию, чтобы в возрасте шестидесяти четырех лет (14 марта 1875 года) скончаться в Париже, под бледным по сравнению с итальянским французским солнцем, и быть похороненной на кладбище Пер-Лашез в одном склепе со своим любимым мужем Джованни Пери.

Воистину любимым, если она перевезла его прах во Францию!

Да… Но все же Юлия всю жизнь свято хранила память о другой любви – не столь трагичной, буйной, молодой, сияющей, рожденной богами – покровителями искусства. Она не продавала картин Брюллова в самые тяжелые минуты жизни (их судьбой после смерти графини распорядились ее дальние родственники). Ведь эти картины были написаны ими совместно: кистью Карла Брюллова – и полуденной красотой Юлии Самойловой.

Картины эти остались жить, чтобы порождать у зрителей вечное сомнение: может быть, эти двое встретились лишь для того, чтобы красота Юлии была запечатлена в веках? Может быть, не она была музой Брюллова, а Брюллов – орудием влюбленной в Юлию вечности?..

Так или иначе, они будут вместе всегда, навеки, нераздельно.

Амазонки и вечный покой (Исаак Левитан – Софья Кувшинникова)

Maman противная, противная! Она похожа на цыганку! У нее коричневые веки, а губы красные, будто красный перец! И она старая, старая! Она старая, а я молодая! Ты не можешь любить ее! Ты должен любить меня! Посмотри!

Девушка рванула ворот своей ситцевой блузы, и он увидел нежную шею, тонкие ключицы, увидел ее маленькую грудь, едва прикрытую батистовой рубашечкой. Рубашку стягивала на груди узкая шелковая лента, завязанная смешным неровным бантиком, и вот худые пальцы нервно, заплетаясь, принялись распутывать бантик, раздвигать края рубашечки, обнажая грудь.

— Смотри, смотри, – твердила она, словно в забытьи, – смотри на меня! А у нее вот здесь морщины, ты знаешь? Я сама видела! И на лбу у нее морщины, и вокруг глаз… Она старая, старая! Ты не можешь ее любить! Ты должен любить меня!

Ясные глаза наполнились слезами, нежные губы искривились от боли. Девушка вцепилась в руки художника, прижала их к своей груди, двигала плечами, и нежное тело переливалось и билось в его ладонях, словно молодая березовая ветка под ветром.

Он опьянел. Смотрел на голубую жилку, бьющуюся на шее, чувствовал, как наливаются возбуждением маленькие груди, видел, как влажно блестят зубы меж неумелых губ, которые все шептали, выдыхали, исторгали бессвязные слова… Он пьянел от ее запаха, напоминавшего тонкий аромат подснежника на тенистом пригорке. Он слушал ее прерывающийся голос и смотрел в потерянные голубые глаза, но видел другое.

Другую!

У той, другой, были темно-русые, разметанные по подушке волосы, припухший, нацелованный рот, гладкие плечи и сильные руки, которые вцеплялись в его плечи и прижимали к себе так, что он не мог оторваться. Да он и не хотел. У него мысли мутились от вкуса ее кожи, от горьковатого, женского, дымного запаха ее тела, он бился в тисках ее сильных ног, впивался губами и зубами во вздыбленные груди, на которых не было никаких морщинок, а если даже и были, он не видел их. Да, не видел, и это он-то, с его острыми глазами, способными различить в одном

белом цвете десятка два тончайших переливов, полутонов, оттенков… Он не видел ничего, что могло бы нанести ущерб ее красоте, которая сводила его с ума и которая принадлежала ему, только ему!

Что-то душило его. Он очнулся от пьянящих мыслей и обнаружил на своей шее тонкие сомкнувшиеся руки. Сухие губы были близко-близко и шептали ему:

— Ты должен бежать со мной! Ты должен…

«Почему она говорит мне «ты»? – подумал художник, вдруг озлясь. – Она девчонка, она мне в дочери годится! И почему я ей что-то должен, этой девчонке?!»

Он сорвал с шеи ненужные ему руки, стиснул слабые запястья:

— Варенька, угомонись. Ну что ты такое говоришь, сама рассуди… Куда мы побежим, с какой радости? Что ты такое о нас возомнила? Ведь твоя матушка… Анна Николаевна, она… и я…

Он начал заикаться, осекся. Но ей не нужно было слов, она и без слов все понимала.

— А, так ты ее любишь? – крикнула Варенька, отскакивая, ударяясь спиной о березу и едва не падая. – Ее, а не меня? Эту старуху?! – Глаза помутнели и безумно расширились. – Тогда я утоплюсь! Утоплюсь и оставлю письмо, что ты, что ты меня…

Она запуталась в угрозах, но художнику уже ясно стало все. И он поверил ее угрозам, поверил в одно мгновение! Он уже успел немножко узнать этот яростный пламень первой любви, смешанной с дикой ревностью к собственной матери. Он представил записку, написанную угловатым почерком, и там – свое имя, окруженное бредом мстительного вымысла. Он увидел темно-серые глаза той, которую любил и которая любила его, увидел страх и отвращение в этих глазах, только что прочитавших, как любимый ею мужчина обесчестил ее дочь. И еще он увидел другую ее дочь, младшую, которую звали так смешно – Люлю – и которая обожала Вареньку и маму, и его обожала, заезжего гостя, знаменитого художника. Он увидел, как она рыдает на могиле сестры, как пытается утереть слезы матери… О господи… Будто наяву, он услышал, как Люлю проклинает этого чужого, ненужного чернобородого человека, который разломал их жизнь, искалечил… Сюжет грядущего кошмара вырисовался в его уме с такой невероятной быстротой и отчетливостью, с какими никогда не рисовались ему сюжеты будущих картин, которые он не просто писал с натуры, а всегда сочинял, подобно тому как его друг Антон Чехов сочинял свои то прелестные, то уродливые рассказы…

О господи, да что же он накуролесил в это лето в Горке, у

Турчаниновых? Будет ли конец этому проклятию? Как же теперь жить?

Жить представлялось невозможным, да и не хотелось. Он неловко схватил с земли свое короткоствольное ружье, с которым возвращался с охоты, вырвал из патронташа патрон, сунул в ствол, как-то извернулся, прижал ствол к голове и, пока его не перехватила Люлю с письмом Вареньки, спустил курок, уповая, что заряд непременно разнесет ему голову. Только бы избавиться от всего этого кошмара, который обрушился на него… Нет, который он сам себе создал, несчастный ловелас, любимец женщин, художник Исаак Левитан!

* * *

«Ради бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы и сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом…»

Письмо было отчаянным до такой степени, что первым побуждением Чехова было – сорваться с места и, бросив все на свете, бросив работу, мчаться из Петербурга в Горку. Однако потом он одумался и только плечами пожал: Исаак, очевидно, рухнул в обычную свою меланхолию. Всем друзьям Левитана было известно, что этот человек совершенно не способен быть счастливым. Грех уныния, который причисляется к семи смертным грехам, – его любимый грех! С другой стороны, он все-таки не христианин, и эта утонченная меланхолия – наверное, необходимая часть его иудейской натуры. Тем более что этот иудей – художник… Самого Чехова ведь тоже не назовешь оптимистом до мозга костей. Но его спасает ирония, без которой он не может жить, а у Исаака нет иного спасения от печалей, кроме искусства и – красавиц, которые липнут к нему, как осы к варенью. Наверное, какая-нибудь провинциальная Клеопатра донимает его внезапно вспыхнувшими чувствами.

Нет, ехать не стоит. Перед поездкой в Горку Левитан заезжал в Петербург, они вдоволь наговорились, среди прочего обсудив этот новый пассаж в жизни Левитана – расставание с «женщиной его жизни» Софьей Кувшинниковой и внезапно вспыхнувшую страсть к новому предмету – Анне Турчаниновой, хозяйке Горки. Опять пережевывать успехи Левитана у женщин? Чехов, сам красавец мужчина, отнюдь не обделенный вниманием нежного пола, втихомолку завидовал другу – еще с тех пор, как в

обворожительного иудея ненадолго влюбилась прелестная Лика Мизинова…

Нет, ехать не стоит.

Антон Павлович успокоился и вернулся к работе, даже не затруднив себя ответом. Однако спустя неделю из Горки пришло новое письмо – на сей раз от Анны Турчаниновой. Ну, от той самой, нового предмета внезапной левитановской страсти.

«Обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, что Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один ВЫ можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного!..»

Антон Павлович только головой покачал. Что за комиссия, создатель! Да если бы кто-то сказал еще три года назад, что в минуту крайнего отчаяния Левитан бросится за помощью к нему, Чехову… Между ними ведь тогда дело чуть до дуэли не дошло, на самом краешке все удержалось. И, конечно, дуэль должна была состояться из-за женщины. Теперь, можно не сомневаться, «сильнейшая меланхолия» тоже вызвана «дамским фактором».

О господи, да всю жизнь, что они знакомы, Чехов непременно оказывается свидетелем какого-нибудь «дамского фактора» в жизни своего друга. Причем первой была родная сестра Антона Павловича, Маша! Этот прелестный роман развивался на глазах Чехова и доставил ему немало и веселых, и тревожных минут.

Брат Николай познакомил Антона с Левитаном, и дружба обрушилась на обоих, как весенняя неудержимая гроза. Дружба поистине братская. Чехов знал, что Левитан в тяжелых отношениях с братом Адольфом, который был недурным иллюстратором, однако страшно ревновал младшего брата к славе и завидовал ему. А дружба с Антоном была совершенно свободна от зависти и соперничества, они искренне восхищались достижениями друг друга.

Почему-то Левитан немедленно начал звать Чехова «крокодил», и Антон понимал, что дорог новому другу именно тем, что заставляет его забывать о меланхолии, которая была основой его натуры. Как доктору ему было ясно, что это – следствие еще в детстве перенесенного заболевания, тяжкой

жизни в унылой еврейской семье, нищеты, неверия в себя. А ведь художник талантливейший! Но что за вечная тяга к печали и даже к смерти? То стреляться ему, то вешаться (причем Левитан не болтал, а в самом деле предпринимал такие попытки), то срываться с места и ехать куда-то на Кавказ, да не на воды, а куда-нибудь в горы, где еще пошаливают абреки… Пришлось Чехову чуть не силком переселить соседа из Максимовки в Бабкино, где он гостил у своих друзей Киселевых. Здесь-то Левитан и познакомился с Машей Чеховой, уже тогда, в юности, прозванной за разумность и серьезность Ма-Па, сокращенно от Марья Павловна.

Насмешник Антон немедля сочинил про художника и его страсть к работе превеселый стишок:

А вот и флигель Левитана,
Художник милый здесь живет,
Встает он очень-очень рано
И тотчас чай китайский пьет.
Позвав к себе собаку Весту,
Дает ей крынку молока.
И тут же, не вставая с места,
Этюд он трогает слегка.

Однако Маша стыдила брата за насмешки. Она была в восторге, что рядом живет самый настоящий, «ручной» художник, и бегала за Левитаном ну прямо как собака Веста! У Маши всегда были способности к живописи, а тут она начала серьезно рисовать. И когда шел на этюды Левитан, следом спешила и она. Зато, когда Маша отправлялась порыбачить (она обожала постоять с удочкой на берегу Истры), Левитан, смиряя нетерпеливый свой нрав, тоже застывал на берегу, глядя, впрочем, не столько на сонный поплавок, сколько на прелестное лицо, скрытое в тени большой панамы.

Вот странно – почему-то Левитан не написал тогда ни одного ее портрета. Антона – да, сколько угодно и рисовал, и писал. Говорил, что любит его лицо. Может быть, ехидно думал Антон, Левитан ищет в его чертах сходство с Машей?

Ему было интересно, чем это кончится.

Ну, чем-чем? Известно чем!

Шла как-то раз Маша из Бабкина к лесу, а оттуда возвращается Левитан, по обыкновению, в своей бархатной рабочей куртке с открытым воротом. Эта куртка шла ему

необыкновенно и делала просто-таки персонажем Веласкеса.

— Почему, – говорит он, – дорогая Ма-Па, вы нынче не были со мною на этюдах?

— Потому, дорогой Левитан, – отвечает Маша (его все звали только по фамилии, потому что его старообразное, скучное имя Исаак совершенно не шло к очень красивому, более того – интересному матово-бледному лицу, слегка вьющимся темным волосам, высокому лбу, бархатным глазам и остроконечной бородке), – потому, что наша дорогая хозяйка Марья Владимировна просила меня помочь ей очистить вишни для пирога, который она намерена испечь нынче к обеду. – И она показала пальцы, потемневшие от вишневого сока.

— И вы предпочли какие-то вишни мне? – спросил Левитан. Вроде бы шутливо спросил, однако Маше почудилось что-то неладное в его голосе.

— Предпочла, – усмехнулась она.

А в следующую минуту случилось нечто удивительное. Левитан бухнулся перед ней на колени и закричал:

— Да как вы могли?! Ведь я люблю вас!

На его прекрасных черных глазах даже слезы выступили.

Машенька не сразу поверила, что какие-то несчастные вишни могли вызвать такую бурю чувств. Уставилась на пылкого поклонника. А тот не унимался: все стоял на коленях, ломал руки и восклицал:

— Я вас люблю! Выходите за меня замуж!

Маша слушала-слушала, смотрела-смотрела, а потом вдруг так засмущалась, что закрыла лицо руками. И в ту же секунду очутилась в его объятиях. Как только он успел с колен так быстро вскочить?

Ее перепачканные вишневым соком пальцы, закрывавшие лицо, вмиг были осыпаны множеством поцелуев.

— Милая Маша, каждая точка на твоем лице мне дорога! – пылко воскликнул Левитан.

Маше стало смешно до невозможности. Что называется – художник! «Каждая точка дорога»… Даже в любви объясняется с точки зрения пуантилизма![23]

Маша поняла, что сейчас не выдержит и расхохочется. Нет, нельзя так унизить влюбленного! Оттолкнула его, повернулась – и кинулась наутек, от души надеясь, что Левитан примет ее побег за проявление девичьего смущения.

Нет, скрывать нечего – это самое смущение тоже имело место быть. И через несколько минут, забившись в заросли, Маша уже рыдала – от испуга, от счастья, от совершенного незнания, как теперь быть и что делать.

Потом она прокралась в свою комнату, снова плакала в подушку, девичью подружку, и к обеду не вышла, хотя там был знаменитый пирог (и очень вкусный, конечно!). Но там был и Левитан, а видеть его Маше отчего-то было страшно и стыдно.

Антон удивился, что сестры за обедом нет, а Левитан нервен и как бы не в себе.

— Ма-Па в грустях, – сказал брат Михаил не без ехидства, кося на Левитана и подмигивая Антону. – Рыдает, слезы из-под двери текут!

— Ну, надобно поглядеть, пока потопа не случилось, – усмехнулся Антон и отправился к сестре, не обращая ни малейшего внимания на испуганные глаза Левитана.

— Чего ты ревешь? – спросил Антон, присев на постель к плачущей сестре.

Кое-как добился ответа, кое-как разобрал смысл его среди всхлипываний и вздохов.

— Ну а ревешь-то чего?! – снова спросил Антон.

— Да как же? – удивилась Маша. – Мне теперь Левитану нужно ответ давать, а я не знаю, что сказать.

— Ты его любишь, что ли? – удивился Антон.

Она ничего не ответила, лежала, вздрагивая плечами.

— Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж. Но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.

В ту же секунду он пожалел, что был резок. Но что поделать, если он видел Левитана насквозь? Этот красивый человек слаб, он обречен вечно оставаться мальчишкой, которому нужна более сильная подруга, покровительница, наставница…

Машины плечи перестали дрожать.

Брат подумал, что его откровение поразило сестру до остолбенения, жалеючи вздохнул и вышел. Однако на самом деле Маша не страдала, а размышляла: что это за штука такая – женщина бальзаковского возраста?! Бальзака она почти не читала, к стыду своему, разве только довольно унылый роман «Евгения Гранде», однако там ни о каком таком возрасте и речи не было…

И все же Маша поняла: брат пытается ее предостеречь. И вняла этому предостережению – просто ни о чем не говорила с Левитаном, отвечать ему не стала. Неделю он ходил по Бабкину мрачной тенью, а потом… а потом буря чувств как-то сама собой сошла на нет, и они с Машей остались только хорошими друзьями на всю жизнь. Отношения теперь между ними были сугубо братско-сестринские.

Однако Чехов довольно скоро получил подтверждение своей

мысли о том, что Левитана привлекло к Маше только мимолетное восхищение ее нежной красотой и чувство более дружеское, чем страстное. На самом деле его всегда будет тянуть к женщинам поистине роковым, не просто более сильным нравом, чем он, но и самобытным, ярким, которые являются не тенью своего мужчины, а зеркалом, в котором он увидит отражение себя – достойное себя отражение!

Именно такой женщиной стала для Левитана Софья Кувшинникова. Ее салон был известен в Москве, однако познакомился с ней Левитан вдали от шума городского. Он был тогда на пленэре (это французское словечко вошло у художников в необычайную моду) – на даче у приятеля. За столом заговорили о том, что поблизости стоит какой-то эскадрон и там можно взять лошадь покататься.

— Не хочешь ли? – спросил приятель.

Левитан, который от любого спорта был далек, хоть и мог неутомимо ходить пешком сколь угодно долго и был страстным охотником, только отмахнулся в шутливом ужасе. Однако ему захотелось написать этюд с лошадьми на лугу в утренней росе, и вот ни свет ни заря он ушел с дачи и заспешил туда, где раскинуты были светло-серые военные палатки.

Чтобы дойти до них, предстояло пересечь луг. И вдруг раздался топот копыт, а вслед за тем прямо на него вылетел медово-рыжий скакун, а на нем – всадница.

Ох, и странная же это была амазонка! Никакого суконного, наглухо застегнутого платья с длинным шлейфом. Прямо на голое тело надет полупрозрачный капот, и сквозь тонкую ткань просвечивала смуглая, как у мулатки, кожа. Полы одеяния разлетелись, обнажив босые ноги, темно-рыжие волосы летели по ветру. У нее была фигура Афродиты, посадка Артемиды, бесстрашие Ипполиты, царицы амазонок…

Подскакала она к остолбеневшему Левитану, глянула сверху вниз – и исчезла вместе со своим прекрасным конем. Художнику какое-то время казалось потрясающим даже не то, что он видел, а то, что в мире ничего не изменилось после ее исчезновения. Вот уж воистину был удар молнии… нет, солнечный удар!

Работать Левитан в то утро уже не смог. Установил мольберт, начал наносить краски на палитру, но вдруг все уронил, а загрунтованный холст ни с того ни с сего опрокинулся в мокрую траву, кисть вообще провалилась в какой-то бочажок… И побрел он домой.

Хозяин дачи, его приятель, удивился:

— Что с тобой, Левитан? У тебя все лицо перекореженное!

Левитан рассказал, что видел. Рассказал, путаясь в словах, стыдясь дрожи своего голоса.

Приятель конфузливо усмехнулся:

— А, ну да… Есть тут одна такая… передовая дама. Не ты один от нее ошалел. Любовник ее – в том эскадроне служит, он ей коня и дает. Утром приводит его, а потом сидит и ждет дома, пока его безумная подруга наездится вволю. Ну а плату берет… о-охо-охо, грехи наши! – Приятель подмигнул.

— Замужем ли она? – отрывисто спросил Левитан.

— Да, замужем. И муж ее – человек чудеснейший, благороднейший! Мой добрый знакомец Дмитрий Павлович Кувшинников. Он полицейский врач. Женушку свою непутевую обожает! Ее зовут Софья Петровна, и я тебе советую от нее держаться подальше. Таких восторженных красавчиков, как ты, она кушает на завтрак по пяти штук зараз, кофеем запивая, понятно? К тому же она на добрый десяток лет старше тебя, так что сильно губу не раскатывай. Это я тебе совершенно по-дружески советую, по-товарищески.

Однако Левитан ни дружескому, ни товарищескому совету не внял, а к вечеру, узнав, где находится дача Кувшинниковых, потащил приятеля туда, чтобы представить его хозяйке. Каков же афронт их ожидал, когда они узнали, что та уехала в город и больше не вернется!

И тогда Левитан, хотя прежде сговаривался с другом, что погостит у него самое малое месяц, а в благодарность за постой напишет для него большую картину, наутро же подался восвояси, пробыв на этом пленэре всего какую-то неделю и оставив на память о своем пребывании лишь пару незначительных этюдов. Он прибыл в Москву, а на другой день уже отыскал людей, которые могли бы ввести его в салон Кувшинниковых.

Найти таких было нетрудно, потому что, чудилось, вся художественная, театральная, литературная Москва была принята в этом доме. Кстати, братья Чеховы не раз навещали Кувшинникову и ее салон, и, может быть, случись Антон Павлович в ту пору в Москве, он сам представил бы друга, а может статься, и остановил бы его… Но, впрочем, вряд ли даже ему удалось бы сделать это. Левитан летел на огонь невероятной привлекательности Софьи Петровны, как мотылек на открытый фитиль керосиновой лампы.

Жили Кувшинниковы неподалеку от Хитрова рынка, и, как это ни странно, его обитатели относились к Дмитрию Павловичу с величайшим уважением. Между прочим, в знаменитой картине «Охотники на привале» в образе охотника-рассказчика Перов изобразил именно его! Он и в самом деле был страстным

охотником и превосходным рассказчиком, но больше всего на свете любил свой ярко освещенный, затейливо убранный дом (а ведь это была всего лишь скромная казенная квартира, находящаяся под каланчой одной из московских пожарных команд, в Малом Трехсвятительском переулке), всегда спешил туда, зная, что там увидит не прокуренную комнату полицейского участка, не зверские рожи хитровцев, а веселые, интеллигентные лица гостей, и прежде всего – умное, милое, любимое лицо своей жены.

Она была солнцем его жизни.

Кстати, не бог весть как красива была Софья Петровна, но превосходно умела подать себя. К ней вполне подходило определение «интересная женщина». Она была, безусловно, оригинальна, талантлива, поэтична и изящна; прекрасно одевалась, умея из каких-нибудь кусочков сшить изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все в квартире Кувшинниковых казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов там были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах же вместо занавесок были развешаны… простые рыбацкие сети.

Даже дамы, существа по большей части несправедливые и завистливые, принуждены были признать: в Софье Петровне имелось много такого, что могло нравиться и увлекать.

Дочь крупного московского чиновника Петра Сафонова, не чуждого литературе и искусству, она выросла в артистической среде, занималась музыкой и живописью, участвовала в любительских спектаклях и именовала себя «жрицей душевного, умственного и художественного». Антон Павлович, правда, называл ее Сафо, и неведомо, следовало это принимать за комплимент или нет. Впрочем, может быть, он просто каламбурил с ее именем.

Софья Петровна была очень известна в Москве, да и в самом деле являлась выдающейся личностью, как принято выражаться. Она блистательно играла на своем беккеровском рояле, легко читала ноты с листа и часто исполняла трио с виолончелистом и скрипачом; писала красками, и очень хорошо, даже выставляла свои работы, главным образом натюрморты и пейзажи. Ее работы экспонировались в 1887–1906 годах почти на всех периодических выставках Московского общества любителей художеств, которое приняло ее в свои члены за картину «Монастырские ворота». Кроме того, Софья Петровна участвовала в выставке Товарищества передвижников в некоторых петербургских выставках. Но самой, пожалуй, высокой оценкой дарования

художницы стало то, что в 1888 году ее картину «Интерьер церкви Петра и Павла в Плесе» приобрел для своей галереи Павел Михайлович Третьяков.

Софья Петровна иногда носила мужской костюм и ходила с ружьем на охоту, а позже ездила с художниками на этюды в качестве полноправного товарища, не обращая внимания на сплетни и пересуды… Словом, она была незаурядная женщина! Это свойство и собирало в ее кружок выдающихся людей. Даже когда Репин приезжал в Москву, он непременно посещал салон Кувшинниковой.

Сама она позднее так описывала свою жизнь: «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми.

Имея мужа, человека на редкость гуманного, великодушного, так же глубоко любящего искусство, как и я, не только не ставившего мне преград для занятий им, но, наоборот, всячески помогавшего в этом отношении, будет понятно, если я скажу, что жизнь моя была почти сплошным праздником…»

И вот в атмосферу этого сплошного праздника попал Левитан.

Он был ошарашен тем, что Софья Петровна мгновенно узнала его. Как ни мимолетен был взгляд, которым они обменялись там, посреди чиста поля, по которому она скакала на своем медово-рыжем коне, его лицо запало ей в память.

— Вид у тебя был уж очень ошарашенный! – объяснит она Левитану потом, когда они перейдут на «ты» и отношения между ними установятся близкие. Самые близкие – ближе просто некуда.

А сначала-то она держалась с ним подчеркнуто скромно. Сообщила, что восхищена его творчеством, что хотела бы учиться у него живописи… На уроки приезжала в его мастерскую, причем и в самом деле оказалась очень прилежной и усердной ученицей. Она совершенно поразительно умела распоряжаться временем. Часы в ее обществе, признавался с изумлением Левитан, как бы удлинялись: за какое-то вовсе уж малое время они успевали и живописью позаниматься, и провести время в постели… вернее, на том убогоньком шатком топчане, который стоял в мастерской Левитана и который они совместными усилиями расшатали еще сильнее, так что художнику частенько-таки приходилось этот несчастный топчан ставить на попа и подбивать его подгибающиеся ножки.

«Левитан закружился в вихре!» – вскоре с неодобрением констатировал Чехов… Хотя чего тут было не одобрять, строго говоря? Пожалуй, он немного ревновал друга, который был

влюблен страстно, ошалело, безудержно – так, как сам Антон Павлович, человек более рассудочный и умственный, чем пылкий и сердечный, не смог полюбить никогда. Правда, эта ревность к Софье Петровне пряталась у Чехова за якобы искреннее сочувствие к Левитану, которого «Сафо», по мнению Антона Павловича, открыто водила за нос. Был у нее знакомец по имени Алексей Степанов, тоже художник, – друг дома, как это называлось. Он был фантастически, рабски влюблен в Софью Петровну, которая держала его на шелковом, но очень прочном поводу. Другое дело, что Степанов на этом поводу ходил очень охотно. Ну что ж, с появлением Левитана у Софьи Петровны стали заняты обе руки. А впрочем, она, эта амазонка, вполне могла бы управлять и древнегреческой квадригой, поводья которой, как известно, распределялись между всеми десятью пальцами.

Вообще-то не Сафо ее следовало прозвать, а Цирцеей! О нет, она не превращала мужчин в скот, но полностью подчиняла их своей воле, делала бессловесными своими рабами, довольными теми крохами, которые Софья им бросала, благословляющими ту руку, которая их била…

Таким рабом был муж Софьи Петровны, Дмитрий Павлович Кувшинников. Таким стал со временем господин Степанов и иже с ними. Однако Левитана участь сия миновала, потому что Софья и сама в него влюбилась. Но это не помешало ей, отправившись с Левитаном летом 1887 года на пленэр, прихватить в собой в компанию и Степанова. Мужчины, впрочем, отлично ладили между собой.

С другой стороны, на творчестве Левитана эта бурная связь отрицательно не сказывалась. Вот уж нет! Сам Антон Павлович писал брату: «Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовский костюм, истощенный вид… Был он два раза на «Аиде», раз на «Русалке», заказал рамы, почти продал этюды…» Короче, дела, как творческие, так и финансовые, шли у художника блестяще!

В ту же пору его жизни артист Донской, тоже завсегдатай салона Кувшинниковой, не раз исполнявший здесь партии из «Лоэнгрина», «Пиковой дамы» или «Паяцев» под аккомпанемент Софьи Петровны, так описывал художника: «И сейчас он стоит передо мной как живой в разгар спора, со сдержанными, но полными внутреннего огня жестами, со сверкающими, удивительными глазами… Его речь в таких случаях била фейерверком, и он засыпал своего противника бесконечными потоками блесток… Откуда что бралось? Неожиданные мысли

выливались в те образные и своеобразные выражения, которыми умеют думать и говорить только художники. В каждом слове чувствовалась сила и уверенность страстного убеждения, добытого долгими, одинокими переживаниями и согретого темпераментом истинного большого художника».

Не стоило, право, Чехову ревновать: Софья прекрасно понимала, что «повод» Левитана должен быть длиннее, свободнее, чем у Степанова. Ей, конечно, льстила перспектива оказаться музой этого, безусловно, великого художника. Печально, что Левитан не слишком-то любил писать портреты (к примеру, такие, какими Брюллов прославил красоту своей музы и возлюбленной графини Самойловой), ну что же, для Софьи Петровны было довольно того, что она постоянно присутствовала при процессе, так сказать, создания его картин. И следует сказать, что немало полотен Левитана было вдохновлено не только красотами русской природы, которую он обожал, но и присутствием его возлюбленной женщины.

Впрочем, ее портрет он тоже написал – зимой 1888 года. Софья Петровна изображена сидящей в кресле, на ней белое атласное платье с розовыми цветами у ворота. Левая рука затянута в желтую перчатку. Лиф платья плотно обтянул тонкую талию, атлас струился мягкими складками до полу. Прелестны ее темные глаза и вьющиеся волосы… Правда, это изображение немножко далековато от образа той буйной амазонки, которая с первого взгляда поразила воображение Левитана, но фигура все же очень хороша!

Каждое лето и каждую осень Софья с Левитаном проводили на этюдах, почти не разлучаясь. Вместе они оказались в Плесе, и какое же множество картин было написано там! «После дождя. Плес», «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плес», «Осень. Мельница», «Пасмурный день на Волге», «Буря-дождь», «Церковь в Плесе», «Уголок в Плесе», «Вечерний звон», «Тихая обитель»… Да все невозможно перечислить! Как принято выражаться, Левитан открыл Плес, а Плес открыл Левитана…

Как-то раз Софье захотелось посмотреть церковную службу в старом храме, который давно стоял на запоре. Его история была окутана легендами: будто бы некогда здесь, у притвора под массивной плитой с кольцами, похоронили трех наложниц Ивана Грозного, сосланных в Плес за строптивость. Говорили о церкви разное. Но давно уже не открывались врата ее алтаря.

Они пошли к старому священнику отцу Якову. Просили долго. Священник опасался, что ветхие стены могут не выдержать. Но потом он поддался-таки уговорам гостей.

Левитан был потрясен службой. Он вообще любил в русской

церковной службе прежде всего театральную красоту обряда.

«Впечатление получилось действительно и сильное, и трогательное, – будет потом вспоминать Софья Петровна. – Отец Яков и какой-то дьячок, тоже старенький, точно бы заплесневевший и обросший мхом, удивительно гармонировали с ветхостью стен и темными, почерневшими ликами образов. Странно звучали удары старого, точно бы охрипшего маленького колокола и глухо отдавались, как будто эхо призрачных молитв. Где-то вверху на карнизах удивленно ворковали голуби. Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости, и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе, а в довершение впечатления в углу вдруг появились три древние старухи, словно сошедшие с картин Нестерова. Их фигуры в черных платках и старинных темных сарафанах странно мелькали в голубоватых волнах ладана. Истово крестились они двуперстным знамением и клали низкие, глубокие поклоны. Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в этой церкви, были когда-то венчаны и очень ее почитали. Левитан был тут же, с нами, и вот, как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставят свечи, и действительно – стал ставить их ко всем образам. И все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство…»

Как-то раз Левитан и Софья в Плесе чуть не погибли. Возвращались на лодке из заволжских лесов, гонимые непогодой. Неожиданно налетел ветер. Это произошло мгновенно – так бывает на Волге. Река стала коричневой, поднялись высокие волны, засверкала молния и озарила церквушку на горе… Лодку бросало, как щепку, заливало волнами. Небо обрушилось ливнем – сильным, бьющим по лицу и плечам.

С трудом добрались они до берега – к счастью, Левитан оказался искусным и сильным гребцом. Идти домой не было сил. Легли под лодкой, прижавшись друг к другу, чувствуя любовь и близость, как никогда раньше… В такие минуты Софья ощущала свою власть над этим мужчиной столь остро и болезненно, что почти плакала над ним, бьющимся в страстных судорогах.

Она и не подозревала, что и впрямь начнет скоро плакать из-за него!

Как-то раз Левитан был на этюдах один и, воротясь, рассказал, что набрел на цыганский табор. Восхищался красотой чеканных лиц, а когда Софья обронила что-то брезгливое, замкнулся в себе и на другой день с собой ее не взял. Вернулся грустный: оказывается, когда захотел нарисовать красивую цыганку, его погнали прочь. Почему-то это намерение оскорбило

бродяг. Однако написать картину табора ему хотелось, очень хотелось! Он заставил Софью навертеть на себя какие-то платки, надеть немыслимые ожерелья… Как всегда, она фантастически быстро соорудила вполне приемлемый «цыганский» наряд, и Левитан начал портрет. А потом неожиданно набросился на Софью с незнаемым прежде, почти животным пылом. И она поняла: другую искал он в ее чертах, в ее теле… да как он смел?! Хотела вырваться, оттолкнуть его, но не смогла. Какое же болезненное наслаждение получила она вдруг от самого сознания своего унижения! Цирцея сама ходила теперь на поводке…

На следующий день Левитан умчался с утра, оставив ее умирать от ревности. Вернулся злой, разочарованный: табор исчез! Софья Петровна мысленно перекрестилась от облегчения, а потом облачилась во вчерашний наряд… И снова все повторилось!

Позже, в Москве, она завела себе настоящие цыганские юбки, и платки, и мониста и научилась даже плечами трясти, как водится в цыганской пляске… Однако отчего-то в городе страсть Левитана к знойным развлечениям миновала, так что острые, пряные воспоминания Софьи Петровны остались всего лишь воспоминаниями. А Левитан после поездок в Плес, после того, как выставил созданные там картины, стал зваться первым живописцем России.

Антон Павлович все-таки не смирился с любовью своего друга к Софье Петровне. Она это знала, чувствовала, конечно, и страшно обижалась. Хоть Левитан и Софья вместе провожали Чехова, когда 21 апреля 1890 года он отбывал на остров Сахалин, Софья Петровна держалась с ним скованно. Левитан был уныл – и от грядущего расставания, и от явной натянутости отношений своего лучшего друга и своей любимой подруги. Атмосферу несколько разрядил Дмитрий Павлович Кувшинников, который примчался перед самым отходом поезда и повесил через плечо Чехову дорожную фляжку в кожаном чехле. В ней был коньяк, который он наказал выпить на берегу Великого океана.

На прощанье Антон Павлович подарил Софье Петровне только что вышедшую «Дуэль» с надписью «От опального, но неизменно преданного автора».

Она ответила сдержанной улыбкой, словно предчувствовала, какую боль спустя некоторое время причинит ей этот «неизменно преданный автор»… Впрочем, до того времени было еще далеко. Да и письма Чехов с пути писал Кувшинниковым и «томному Левитану» самые милые и дружеские. А пока новую рану нанес Софье тот, кого она так безумно любила.

Это случилось все в том же обожаемом Плесе. Как всегда, Левитан снял полдома у купца Грошева, который жил вместе с матерью, угрюмой староверкой. Ее фанатизм мирно уживался с неистовой жадностью, именно поэтому она позволяла сыну сдавать жилье «нехристю». Деньги приходилось платить большие. Но дом и в самом деле был хорош, а потому Левитан не скупился.

На сей раз художников встретили у Грошевых самые серьезные перемены. Купец женился! Новобрачной оказалась воспитанница богатого заводчика из соседнего поселка. Звали ее Анна Александровна. Она была не бог весть как хороша, но мила, немножко образованна и безумно любила читать. Молодая хозяйка с восторгом встретила приезжих.

Софья Петровна мигом вызвала ее на откровенность и скоро узнала, что муж-то достался Анне милый и добрый, сильно в нее влюблен, да только слаб он, а свекровь так и норовит сжить ее со свету: книги для нее – дьявольское наваждение, что Анна ни скажет, как ни ступит – все не так. Мужу лишь бы в молельне лоб отбивать перед иконами, а постель супружеская, полное ощущение, грешное для него место. Ну а ежели когда сладится ночью меж супругами *доброе*, так наутро свекровь щипками сноху изведет, испилит попреками, изожжет ненавидящими взглядами. Словом, как ни боялась Анна прогневить бога, а лучше, казалось ей, в омут, чем за таким мужем жить.

Софья Петровна напишет об этом эпизоде своей жизни так: «Судьбе было угодно впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и, случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайно, по вечерам. И вот, бывало, я брожу с нею в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городком…»

Любопытная штука – мемуары! Особенно мемуары Софьи Кувшинниковой. Они были написаны гораздо позднее смерти Левитана – в то время, когда его уже не с кем было делить, не к кому ревновать. Она не повторила ошибки многих отставных любовниц великих и знаменитых людей, не уподобилась глупеньким дамочкам, которые поливают грязью «коварных изменщиков», заодно выставляя себя мстительными дурами. Напротив, она представила себя в роли все понимающей, всему сочувствующей подруги, наставницы блистательного художника,

который плохо ориентировался в бурном море человеческих отношений, а выплывать ему удавалось, только имея под боком такого дивного лоцмана, как бесценная Софья Петровна.

Разумно. Но, пожалуй, далековато от действительности.

В подгородной же рощице бродили Левитан с Анной. А Софья Петровна и приехавший в Плес ее знакомец и ухажер Савва Морозов (тот самый, будущий знаменитый миллионщик) стерегли их на пригорке, в то же время делая вид, будто амурничают.

То есть Савва Тимофеевич по правде амурничал, поскольку был к Софье весьма неравнодушен. Его, заметим, вообще несказанно влекло к стервозным женщинам, и ярчайшее доказательство тому – его собственный брак, а главное – сгубивший его жизнь роман с агентессой большевиков Марией Андреевой, актрисой труппы Станиславского и «морганатической» супругой Максима Горького[24]. Да, так вот Морозов действительно ухаживал за своей спутницей, Софья же только и делала, что пыталась поймать чутким ухом отголоски бесед Левитана и Анны Александровны.

А эти двое беспрестанно говорили, говорили, поверяя друг другу свои уныния, и в конце концов им стало казаться, будто никто на свете их обоих так не понимает, как они друг друга. Ну, для Анны Александровны внимательный, душевный мужчина – это и впрямь было открытие великое, но, по мнению Софьи, вести себя так Левитану – значило предавать их любовь… Очень скоро ей стало ясно, что Анна Александровна хочет не столько «уйти из семьи», сколько создать новую. С кем, спросите вы? Не так уж трудно догадаться. Хотя, с точки зрения тех допотопных времен, брачный союз староверки и иудея представлялся чем-то вовсе несообразным. Но если он тем не менее забрезжил на горизонте, то сие свидетельствует прежде всего о том, что все на свете относительно, в том числе и религиозно-национально-расовые барьеры. Тем паче когда в дело вмешивается любовь!

Всем существом своим Софья Петровна понимала: у Левитана это мимолетное увлечение! Да, бывало с ним такое – этому вечному юнцу, который больше всего на свете любил прятаться под крылышками взрослых подруг, вдруг хотелось ощутить себя могучим и грозным мужем, который любую беду руками разведет, вскочит на лихого скакуна, посадит впереди себя юную и нежную… Ну и так далее. А ведь он и верхом-то ездить не умел!

Больше всего на свете Софье Петровне теперь хотелось, чтобы муж Анны Александровны пронюхал о ждущем его позоре и посадил бы свою кралю в подвал на цепь. Но тот был слеп и глух, все молился да молился, а матушка его, у которой глаза были

даже на затылке, а нюх получше, чем у борзой, к несчастью, отбыла куда-то в глушь заволжскую, к родне. Таким образом, помешать намеченному бегству Софья Петровна не могла. Отменить затеянное не могла тоже, потому что это означало бы, как говорят японцы, потерять лицо. Гордыню свою, честь и репутацию Софья Петровна лелеяла почище любого самурая, а потому приходилось идти скользким путем до конца, уповая лишь на то, что играть роль благодетеля и спасителя зачарованной красавицы Левитану вскоре надоест.

Между прочим, так в конце концов и случилось. Может быть, потому, что Анна Александровна была вовсе никакая не красавица? Судя по оставшемуся ее портрету работы Левитана (сделан углем, кое-где подцвечен сангиной и называется «Женский портрет»), она обладала невыразительным, хотя и милым личиком, довольно смелыми глазами, но ни в какой мере не вкусом и умением одеваться.

Короче говоря, бегство все же состоялось. Из Плеса уезжали парами: Морозов с Анной Александровной, а Софья – с Левитаном. Добрались до Москвы – и тут пути их разошлись. Морозов дал Анне кое-каких денег и даже попытался пристроить ее к работе на своих фабриках, ну а Левитан начисто забыл о ней, потому что надо было писать с этюдов картины, готовиться к выставке и поездке в Париж и в Рим, где ему было поручено Сергеем Третьяковым (в отличие от брата он собирал только картины западных художников) сделать несколько копий Коро.

Когда Левитан вернулся, Софья Петровна готовилась плечами пожимать в ответ на вопросы о судьбе Анны Грошевой. Однако напрягать мышцы не пришлось: Левитан не спросил о беглянке *ни разу* .

Может быть, кому-то такое положение вещей покажется странным, однако многие друзья художника отлично знали это его свойство: сильно перестрадав некую ситуацию, начисто забыть о ней, сбросить ее в какие-то бездны или завалы памяти. Выкинуть вон из своей жизни и стереть все ее следы в своем сердце.

Нужно было жить дальше, работать – ведь именно работа была самым главным в его жизни! Так что Анна Грошева канула бы в Лету вовсе и навсегда, когда бы не вышедший в 1903 году (уже после смерти Левитана) роман под названием «Развиватели». Написал его писатель по фамилии Северцев-Полилов, чье имя и творчество – совершенно белое пятно для современного читателя.

Бог бы с ним, с никому по-настоящему не известным писателем, однако в его романе рассказывалась история

похищения Анны Грошевой. Выглядела она, вообще говоря, удивительно правдоподобно, несмотря на то, что все действующие лица скрывались под псевдонимами.

Псевдонимы, однако, выглядели более чем прозрачными: Левитан звался Львовским, Кувшинникова – Хрустальниковой, Морозов – Зиминым, Грошевы – Полушкиными… Уже самим этим ироническим названием – «Развиватели» – автор обвинял художников в ложном просветительстве и в том, что они подговорили Грошеву бежать, а потом бросили бедную женщину на произвол судьбы. Но, как теперь принято выражаться, всякие совпадения с действительностью носят случайный характер…

Между тем из своего дальневосточного вояжа вернулся Чехов. Результатом стала географически-патетическая (с уклоном в демократизм) книга «Остров Сахалин», а друзьям – так сказать, «под водочку» – были преподнесены кое-какие путевые впечатления, не вошедшие в основной текст по цензурным соображениям. Но если кто-то думает, что они имеют отношение к положению бедных зэков в царских застенках или каторгах, то он ошибается.

Отчего-то настроения среди друзей Антона Павловича после таких его откровений начинали царить самые фривольные, а потому никого не удивило, что однажды в теплый майский день Левитан взял да и отправился на дачу «Затишье», куда наезжала к своему дяде Панафидину милая и легкомысленная красавица Лика Мизинова – предмет недолгой и не слишком-то пылкой любви Антона Павловича. Любви, которой исследователи творчества Чехова придают, пожалуй, слишком уж глобальное значение. По-нынешнему говоря, эти двое переспали да и разошлись, но поскольку Чехов жил по принципу «nulla dies sine linea»[25], хоть это выражение более пристало художнику, ибо художником и употреблено, он продолжал состоять с Ликой в оживленной переписке, а потому был в курсе того, как и с кем она теперь проводила время. Одновременно переписывался он и с Левитаном, и читать эти письма не только весело, но и досадно… за Софью Петровну – из-за маленького летнего романчика ее ненаглядного и обворожительного возлюбленного.

Ну что ж, надо было думать, с кем связываешься. Художники – они ведь все такие!

Чехов писал из Богимова, где поселилось их семейство: «Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбку, гулять и реветь. Ах, прекрасная Лика!

Когда Вы с ревом орошали мое правое плечо слезами (пятна я

вывел бензином) и когда ломоть за ломтем ели наш хлеб и говядину, мы жадно пожирали глазами Ваше лицо и затылок. Ах, Лика, Лика, адская красавица! Когда Вы будете гулять с кем-нибудь или будете сидеть в обществе и с Вами случится то, о чем мы говорили, то не предавайтесь отчаянию, а приезжайте к нам, и мы со всего размаха бросимся Вам в объятия. Подпись – Вам известный друг Гунияди-Янос».

«Гунияди-Янос» – вид слабительной воды. Страсть Чехова к Лике в этом письме ну очень, очень сильна… Или все же слаба?

Левитан сообщал Чехову: «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею – божественной Ликой! Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня – волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе это читать, но из любви к правде я не мог это скрыть. Поселились мы в Тверской губернии вблизи усадьбы Панафидина, дяди Лики».

Да, уехать-то Левитан уехал один, но когда Софья Петровна прослышала, что Лика собралась к дядюшке, она немедленно ринулась туда же, в Затишье.

Лика докладывала Чехову: «У нас тоже великолепный сад и все… да, кроме того, еще и Левитан, на которого, впрочем, мне приходится только облизываться, так как ко мне близко подойти он не смеет, а вдвоем нас ни на минуту не оставляют. Софья Петровна очень милая. Она, по-видимому, вполне уверилась, что для нее я не могу быть опасной, и поэтому сердится, когда я день или два не бываю в Затишье. От себя они оба меня провожают домой».

Вопрос такой: если Кувшинникова уверилась, что Лика ей не соперница, то почему же так тщательно следила за Левитаном и не оставляла Лику с ним ни на минуту вдвоем? Лика принимала желаемое за действительное: Софья ей ни на грош не верила!

Единственным светлым пятном того лета была музыка. То Софья Петровна играла в зале, пытаясь успокоить, угомонить свою ревность к ослепительной (и впрямь ослепительной!) и распутной (ничуть не менее, чем была распутна сама она) Лике. То пела Наталия Баллас, родственница Панафидиных, окончившая консерваторию в Вене.

У нее был низкий, сочный голос, и она великолепно подражала крику сов. По вечерам Наташа иногда появлялась перед террасой с длинными распущенными волосами, молитвенно складывала руки и начинала… кричать по-совиному. Птицы слетались к дому.

Левитан был в восторге, особенно в яркие лунные ночи. Вся сцена выглядела еще более таинственной и даже зловещей…

Часы работы для него были, конечно, священны, а порою, когда уж невмоготу становилось от напряжения, которое он сам же содеял между двумя женщинами, он усаживал их близко-близко, словно подружек, и начинал читать вслух. Рассказы Чехова! В частности, «Счастье».

Левитан – Чехову: «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике; обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь. Вот где настоящая добродетель».

Между тем Лике надоело быть хорошей. Она жутко хотела соблазнить Левитана, но мешала Софья Петровна. Лика начала дергаться по пустякам.

Лика – Чехову: «Ваши письма, Антон Павлович, возмутительны, Вы напишете целый лист, а там скажется всего только три слова, да к тому же глупейших. С каким бы удовольствием я бы Вам дала подзатыльник за такие письма…»

Чехов – Лике:

«Очаровательная, изумительная Лика!

Увлекшись черкесом Левитаном, Вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану обещание приехать к нам 1 июня, и совсем не отвечаете на письма сестры. Хоть Вы и приняты в высшем свете, но все-таки Вы дурно воспитаны, и я не жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной говядины, которое покупаем у соседских кухарок… Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его стороны не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья. Будьте здоровы и счастливы и не забывайте нас».

Далее следует рисунок – сердце, пронзенное стрелой, и пара слов – «это моя подпись». В этом письме есть еще приписка: «Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражениями, как «черт задави», «черт подери», «подзатыльник», «сволочь», «обожралась» и т. п. Почерк у Вас по-прежнему великолепный».

Существовали – да, это правда! – действительно существовали у «фильдекосовой Лики» проблемы с тем, что называют культурой. Порой она была просто вульгарна сверх меры, и общение с ней в конце концов до такой степени доняло Софью Петровну, у которой при всем ее буйстве утонченности не

отнимешь, что она предпочла уехать в Москву, решив, что лучше умереть от скуки и ревности, чем от ревности и раздражения.

Однако Левитан вскоре последовал за ней. Лика осталась ни с чем, и это почему-то страшно раздосадовало Чехова. Почему? Уж не подсовывал ли он, грубо говоря, бывшую подружку лучшему другу, чтобы, во-первых, отвлечь того от Софьи Петровны, к чьему влиянию Антон Павлович никогда не переставал ревновать, а во-вторых, самому избавиться от довольно докучливой Лики, которая обвиняла его во всех несчастьях своей жизни (может, и не без оснований)?

Так или иначе, но Чехов решил-таки осадить Софью Петровну, а если повезет, то и поссорить ее с Левитаном. Он взял дело в свои умелые руки – и вот в двух январских книжках журнала «Север» за 1892 год был напечатан рассказ «Попрыгунья»…

Надо сказать, что в гостиной Софьи Петровны на столике лежал некий маленький альбом, куда могли от нечего делать заглянуть все посетители салона. Кто хотел, оставлял в нем рисунки и стихи, кто хотел – просто читал все написанное. Несколько страниц были испещрены размашистым, не слишком разборчивым почерком. Это были дневниковые записи Софьи Петровны, относящиеся к 1883 году.

Вообще-то записи были весьма откровенными, и совершенно непонятно, почему они оказались всем доступны. Софья Петровна подробно рассказывала о своей жизни в доме отца в маленьком сибирском городке и о своем романе с неким политическим ссыльным. Человек тот был женат, однако ни Софья, ни он об этой жене и не вспоминали, несмотря на ее жалкие письма к «разлучнице». Между прочим, и Софья была в то время уже замужем за Кувшинниковым, но о нем-то она вспоминала, постоянно терзаясь размышлениями, «отдаться ли всецело чувству» или вернуться к мужу. На почве этой раздвоенности она даже заболела. Наконец однажды вечером Софья получила взволнованную телеграмму от Дмитрия Павловича, который беспокоился о ее здоровье, и оставила в дневнике такую запись: «Мне все-таки лучше; еду к личности, как мой Дмитрий, который именно бескорыстно, отрешаясь от своего «я», умел любить меня одиннадцать лет».

Поскольку Чехов был уже много лет знаком с Софьей Петровной, он, конечно, не раз заглядывал в маленький альбомчик и читал эти записи. Именно под их впечатлением он еще в 1886 году написал рассказ «Несчастье», героиню которого, изменившую мужу, сильному, добродушному, чернобородому

Ильину (в чем и состояло, собственно, несчастье), назвал Софьей Петровной.

В ту пору это ему с рук сошло. Кувшинникова тогда еще только начинала свой салон и тщеславилась тем вниманием, пусть даже порой не слишком лестным, которое ей оказывали люди искусства, ею обожаемые. Да и вообще, она слишком любила свою эпатажную репутацию, чтобы обращать внимание на булавочные укольчики. Однако «Попрыгунью» можно было назвать ударом в самое сердце, к тому же нанесенным отнюдь не мизерикордией[26], а просто-таки топором!

Итак, перечитаем рассказ и взглянем на детали, в нем упомянутые, под новым углом зрения.

«Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий… В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта… Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук – все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с

ним, в тот же день дружила и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?»

Сюжет рассказа общеизвестен. Пустенькая замужняя дамочка в своей погоне за знаменитостями ударилась в адюльтер с известным художником.

«…Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа… Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник… Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы…»

Однако очень быстро эта скороспелая связь обоим наскучила.

«Рябовский… думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной… Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов?

Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой!.. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село».

Ольга Ивановна проглядела, что рядом с ней в облике кроткого, доброго, простоватого, безмерно снисходительного ко всем ее «мелким шалостям» мужа существовал великий врач.

Потом он умер, потому что высасывал через трубочку дифтеритные пленки у больного мальчика и заразился.

Коростелев, друг Дымова, говорит о нем: «Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти… подлые тряпки!»

В героине «Попрыгуньи» с ее «подлыми тряпками» множество людей с изумлением и смехом узнали Кувшинникову. Узнала себя и она.

Неважно, что Ольга Ивановна была молоденькой блондинкой, а Софья Петровна – не больно-то молодой брюнеткой! Слишком много было ударов не в бровь, а в глаз – точных, справедливых и несправедливых, но все равно – безрассудно жестоких.

Главное, кто учил бы ее нравственности! Да кто угодно, но только не Чехов, который, по обыкновению, в путешествиях своих, в какой бы город ни прибывал, первым делом посещал там дом терпимости. И во время своего путешествия на остров Сахалин, сделавшего его пламенным трибуном и защитником справедливости, писал Суворину, издателю газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник», такие, например, «этнографические» письма: «С Благовещенска начинаются японцы или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит, и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо… в деле выказывает мастерство удивительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской… и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь».

Помилуй бог, Софья Петровна его ничуточки не осуждала. Она думала, что и Чехов исповедует ее кредо, которое она выразила однажды в описании собственной жизни: «Жили шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей». Однако оказалось, что Чехов – это не Чехов вовсе, а какой-то Тартюф!

Разумеется, грянул скандал. Антон Павлович пытался оправдаться. «Можете себе представить, – жаловался он в письме к писательнице Лидии Авиловой, – одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».

Собственно, не только Софья Петровна увидела себя в кривом зеркале. Левитану тоже трудно было не узнать себя в Рябовском, даром что он сам был «волканический брюнет», а Рябовский – симпатичный блондинчик. Слишком много было рассыпано по повести его словечек. Слишком много деталей употребил Чехов, которые легко выдавали Левитана.

Ну а Дымов, великодушный, самоотверженный Дымов? Разумеется, это полицейский врач Кувшинников… Над которым, к слову, ехидный Чехов сам сто раз за глаза смеялся как над прекраснодушным рогоносцем, а теперь вдруг, глядите-ка, бросился на защиту обманутого мужа!

Узнали себя и другие персонажи «Попрыгуньи» – постоянные посетители салона Кувшинниковой. «Певец из оперы» – это артист Большого театра Л. Д. Донской, «артист из драматического театра, отличный чтец» – актер Малого театра А. П. Ленский, «молодой, но уже известный литератор» – Е. П. Гославский. В барине, иллюстраторе Василии Васильевиче легко просматривался граф Ф. Л. Соллогуб. Прототипом доктора Коростелева послужил художник А. С. Степанов, задушевный приятель Дмитрия Павловича Кувшинникова…

Скандал разгорался. Левитан, вообще говоря, не слишком-то злился, потому что слишком мало походил он на пустого и жестокого Рябовского. Он понимал (или уверял себя, будто понимает) природу художественного творчества, готов был оправдать Чехова, однако слишком сильна была обида Софьи Петровны. Он и ее жалел… И тогда написал гневное письмо Чехову – дело едва не дошло до дуэли.

Антон Павлович продолжал оправдываться, однако делал это безнадежно глупо:

— Моя попрыгунья молоденькая и хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода!

Но время шло и шло, новые сплетни и слухи поглотили внимание московской публики. Постепенно ссора между Левитаном и Чеховым сошла на нет, они были счастливы примирением, но Софья Петровна долго еще в душе сердилась на бывшего друга. Ну да, он так и остался для нее – бывшим. А скоро и этим остаткам дружбы придет конец!

Настанет и конец любви…

Но пока что не было людей ближе их в целом мире! Как и прежде, Софья Петровна присутствовала и при рождении всех замыслов картин Левитана, и при их воплощении.

…Однажды под вечер близ Городка Владимирской губернии Левитан и Софья Петровна вышли на какую-то дорогу.

— Это знаменитая Владимирка – дорога на каторгу! – вспомнил Левитан.

Останавливаясь у креста, приткнувшегося на обочине, Софья продекламировала:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, –
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…

А затем продолжила:

— У таких крестов делались привалы. Сколько здесь, на этом месте, пролито слез, сколько передумано безнадежного, отчаянного!

Вскоре Левитан написал свою знаменитую «Владимирку» и подарил ее Павлу Михайловичу Третьякову.

Спустя некоторое время Левитан с Софьей поехали на озеро Островное Вышневолоцкого уезда, в имение Ушаковых. Это была старая, запущенная барская усадьба. Хозяева были счастливы приезду московских гостей, рассказывали, что лучше посмотреть в окрестностях. Именно здесь Левитан написал свою знаменитую картину «Над вечным покоем». Он поставил мольберт в зале ушаковского дома. Тут же находился рояль, и Левитан просил Софью Петровну играть. Она не переставая перебирала на клавишах то ноктюрны Шопена, то хоралы Баха, то траурный марш из «Героической симфонии» Бетховена. Эту музыку Левитан хотел слышать больше всего. Эта музыка и мрак, воцарившийся в последнее время в его душе, сливались с торжественным и унылым пейзажем, который возникал на полотне.

Когда картину купил Третьяков, Левитан так и сказал:

— В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием.

Да, на душе у него в то время было муторно. Угроза выселения из Москвы за черту оседлости пугала страшнее, чем смерть. Но друзья отстояли Левитана, и сам московский градоначальник великий князь Сергей Александрович выразил ему свое расположение, навестив в мастерской. Однако страсть к страданию, любовь к унынию, покорность перед меланхолией надолго взяли верх в его душе.

Такое ощущение, что ему нужно было выразить свою печаль на полотне, чтобы отрешиться от нее. Выплеснул из себя прежние чувства и готов был встретиться с новым.

Оно, это новое, не заставило себя ждать. И опять обновление было связано с женщиной.

Имение Ушаковых лежало на холме, который возвышался направо от проезжей дороги. Налево от нее, тоже на холме, стоял густой бор, а в нем – имение Горка. Оно находилось на южной стороне озера. Озером до него ехать совсем близко, а дорогой чуть подальше. Горка была имением питерского сенатора Ивана Николаевича Турчанинова.

Турчаниновы владели землей где-то с начала семидесятых годов (с 1873 года участок уже значился за ними). Вокруг двора стояли хозяйственные постройки: кухня, конюшня, погреб, баня. Вместо старого одноэтажного дома Турчаниновы срубили и поставили двухэтажный, обшитый досками и окрашенный в желтоватый цвет дом с мезонином. Вокруг было много цветов, особенно флоксов; росли белые и розовые розы. Позднее Левитан изобразил этот дом на картинах «Март» (1895) и «Осень. Усадьба» (1894). Один из островов на озере тоже принадлежал Турчаниновым.

Сам Турчанинов оставался в Петербурге, в Горку приехали только его жена и дочери: Варя, Соня (им было 20 и 18 лет) и четырнадцатилетняя Анечка по прозвищу Люлю.

Для Анны Николаевны Турчаниновой этот приезд был чем-то вроде ссылки: Иван Николаевич, который был старше своей жены, отчаялся повлиять на ее романы с высокопоставленными чиновниками в Петербурге, успокаивая их жен. Он хлопотал только о том, чтобы имя Анны Николаевны не попало в столичные газеты. И это ему удалось. Далекий уголок в Островном был как бы спасением.

В то время в имении Ушаковых гостила Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, будущая знаменитая переводчица. Она так рассказывала о появлении новых лиц: «Это были мать и две

очаровательные дочки – девушки наших лет. Мать была лет Софьи Петровны, но очень заботившаяся о своей внешности, с подведенными глазами, с накрашенными губами, в изящных корректных туалетах, с выдержкой и грацией настоящей петербургской кокетки (мне она всегда представлялась женой Лаврецкого из «Дворянского гнезда»). И вот завязалась борьба…

Мы, младшие, продолжали свою полудетскую жизнь, катались по озеру, пели, гуляли, – а на наших глазах разыгрывалась драма. Левитан хмурился, все чаще пропадал со своей Вестой «на охоте», Софья Петровна ходила с пылающим лицом, а иногда и с заплаканными глазами… И кончилось все это полной победой петербургской дамы и разрывом Левитана с Софьей Петровной…»

Да, Анна Николаевна влюбилась в Левитана с первого взгляда. Можно только дивиться, что на нее, искушенную, избалованную мужским вниманием даму, свободно перебиравшую любовников, произвел столь сокрушительное впечатление этот художник – правда, знаменитый, правда, очень красивый, но…

Кстати, еще раз повторим: Левитан был очень обаятелен и легко нравился женщинам, о чем говорили многие.

О. Л. Книппер-Чехова писала: «Левитан был обаятелен; секрет его обаяния заключался в скромности и доброте, в чуткости и мягкости при большом уме и гениальной одаренности».

«Он был по своей сущности аристократом до мозга костей, в самом лучшем смысле слова, – вспоминал художник А. Головин. – Основной чертой Левитана было изящество. Это был целиком «изящный человек», у него была изящная душа… Встретишься с ним, перекинешься хотя бы несколькими словами, и сразу делается как-то хорошо, «по себе», – столько было в нем благородной мягкости. К нему влеклись симпатии всех людей».

Им вторил М. П. Чехов: «У Левитана было восхитительное благородное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал».

В Горке, видя вокруг столько молодых, прелестных, смеющихся лиц, воодушевленный недвусмысленным интересом, который к нему с первой минуты проявила Анна Николаевна, подстегнутый тем неприкрытым соперничеством, которое вспыхнуло между Турчаниновой и Софьей Петровной, Левитан целиком отдался этому незнаемому прежде блаженству: быть яблоком раздора для доброго десятка женщин. «Кокетничал» он от всей души со всеми подряд, с непосредственностью

избалованного мальчика и в то же время с изощренностью записного ловеласа разжигая к себе интерес: то одаривал кого-то своим вниманием, то переключался на другую, то оказывал предпочтение третьей, а потом отворачивался от всех и уезжал на этюды, где пропадал сутками, заставляя поголовно влюбленный «женский контингент» сходить с ума от беспокойства. Кокетничал он, кокетничал – ну и дококетничался…

Софья Петровна, видя, что возлюбленный все более откровенно предпочитает другую, понимая, что все между ней и Левитаном кончено, попыталась отравиться. Она напилась было серы, которую соскребла со спичек, но поблизости, на счастье, оказался доктор, гостивший у соседей, и Софью Петровну спасли. Левитан уехал с ней в Москву, отвез домой… Это был великодушный поступок.

Софья Петровна с нетерпением дожидалась утра, надеясь, что Левитан приедет к завтраку, и все пойдет, как шло раньше. Однако ей подали только письмо от него: «Между нами все кончено, я уезжаю в Горку. Простите меня…»

Жизнь Софье Петровне спасла неистовая вспышка ярости, которая заставила ее строчить вслед художнику письма, одно другого ядовитей. Это хоть немного отвлекло ее от горя, хотя изрядно испортило там, в Горке, жизнь Левитану, которому доставляли эти несчастные письма в самый разгар его счастливого романа.

Вернее, романов…

С одной стороны, Анна Николаевна была убеждена, что покорила художника, который с каждым днем становился ей все дороже. Как и она ему. Итак, рядом с ним снова оказалась сильная женщина, еще более сильная, чем Кувшинникова, более успешная, более уверенная в себе, а главное, несравнимо более привлекательная для Левитана, для которого неиссякающая чувственная фантазия имела огромное значение. В ее объятиях он ощущал себя покорным учеником, она играла на нем, как на флейте… Кстати, на флейте она тоже играла! Этому научил ее петербургский любовник, который много чего в жизни повидал, даже в Индии побывал, ну и там почерпнул кое-какие полезные в жизни навыки.

Это было для Левитана таким неведомым открытием, таким острым ощущением!

Кроме того, он понимал (ну, может быть, не понимал, а чувствовал): время Софьи Петровны в его жизни прошло. Ему нужна новая муза – не хуже, не лучше, просто другая. Потому что только любовь способна вдохнуть молодую жизнь в его стареющие полотна. Поэтому совершенно не удивительно, что он,

захлестнутый подавляющей чувственностью Анны Николаевны, еще находил время писать. Писать и писать, а также… кружить голову ее дочери Вареньке…

Строго говоря, Варенька сама возомнила бог весть что, пока ничего и не было. Еще уезжая сопроводить Софью Петровну, не уверенный, что когда-нибудь снова вернется в Горку, Левитан подарил всем Турчаниновым пейзажи. Варе досталась пленительная пастель, изображавшая васильки в простой зеленой кринке. Васильки были ее любимыми цветами, и он это знал. Подписи всем он сделал шутливые, а Варе – серьезную: «Сердечному, доброму человеку В. И. Турчаниновой на добрую память. И. Левитан».

Ну ничего, ровным счетом ничего ни в надписи этой, ни во всем прочем не было такого, за что можно было зацепиться в надежде на любовное ошеломление! Однако ведь влюбленная женщина – сумасшедшая, которая всегда видит то, чего нет, а того, что по глазам бьет, заметить не в силах, да и не хочет… И когда Левитан все же вернулся в Горку – вернулся человеком, свободным от прошлого и готовым к будущему, – его ждали не только щедро открытые объятия Анны Николаевны, в которые он с восторгом бросился, но и письма Вареньки.

Эти письма таскала ему Люлю, которая его обожала. Процесс самого писания картин, процесс творчества производил на нее впечатление гипнотическое. Старшую сестру она тоже обожала, потому и помогала встречам двух обожаемых ею людей. И вот однажды Варенька, не в силах больше выносить ревность и ненависть к собственной матери, которая оказалась ее счастливой соперницей, поставила любимому ультиматум. Чем все это кончилось, видно из прелестного мемориального пассажа Михаила Чехова:

«Где-то на одной из северных железных дорог, в чьей-то богатой усадьбе жил на даче Левитан, он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство, он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Павлович был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее

ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке».

Батюшки-светы, ну сколь же многим был обязан Антон Павлович своему осмеянному в «Попрыгунье» другу и его любовницам! Право, можно подумать, что их предназначенье в том и состояло, чтобы не верными подругами художника быть, а навевать приступы вдохновенья желчному писателю!

Кстати, результатом поездки из Мелихова в Горку для Чехова стала не только «Чайка», но и прелестный рассказ «Дом с мезонином». Там столько сходства с ситуацией – при том, что Чехов маскировался, как мог, не желая новых обвинений в пасквилянтстве и не в силах больше ссориться с Левитаном. Он шифровался даже в деталях мельчайших, несущественных, сугубо географических: так, ошалевшую Вареньку Анна Павловна отправила в Петербург, а Мисюсь в рассказе уехала в Пензенскую губернию. Кроме того, Чехов, «поместив» своих героев в живописные островенские места и усадьбы у озера (их описание полностью совпадает с реально существовавшими домами), с первых строк своего рассказа «Дом с мезонином» умышленно отправляет нас в год 1891-й, в усадьбу Богимово. Все ясно: не должно быть и намека на то, что прототипы – это Левитан и семья Турчаниновых!

И тем не менее ошибиться в том, кто здесь кто, мог только самый наивный человек. Лида Волчанинова, завзятая филантропка, – это Анна Турчанинова с ее склонностью к благотворительной деятельности; Мисюсь, прозвище которой немножко напоминает о Люлю, – это Варенька. Описание горящего в лучах заходящего солнца креста на колокольне точно соответствовало особенностям погибшей при пожаре местной церкви…

Но и в этом рассказе Чехов остался Чеховым. Анна Николаевна любила Левитана и была любима им. И, несмотря на это – или именно поэтому? – Чехов сделал Лиду Волчанинову просто отвратительной, ледяной, бессердечной. Все симпатии автора – и невольно читателя – на стороне Мисюсь, бедной, сосланной, не успевшей изведать предназначенного ей счастья из-за беспощадной ревности сестры…

Ну что ж, возможно, конечно, что Чехов оказался здесь не просто желчным летописцем событий, но и провидцем истинной подоплеки случившегося. Именно поэтому ничто не повлияло на его вновь окрепшую дружбу с Левитаном.

Что бы ни думала Анна Николаевна об этом рассказе, она молча проглотила пилюлю. Может быть, она извлекла какие-то уроки из горькой участи Софьи Петровны? Ведь Левитан так и не смог простить ей, что из-за нее (вообще-то из-за ее любви к нему,

но это детали!) он оказался замешан в публичный скандал и сделался героем московской сплетни?

А может быть, Анна Николаевна просто не читала этого рассказа?

Очень даже запросто.

Так или иначе, хотел ли Чехов их рассорить, нет ли, ему это не удалось. Анна Николаевна оставалась рядом с Левитаном всю его оставшуюся жизнь. Она же выхаживала его на пороге смерти, причем искала духовной поддержки в это время не у кого иного, а у Чехова!

«Что-то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю, – писала она 20 мая 1900 года. – Не верю, что не выхожу».

Не выходила.

Левитан умер от затяжной болезни сердца в июле 1900 года. Накануне смерти, уже не сомневаясь в ее приближении, он позвал к себе брата и с его помощью сжег все свои письма – свой архив, оборвав этим множество нитей, завязав множество узлов. Да еще и записку оставил: «Письма все сжечь, не читая, по моей смерти. Левитан». Это уж на всякий случай.

Писем практически не осталось. Готовя собрание сочинений Чехова к печати, Марья Павловна собирала считаные строки Левитана по всем друзьям и знакомым. Турчанинова отмолчалась. Брат Левитана был категорически против публикации, отказался участвовать в этой затее. И только Софья Петровна Кувшинникова щедро отдала признания влюбленного художника издателям.

Что руководило ею в это время? Последнее тщеславие? Желание даже в эти минуты доказать миру, что именно она сыграла определяющую роль в жизни великого художника? Но ведь это и так ясно, какие тут могут быть сомнения, как бы там ни ехидствовал в свое время Чехов в «Попрыгунье»…

А вот, кстати, о «Попрыгунье». Помните, доктор Дымов умер от того, что отсасывал дифтеритные пленки у больного ребенка? А Софья Петровна Кувшинникова летом 1907 года по доброте душевной ухаживала за одинокой художницей, больной тифом, заразилась от нее и скончалась. Где ее могила, неизвестно.

Наверное, если бы об этом узнал господин Чехов, ему могло бы стать стыдно. Однако он умер за три года до сего события, так что…

А может быть, Антон Павлович узнал-таки о самоотверженности Софьи Петровны – узнал и устыдился того зла, которое ей причинил? Говорят же, что *там в*се всё знают! И,

не исключено, Чехов и Левитан вместе встречали в мире ином подругу своих молодых дней, «попрыгунью». А если и правда *там и*звестно все, что делается на земле, может статься, персонажи сей новеллы каким-то образом оказались осведомлены и о содержании нижеследующего объявления, которое любой и всякий может прочесть в Интернете: «Продаю антикварный рояль J. Becker 1880 г. в. № 7152, представляющий антикварную ценность (на нем играла Софья Петровна Кувшинникова – любовница И. Левитана). Клавиши из слоновой кости, черного цвета, нуждается в реставрации».

Итак, вечность все поставила по местам!

Причуды Саломеи, или Роман одной картины (Валентин Серов – Ида Рубинштейн)

Как красива царевна Саломея сегодня вечером!.. Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она – как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать – она ищет мертвых… Очень странный вид у нее. Она похожа на маленькую царевну в желтом покрывале, ноги которой из серебра. Она похожа на царевну, у которой ноги как две белые голубки. Можно подумать – она танцует. Она медленно движется… Как царевна бледна! Я никогда не видел, чтобы она была так бледна. Она похожа на отражение белой розы в серебряном зеркале…

Резкий, монотонный женский голос, произносящий эти странные слова, размеренно доносился из-за наглухо запертой белой двери.

— Как она мне надоела! – вздохнула сиделка и выключила спиртовку, на которой уже начал побулькивать крышечкой маленький кофейник. – Слышать больше не могу про эту проклятую Саломею. Каждый вечер одно и то же, одно и то же. Мадам Ленор, которая дежурит в смену со мной, жалуется, что и ей нет никакого покоя от Саломеи. По-хорошему надо бы позвать священника, чтобы изгнал дьявола из этой бледной немочи, которую держат там, за дверью!

— Ничего, – усмехнулся санитар, протягивая чашку. – Половину, мадам Мано. Довольно, вот так… Слишком крепкий кофе, я не хочу, чтобы у меня опять началось учащенное сердцебиение. А может быть, – игриво хихикнул он, – у меня учащенное сердцебиение не из-за кофе, а из-за вас?

— А у меня учащенное сердцебиение из-за нее! – не отвечая на невинное кокетство, простонала мадам Мано, со звоном брякая чашку на блюдце. – Вот, слышите? Она опять начала! Проклятая еретичка!

— Твой голос пьянит меня, Иоканаан! Я влюблена в твое тело! Твое тело белое, как лилия луга, который еще никогда не косили… Твое тело белое, как снега, что лежат на горах Иудеи и нисходят в долины… Розы в саду аравийской царицы не так белы, как твое тело. Ни розы в саду царицы аравийской, благоуханном саду царицы аравийской, ни стопы утренней зари, скользящей по

листьям, ни лик луны, когда она покоится на лоне моря… Нет ничего на свете белее твоего тела. Дай мне коснуться твоего тела!

— Господи, что она несет! – фыркнула сиделка, краснея. – Надо ее связать и заткнуть ей рот. Чего я только не наслушалась на этом посту, одна Святая Дева знает мои мучения! Но такого я никогда не слышала.

— Да не волнуйтесь вы так, – пробормотал санитар, который тоже смутился и отвел глаза от распалившейся сиделки. – Не надо никого связывать. Разве вы не знаете, как тиха и безобидна эта больная? Вся ее вина только в том, что она слишком богата и непомерно помешана на своей красоте. Держу пари, она сейчас лежит, вытянувшись во весь свой длинный рост, таращится на себя в зеркало, которое по ее мольбам укрепили над ее кроватью, и бормочет эти нелепые слова. Ну какая в том беда? Она не бьет стекла, не ломится в дверь. Бог с ней! – И он снова поглядел на сиделку: – Вы лучше вот что скажите мне, мадам Мано… нет ли среди ваших предков испанцев или итальянцев? Иначе откуда бы у вас взялись эти прелестные черные глазки?..

Эх, жаль, жаль, не нашлось в этот вечер в частной лечебнице доктора Левинсона никого, кто рискнул бы держать пари с санитаром, потому что у него, у этого рискового человека, появился бы вполне реальный шанс увеличить содержимое своего кошелька!

— Саломея, Саломея, танцуй для меня. Я молю тебя, танцуй для меня… – высоким, пронзительным голосом декламировала очень высокая, очень худая и очень бледная женщина с распущенными черными волосами, одетая в лиловую с серебром пижаму, медлительными, рассчитанными движениями ковыряя шпилькой в замочке, который сдерживал оконные створки.

Эту шпильку еще позавчера уронила из своей прически сиделка Мано. Ида боялась, что она спохватится, боялась, что это проверка, и не притрагивалась к шпильке до сегодняшнего утра, хотя она так заманчиво темнела на светлом ковре, покрывавшем пол. Конечно, ее непременно заметила бы уборщица, заметила бы и убрала, однако Ида и вчера, и нынче утром устроила скандал и никого в свою комнату не пустила. Лекарства ей приносил сам подслеповатый дядюшка, доктор Левинсон – вот поганая, мерзкая тварь, он-то и заточил Иду в свою собственную психушку, повиновавшись настоятельным требованиям ее родственников, которым до того жалко стало рубинштейновских миллионов (что и говорить, тратила она деньги, как хотела, не считая!), что они сочли ее помешанной и упрятали в эту беленькую, сверкающую, чистенькую, пахнущую лекарствами тюрьму.

Она провела здесь целый месяц, чуть и в самом деле не

спятила, ожидая, что эти зажиревшие свиньи, ее родичи, одумаются и сжалятся, а потом решила плюнуть на все – и снова взять судьбу в свои руки. Причем надо было спешить – срок действия ее паспорта кончался. Нужно уехать из Франции самое позднее послезавтра, не то к ней привяжется полиция, и у Левинсона появятся законные основания держать ее в заточении, кроме выдуманной болезни. Скажет: «Я делаю это для вашей же пользы, моя маленькая Лидуся! Стоит вам выйти на улицу, и к вам может привязаться любой ажан, который разглядит в вас иностранку. А за несоблюдение паспортного режима во Франции недолго и в Консьержери угодить!»

В Консьержери Иде не хотелось. Но еще больше ей не хотелось сидеть в этой наглухо запертой комнате и слушать, как толстый и противный доктор Левинсон (сама чрезвычайно, невероятно худая, она ненавидела толстяков до брезгливого визга!) называет ее Лидусей.

Ну да, в самом-то деле ее звали не Идой, а Лидой, но это имя она ненавидела, ненавидела!

— Мне грустно сегодня вечером… Да, мне очень грустно сегодня вечером. Когда я вошел сюда, я поскользнулся в крови, это дурной знак, и я слышал, я уверен, что слышал, взмахи крыльев в воздухе, взмахи как бы гигантских крыльев. Я не знаю, что это значит… – произнесла она громче, чем прежде, потому что в это мгновение замок поддался ее усилиям и открылся.

Так, отлично, теперь очередь за ставнями. Какое счастье, что палата на втором этаже, а значит, ставни закрываются изнутри!

— Мне грустно сегодня вечером, поэтому танцуй для меня… Танцуй для меня, Саломея, я умоляю тебя! – продолжала Ида свой спасительный, скрывающий шум ее усилий монолог. – Если ты будешь танцевать для меня, ты можешь просить все, что захочешь, и я дам тебе. Да, танцуй для меня, Саломея, я дам тебе все, что ты пожелаешь, будь это половина моего царства!

Второй замок открылся неожиданно быстро, Ида чуть не подавилась от неожиданности. Не отворяя ставен (а вдруг кто-то заметит открытое окно клиники раньше, чем Ида ее покинет?), она прокралась к двери и провозгласила:

— Ты мне дашь все, что я пожелаю, тетрарх? Ты в этом клянешься, тетрарх? Чем поклянешься ты, тетрарх?

Прыжок к окну. Толкнуть тяжелые створки… Легко вскочить на подоконник… Опустить вниз ноги – такие длинные, что, чудится, им совсем немножко осталось, чтобы достать до земли. Затем Ида пронзительно заговорила:

— Жизнью моей поклянусь, короной моей, богами моими! Все, что ты пожелаешь, я дам тебе, будь это половина моего

царства, если ты будешь танцевать для меня. О Саломея, Саломея, танцуй для меня!

Ида бесшумно спрыгнула в сад. Резкий, пронзительный голос умолк.

В коридоре мадам Мано вздохнула с нескрываемым облегчением, приоткрывая губы навстречу губам санитара…

— Такси! Такси! Стойте! Говорят вам, стойте! Крети-ин!..

Вторая машина промчалась мимо, не остановившись около Иды. Ну да, она еще слишком близко от клиники Левинсона. Неужели парижские таксисты такие догадливые и понимают, каким образом на тротуаре могла оказаться растрепанная дама в шелковой пижаме?

Правда что кретины. На самом деле у пациентов клиники совсем другие пижамы, а эта пошита на заказ и на заказ вышита серебром. Почему у этих простолюдинов столь бедное воображение, что они не могут принять эту пижаму за маскарадный костюм?

Наконец ей повезло. Один таксист все же оказался обладателем достаточно богатого воображения. Богатого не только в отношении одежды. Когда таксист запросил двадцать франков, Ида по его загоревшимся глазкам сразу поняла, что сумма несусветная, но, конечно, спорить не стала. Двадцать, двести… Не все ли ей равно?!

И вот уже площадь Квебек, вот знакомый дом в глубине садика…

Швейцар вытаращил глаза:

— Мадам? Вас так давно не было видно! Я даже хотел заявить в полицию! А сегодня из Петербурга прибыла дама, которая назвала себя вашей тетей, мадам Горовиц. Она очень волновалась, не найдя вас на месте!

— Да, мадам Горовиц и в самом деле моя тетушка. Буду рада ее видеть. Шарль, я приехала на такси. Прошу вас, пойдите отдайте моему шоферу двадцать франков.

— Сколько?! – простонал швейцар, хватаясь за грудь. – Откуда вы приехали, мадам? Может быть, из Бордо?!

Не слушая, Ида взбежала по лестнице:

— Тетя Аня? Ну да, ну да, это я, не падайте в обморок. Послушайте, вы должны за меня заступиться перед Левинсоном. Он объявил меня сумасшедшей, вот дурак-то… Все, я все поняла! Я понимаю, что вы и все прочие были отчасти правы. Я должна поделиться с вами… Давайте договоримся. Я выхожу за вашего Володьку, выхожу хоть завтра. Потом мы разводимся. Вы же понимаете, что ни он, ни я не созданы для семейного счастья. Я

не могу идти по жизни рядом с кем бы то ни было. Я могу идти только одна! Владимир получит по контракту… Сколько вы хотите? Четверть? Ладно, третью часть, черт с вами со всеми! Но только уж извольте после этого оставить меня в покое, понятно?! А теперь я хочу ванну и ужин. Мяса, мяса, мяса! И дюжину устриц. И шампанского! И еще пошлите за Ромен Брукс. Моя горничная знает, где она живет. В этой поганой клинике я устала спать одна!

Мадам Горовиц наконец обрела дар речи:

— Как? Ты хочешь позвать сюда эту непотребную американку?! Но ты теперь невеста моего сына, так что…

— Но ведь я еще не жена его, – ухмыльнулась Ида. – Кроме того, я не возражаю, если Володенька приведет сюда кого-то из своих мальчиков. Кто у него теперь? Все еще Луи-Поль? Ну надо же, какая долгая верность! Мой привет Луи-Полю!

И, расшвыряв в разные стороны туфельки, она пробежала в сторону ванной комнаты.

Анна Петровна Горовиц только головой покачала, глядя вслед по-змеиному извивающейся фигуре в лиловых шелках. Право, такое ощущение, что в теле Иды нет ни единой косточки. Зато нрав у нее – железной крепости. Даже и теперь, припертая к стенке денежными претензиями возмущенных родственников, для которых нет разницы между актрисой и куртизанкой, она норовит поступить по-своему!

Сколько всего Анна Петровна натерпелась за последние десять лет, с тех самых пор, как Иду привезли в Петербург после смерти ее родителей! Девчонка не знала меры своим фантазиям… так же, как никогда не знала счету своим деньгам…

* * *

Что и говорить, Лев Рубинштейн, харьковский, а потом и киевский сахарозаводчик и меценат, был богат фантастически. Его единственная дочь (разные источники называют годом рождения Лидии то 1880, то 1883, то 1885 год) росла и воспитывалась, как принцесса крови. Но вот родителей Иды унесла эпидемия… Многочисленные родственники, кормившиеся на проценты с капитала Рубинштейна до совершеннолетия наследницы, продолжали лелеять все ее прихоти. А когда ей было десять и возникли разговоры о хорошем образовании, Иду (на имя Лида она больше не отзывалась) отправили в Петербург, к

тетушке Анне Петровне. Особняк на Английской набережной, переполненный шедеврами искусства, вполне подходил для дальнейшего воспитания принцессы Рубинштейн.

Разумеется, ни о каких гимназиях или институтах речи не шло и не могло идти. Образование Ида получала дома и без труда освоила четыре языка: английский, французский, немецкий и итальянский. Когда она заинтересовалась историей Греции, тут же был нанят ученый-эллинист. Теперь она знала пять языков.

Она читала невероятное количество книг, великолепно знала классику и увлекалась Ницше.

Ну и разумеется, Иду обучали музыке и танцам. Слух у нее оказался недурной, но голоса никакого, способностей к танцам тоже не обнаружилось. Зато обнаружилось невероятное упрямство! Именно танцы влекли ее неодолимо, и она готова была на все, чтобы научиться владеть своим долговязым, непослушным, несуразным и неграциозным телом. Часами занималась перед зеркалом, то отрабатывая сложное па, то застывая в изысканной позе.

Чем больше она смотрела на себя в зеркало, тем больше восхищалась своим уродством, в котором со временем и в самом деле начало появляться что-то изысканное. Большеротая, с узкими, вытянутыми к вискам глазами, худая, плоскогрудая, Ида была далеко не глупа. Красота – это ведь не только канон, но и впечатление. Если она, Ида Рубинштейн, не соответствует канонам, значит, она должна научиться производить на людей ошеломляющее впечатление. А это лишь вопрос стиля, воображения и денег. Того, другого и третьего у нее имеется в достатке, а значит, ничто не мешает стать единственной в своем роде! Чем больше Ида смотрелась в зеркало, тем больше уверялась, что производит впечатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной некими чудесными грезами…

Решено! Это и будет ее стиль!

И вот еще что. Настоящие дурнушки сидят по углам и прячут свое уродство от глаз людских. Но Ида выставит свое возведенное до превосходной степени безобразие на всеобщее обозрение и заставит поверить, что оно и есть красота!

Где же можно было продемонстрировать себя всем людям в начале XX века? Разумеется, на сцене. И она увлеклась художественной декламацией. Но голос был слаб, ложный, манерный, истерический пафос только раздражал слушателей.

Родственники скептически восприняли желание Иды пойти на сцену, но были убеждены, что, осознав собственную бездарность, девица одумается. Но они ведь не знали, что Ида не

видела у себя ни единого недостатка, только несомненные достоинства!

В общем, ей было позволено брать уроки драмы у артистов императорских театров. Закончилось это обучение сюрпризом: Ида заявила о своем желании стать трагической актрисой.

Однако одного только ее желания было мало. То один, то другой педагог заявляли ей о полном отсутствии таланта. И тогда Ида наконец вспомнила своего отца, который был принят у самых уважаемых людей Киева, потому что он, всего-навсего еврей-торговец, обладал таким состоянием, при мысли о котором сословные различия превращались в сущую ерунду. Но ведь теперь это почти неприличное состояние принадлежит ей! Почему же она не умеет извлекать из него пользу?

Ида Рубинштейн пошла учиться на драматические курсы при Малом театре и начала тратить свое сказочное состояние на то, что сегодня назвали бы «частной театральной антрепризой». Теперь она не снисходила до просьб: дайте мне роль, ах, молю вас… Теперь она называла сумму, превышающую смету спектакля вдвое или втрое, и говорила: я хочу главную роль! Именно главную – она была слишком брезглива, чтобы унижаться до второстепенных ролей. Кроме того, она сама выбирала и спектакли: в скучнейших, с ее точки зрения, пьесах Горького или Чехова она и впрямь смотрелась бы нелепо, зато античная классика или современный декаданс – вполне достойные ее произведения!

Когда пронесся слух о том, какие деньги она готова отдать за спектакли, Станиславский, незадолго до этого отвергнувший ее, начал рвать на себе свои густые и пока еще черные волосы. Он звал ее вернуться, звал, звал… Ида только фыркнула.

Разумеется, она понимала, что не обойдется без знакомств в театральном мире. И тут на каком-то светском приеме она познакомилась со Львом Бакстом, театральным художником и декоратором.

К тому времени слух об утонченной и стильной Иде Рубинштейн прошел по Петербургу. Немало этому слуху способствовали написанные на ее деньги статейки для светской хроники. Их цитировали. Стало модно говорить о невероятной, утонченной красоте Иды. Вот только несколько таких высказываний.

«Я увидел молодую, высокую, стройную девушку в чудесном туалете, с пристально-скромным взглядом, отливающим солнечною косметикою. Она произносила только отдельные слова, ничего цельного не говорила, вся какая-то секретная и запечатанная, а между тем она была и не могла не быть центром

всеобщего внимания. Девушка эта претендовала на репутацию сказочного богатства и ослепительной красоты. О богатстве ее распространялись легенды».

«Лицо Иды Рубинштейн было такой безусловной изумляющей красоты, что кругом все лица вмиг становились кривыми, мясными, расплывшимися!»

«Никто не умеет так обедать, как Ида Рубинштейн. Протянуться длинной рукой к закускам, взять ложку, ответить что-нибудь лакею, при этом хохотнуть вам трепетно блеском зубов, пригубить вино и с небрежной лаской налить его соседу – все это музыка, веселье, радость. И тут же разговор на труднейшую тему, в котором Ида принимала живейшее участие, даже не без некоторой эрудиции, особенно пленительной в таких устах. Играя за столом, усыпанным цветами, скользящими улыбками и прелестным наклоном головы к кавалеру, она иногда, разгорячившись по-своему, в порыве восхищенного экстаза бросала на дно вашего бокала бриллианты, снятые с длинных пальцев».

Бакст, подстегнутый мыслями о гонораре, который ему светит, не остался в стороне и вплел свой цветок в венок высказываний, венчающий голову Иды, маячившую где-то сантиметрах в десяти над ним: «Это существо мифическое… Как похожа она на тюльпан, дерзкий и ослепительный. Сама гордыня и сеет вокруг себя гордыню».

Оказалось, «тюльпан» хотел на свои средства поставить «Антигону» и сыграть в ней главную роль. Бакст с радостью согласился.

Стильное уродство было в моде, поэтому, когда Ида пригласила художника к сотрудничеству не только на сцене, но и в постели, он с радостью согласился. И потом долго не мог понять, что она такое: то ли лед в огне, то ли огонь во льду. У девицы обнаружились явные склонности к извращениям, ее темперамент то вспыхивал, то остывал, она зажмуривалась, чтобы не видеть отражения любовника в зеркалах, которыми была щедро уставлена ее спальня, но почти не отводила во время акта глаз от себя.

Эгоцентризм, нарциссизм, эгофилия, гедонизм… Клиническая картина. А не лесбиянка ли она, подумал Бакст… Да ладно, зато какие деньги! К тому же в голове у юной гедонистки водились кое-какие мысли, и эрудиции у Иды в самом деле было не отнять. Ко всему в своей жизни она подходила серьезно и обстоятельно. «Заболев» древнегреческой трагедией, она начала учиться истории искусств, назначая знакомым свидания в Эрмитаже. Специально зубрила не современный греческий, а

древнегреческий язык, чтобы прочесть Софокла и Еврипида в подлиннике. Хотела построить в Питере грандиозное здание нового театра из розового мрамора…

Впрочем, «Антигона», как и все другие проекты Иды, будут направлены на прославление одного человека – ее самой. Древнегреческое искусство было лишь поводом к этому. Однако сцена – это не обед, где довольно «потянуться длинной рукой к закускам». Когда Ида под псевдонимом Львовская появилась в роли Антигоны, критики назвали ее игру ученической: отметив пластическую выразительность, не закрыли глаза на дилетантизм – отсутствие голосовой техники, плохую дикцию, неумение держать паузу и слушать партнера.

Примерно в это время в Петербурге оказался немецкий драматург Иоганнес фон Гюнтер. Вот что он писал: «Лев Самойлович Бакст тогда обхаживал одну неестественно худую, наивно дерзкую и очень богатую молодую девушку, мечтавшую стать новой Дузе. Ида Рубинштейн происходила, если не ошибаюсь, из семьи петербургских банкиров. К ее начинаниям привлечены были все известные современные драматурги: еще очень юная и чрезвычайно самоуверенная дама хотела получить сенсационную пьесу какого-нибудь гениального драматурга, написанную только для нее, и, поручив оформление Баксту, поставить ее на свои средства в Париже.

Не знаю точно, с кем именно уже велись переговоры, но, кажется, никого не нашли. Позднее Гофмансталь намекал мне, что Дягилев обращался к нему по этому поводу из Парижа, но – безуспешно. Название моей пьесы заинтересовало Бакста: «Очаровательная змея» – с этим уже можно было что-то делать. Однако сама пьеса понравилась ему столь же мало, сколь ее автор – серафически надменному чуду, принявшему девический облик. На этом все дело и провалилось. Добрейший Бакст пытался меня утешить. А Ида Рубинштейн нашла себе потом драматурга в лице Габриэля Д'Аннунцио, который как ловкий профессионал сочинил именно то, что требовалось – «Мистерию о мученичестве святого Себастьяна». Главная роль особенно подходила для нее еще и потому, что, как утверждают, во время спектакля при всем желании невозможно было распознать, какого пола госпожа Рубинштейн. Когда я спросил об этом Бакста, он лишь многозначительно подмигнул мне: у Моисеева золотого тельца, мол, тоже не разберешь, какой он там из себя».

Мужчи-ины… Как же они коварны! Недаром Ида все откровенней начинала предпочитать женщин, тут Бакст не ошибся.

Про Д'Аннунцио речь пойдет впереди, а пока вернемся к

«Антигоне». Прохладные рецензии не остудили пыла неистовой Иды. Теперь она возжелала сыграть «Саломею» в пьесе гениального гомосексуалиста Оскара Уайльда, который, между прочим, сам в свое время выступил в этой безусловно женской роли.

С другой стороны, играла же Сара Бернар шекспировского Гамлета, так почему бы Уайльду не сыграть его собственную Саломею?..

Ида начала искать театр и режиссера, подходящих под ее деньги и замысел. Станиславский снова звал ее к себе. Ах, как ему нужны были средства! Ладно, Мария Андреева привлекала тысячи Саввы Морозова, но вот ежели бы денежки Морозова да прибавить к денежкам Рубинштейн… К изумлению Иды, два или три театра, в том числе Малый, от постановки отказались, назвав пьесу безнравственной.

Похоже, именно тогда она услышала это слово впервые. И вытаращила свои сильно подведенные черные-пречерные глаза: да? А что тут такого?

Ей объяснили: Уайльд уверяет, будто Саломея, падчерица царя Ирода, выпросила у него голову Иоанна Крестителя лишь потому, что возжелала его, а Иоанн испугался искушения и отверг ее. Пьеса искажает образ святого, разве вы не понимаете, сударыня?

Сударыня не понимала. И с упоением репетировала свой любимый монолог, держа в руках что-нибудь, что должно было изображать отрубленную голову пророка:

— Иоканаан, ты был единственный человек, которого я любила. Все другие внушают мне отвращение. Но ты, ты был красив. Твое тело было подобно колонне из слоновой кости на подножии из серебра. Оно было подобно саду, полному голубей и серебряных лилий. Оно было подобно башне из серебра, украшенной щитами из слоновой кости. Ничего на свете не было белее твоего тела. Ничего на свете не было чернее твоих волос. В целом свете не было ничего краснее твоего рта. Твой голос был жертвенным сосудом, изливающим странное благовоние, и, когда я смотрела на тебя, я слышала странную музыку!.. Почему ты не смотрел на меня, Иоканаан? За твоими руками и за хулениями твоими скрыл ты лицо свое. На глаза свои ты надел повязку, как тот, кто хочет видеть своего Бога. Ну что же, ты видел своего Бога, Иоканаан, но меня, меня ты никогда не видал. Если бы ты меня увидел, ты полюбил бы меня. Я видела тебя, Иоканаан, и я полюбила тебя! Я еще люблю тебя, Иоканаан. Тебя одного. Твоей красоты я жажду. Тела твоего я хочу. И ни вино, ни плоды не могут утолить желания моего. Что буду я делать теперь,

Иоканаан? Ни реки, ни великие воды не погасят моей страсти. Царевной была я, ты презрел меня… Целомудренна я была, ты зажег огонь в моих жилах… Почему ты не посмотрел на меня, Иоканаан? Если бы ты посмотрел, ты полюбил бы меня. Я знаю, ты полюбил бы меня, потому что тайна любви больше, чем тайна смерти. Лишь на любовь надо смотреть… А! Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот. На твоих губах был острый вкус. Был это вкус крови?.. Может быть, это вкус любви. Говорят, у любви острый вкус. Но все равно. Все равно. Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот…

Какой прекрасный текст.

Какой страшный текст!

Он безмерно подходил Иде. Безмерно, ибо она была таким же демоном разрушения, как и Саломея.

Наконец Ида оказалась в Театре Комиссаржевской. Сначала присматривалась: ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических и роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были, как стрелы, иссиня-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, губы. Молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же возвращалась в карету. Видом своим она просто-таки с ног сбивала молоденьких провинциалок вроде будущей великой актрисы Веры Пашенной: «Ида Рубинштейн прошла мимо в пунцовом платье, вся в шорохе драгоценных кружев, «дыша духами и туманами». За ней волочился длинный шлейф. Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой…»

Итак, она все же создала свой стиль. Ну что ж, эпоха декаданса была истинно ее эпохой.

Пьесу Уайльда приняли к постановке в Театре Комиссаржевской, но Ида напрасно ждала своего звездного часа: роль Саломеи отдали актрисе Наталье Волоховой, возлюбленной Александра Блока. Однако обижаться на судьбу было рано: цензура запретила-таки спектакль![27] Театр Комиссаржевской закрыли.

Впрочем, Ида так и так ушла бы оттуда, слишком уж разными существами были они с Верой Федоровной. Комиссаржевская считалась воплощением женственности и лиричности, а Иду Рубинштейн привлекал утонченный и острый психологизм, стилизация и эротичная экзотичность. Или экзотичный эротизм, это уж кому как больше нравится…

Но с мыслью о «Саломее» она расстаться не могла. Уйдя из

театра, Ида пыталась поставить пьесу у себя дома. Режиссировал Мейерхольд, музыку писал Глазунов, декорации, конечно, делал Бакст, танцы ставил Фокин. Но Ида не смогла создать обстановку, необходимую для серьезной работы. Она видела на сцене только себя и только себя слушала, а это, безусловно, бесило остальных актеров, а тем более режиссера. Не получилось консенсуса, как сказали бы мы, образованные потомки. Кроме того, ссориться со Святейшим синодом и возобновлять запрещенную пьесу как-то расхотелось разумным людям, у которых за спинами не стояли оборонительные сооружения из мешков, набитых деньгами, какие стояли у Иды.

Но она по-прежнему не могла расстаться со своей навязчивой идеей. Как ни странно, из всей роли более всего ей было жаль «Танец семи покрывал», которым Саломея очаровывает царя Ирода настолько, что он клянется исполнить любое ее желание. И она задалась целью станцевать хотя бы его, если невозможно сыграть всю роль.

Однако танец по-прежнему не желал ей повиноваться! На него никак, при всем своем желании, нельзя было воздействовать простым формированием общественного мнения. То есть Ида не сомневалась, конечно, что пресса и общие эффекты сыграют свою роль, однако кое-чему все же следовало научиться.

В это время в Петербурге находилась Айседора Дункан, и Ида отправилась к ней – наниматься в ученицы. Прельщенная гонораром, божественная Айседора согласилась начать урок и, по своему обыкновению, осталась в одной тунике. Белья она принципиально не носила. Разумеется, ученица тоже должна была раздеться.

При взгляде на тощую, лишенную малейших примет женственности фигурку Айседоре, поклоннице классических канонов красоты, помешанной на античном искусстве, стало не по себе. Ну а когда в черных, подведенных глазах вспыхнул огонь безумного вожделения и Ида, неправильно истолковавшая призыв раздеться, схватила танцовщицу в объятия, Айседора едва не умерла от ужаса. С превеликим трудом разомкнув змеиные кольца этого тощего, но невероятно сильного тела, она скандально прогнала Иду.

Эта история скоро стала известна Станиславскому, который немало позлорадствовал на сей счет.

А Ида снова обратилась к блистательному балетмейстеру Михаилу Фокину.

В это время он находился с женой в Швейцарии. Ида приехала туда и проявила удивительную настойчивость, уговаривая его.

Конечно, сначала Фокин воспринял ее желание скептически: двадцать пять лет – не тот возраст, когда учатся азам классической (да хоть бы и не классической!) хореографии. Но уж очень необычно выглядела Ида: непомерно узкое плоское тело, длинные, почти «геометрические», ноги, взмахи рук и колен, похожие на «удары острых мечей», – все это никак не отвечало балетным канонам. Но Фокин вспомнил, что он считается новатором… Вдобавок деньги за урок эта несуразная особа платила совершенно безумные. А уж упорство-то какое проявила! Как будто не танцевать училась, а боролась за жизнь!

И вот 20 декабря 1908 года в Петербурге наконец-то состоялась столь страстно чаемая Идой премьера «Танца семи покрывал». В финале танца Саломея раздевалась почти догола, оставаясь в одних бусах. Впечатление было сильное: все-таки голая женщина, пусть и жуткого телосложения…

Мнения зрителей разделились. Станиславский назвал ее «бездарно голой». Но кое-кто, безусловно, считал, что она голая вполне талантливо. Известный театровед В. Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, которая пленила древнего Ирода; в ней – гибкость змеи и пластичность женщины, в ее танцах – сладострастно окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти…»

А Ида тем временем отправилась на завоевание Парижа!

В конце 1908 года «Танец семи покрывал» был поставлен в парижском мюзик-холле «Олимпия».

Это стоило Иде таких денег, что родственники всерьез усомнились в ее душевном здоровье. По их просьбе парижский врач Левинсон, принадлежавший к одной из ветвей семьи, упрятал ее в сумасшедший дом. Через месяц Ида выбралась из застенков и, чтобы избавиться от опеки, быстро вышла замуж за своего кузена Владимира Горовица. Брак был расторгнут немедленно после медового месяца, но Ида получила теперь деньги в свое собственное распоряжение.

«Ни микрона банальности!» – эти слова стали ее девизом. Что и говорить, ее особняк в Париже поражал всякое воображение эксцентричным убранством.

«Дом просторный и тихий. В большой гостиной комнате висит тяжелый занавес, скрепленный золотыми кистями, как в театре. Встроенные в одну из стен зеркала придают комнате таинственность, удлиняя ее. Сенегальские инструменты пыток зловеще мерцают в темном углу, искусно развешанные ткани из Абиссинии образуют как бы вход в пещеру Аладдина, из древних Афин статуя оракула с застывшими чертами, японские боги и божки, самурайские мечи, будто ждущие жертвы.

Ида Рубинштейн, чье платье гармонирует с этими расцветками, проходит мимо, загадочная, и улыбается. Иногда, в порыве восхищенного экстаза, она бросала на дно бокала бриллианты, снятые с длинных пальцев.

Тропинки в саду были уложены голубой мозаикой. Здесь фонтан. Здесь беседка из вьющихся растений. Неожиданно появляются розовато-лиловые гиацинты, затем азалии перламутровых оттенков, затем, как белопарусная армада средь волн, одурманивают ароматом стройные ряды лилий, поднявшиеся над голубой подстриженной травой. Разительные переходы, резкие, волшебные!

В этом волшебном саду разгуливали недовольно цокающие павлины. Среди зеленых крон летали райские птицы, которые, благодаря хитроумно размещенным клеткам, казалось, находились на свободе. Иногда к гостям выводили любимицу Иды – маленькую пантеру, которая охраняла ее спальню…» – так отзывались о ее доме очевидцы.

Кстати, о пантере.

В это же время в погоне за острыми ощущениями Ида начала ездить охотиться на львов в Африке и медведей в Норвегии. Приведем выдержку из автобиографической статьи, появившейся, когда она была на вершине славы: «Вам угодно знать про мою жизнь? Я лично делю ее на две совершенно самостоятельные части: путешествия и театр, спорт и волнующее искусство. Вот что берет все мое время. Одно велико, другое безгранично. Я то уезжаю в далекие страны, то подымаюсь в заоблачные сферы, по крайней мере, мне лично так кажется. Что же по этому поводу думают остальные, меня интересует меньше, чем вы можете думать. Вероятно, многих удивит такая безалаберная, кочующая жизнь, при которой я не знаю, что будет со мной через неделю. Я же нахожу в ней наибольшую прелесть. Без этого я не могла бы вовсе жить. Мне необходима смена, и полная смена впечатлений, иначе я чувствую себя больной».

Некий знаменитый поэт выразился о некой знаменитой поэтессе: «Скучна, беспола и распутна». Эти слова почти точно подходят к Иде. Почти – потому что она, конечно, была беспола и распутна, как никто другой, но скучна – о нет! От других очень богатых женщин, которые подкрепляют свои убогие прихоти несметными деньгами, она отличалась тем, что находила несметным деньгам применение в удовлетворении своих невероятных прихотей.

Но самой желанной прихотью по-прежнему оставался театр.

И наконец-то Ида его заполучила!

Обратимся к воспоминаниям Натальи Трухановой – балерины, но настоящей, не любительницы, покорившей в свое время Париж.

«Рубинштейн была презентована Парижу в 1909 году самим гениальным Сергеем Дягилевым. Гений Дягилева, увы, имел пределы. И пределы эти определяли деньги. Дягилеву, прославившему русское искусство по всему миру, приходилось идти и на компромиссы разного свойства.

Расставшись с мечтами о посте русского министра изящных искусств и растратив на подготовку своих постановок все имеющиеся у него чужие, кстати, деньги, Дягилев перед самым открытием своего первого сезона в Париже очутился в затруднительном положении.

Случай свел его в Петербурге с Идой Рубинштейн, женщиной, располагавшей крупными денежными возможностями и жаждавшей найти применение своей бездарности. Для Дягилева встреча эта была находкой, для Рубинштейн – тоже.

Благодаря денежным средствам, предоставленным Рубинштейн в связи с включением в труппу, Дягилеву удалось начать свой первый сезон в Париже.

Это единственный плюс в артистической деятельности Рубинштейн.

Нужно отдать Дягилеву должное, он оказался благодарным человеком и предоставил Рубинштейн условия контракта такие блестящие, каких никогда ни один высокопоставленный артист при дебюте не имел.

Рубинштейн обладала совершенно выдающейся внешностью. Серов запечатлел Рубинштейн на ставшем знаменитым портрете. Модель изображена обнаженной, но так мастерски, что она не кажется обнаженной. Перед нами – паукообразное, противное любому канону красоты создание, отнюдь не представляющее собой соблазнительное женское тело. Это скорее геометрическая схема или подобие энигматической[28] фигуры на египетских горельефах.

Дягилев со свойственным ему гением извлек, однако, из этих данных необычайный эффект.

Одним из первых балетов, представленных Дягилевым в Париже, была «Шахерезада». Исключительная постановка, а главное – Нижинский вызвали величайший восторг публики. В роли Зобеиды появилась Рубинштейн. Именно появилась! Она не играла. Она просто проходила в чудесном костюме через сцену, доминируя над всеми участниками балета своим ростом, ложилась на утопавшее в золотых тканях и пестрых подушках ложе и, застыв в царственной позе, наблюдала за поистине

сказочно-прекрасным сценическим действием.

Кульминацией был эпизод, когда неожиданно возвратившийся с охоты султан Шахриар чинил расправу над своим разбушевавшимся гаремом. Тут Зобеида вставала во весь рост, и, покоренный одним видом девушки, властитель заключал ее в свои объятия.

Занавес. Фурор.

И правда, окруженная великолепными исполнителями, но бездействующая, Рубинштейн, по сути, не танцовщица, а мимистка, производила необычайное впечатление.

На следующий год Дягилев показал ее в «Клеопатре» Черепнина. И опять в смысле исполнения, играя роль, она не играла, а как бы присутствовала в общем действии. Вновь она явилась только видением, напоминавшим своей бирюзовой одеждой и синим париком голубые лотосы».

На минуточку отвлекаясь от цитаты, добавим, что именно Ида Рубинштейн ввела в моду цветные волосы.

«По одной роли судить артиста трудно и несправедливо. Но уже в следующей роли все его свойства, качества и недостатки обрисовываются вполне определенно. Так и в случае с Рубинштейн. Вторая роль давала право решать, что именно представляет собой исполнительница. Рубинштейн могла появляться лишь в роли красивейшего видения, но оставаться совершенно чуждой выразительному искусству.

Ни темперамента, ни характера».

Наталья Труханова, безусловно, права по-своему: Ида была как балерина бездарна и бесталанна. Однако она никого и не пыталась убедить в своем таланте! Она наслаждалась самим процессом пребывания на сцене, игры, участия в спектакле. И на мнение той же Трухановой и всех других Иде было просто на-плевать.

Тем паче что существовали и совершенно другие мнения о ее выходах на сцену и вообще о спектаклях, поставленных Дягилевым.

Его знаменитые «Русские сезоны» изменили представление высокомерной европейской публики о культуре России. Сначала Дягилев представил пять исторических концертов, составленных из произведений М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, А. Лядова, А. Глазунова. В 1909 году были показаны балетные постановки – «Павильон Артемиды», «Сильфиды», «Клеопатра», в которых приняли участие звезды русского балета – Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин. До этого в Париже считали, что в России балета нет. Но с первых же спектаклей стало

понятно, что он не только есть, но и далеко обогнал западный. «Русские сезоны» не только утвердили в умах европейцев значение русской музыкальной культуры. Нет никакого сомнения в том, что русский модернизированный балет оказал прямое влияние на современный французский балет.

Но постепенно Париж подустал от феерии русской живописи, русской музыки, русского пения, русского балета. Тут-то Дягилев и приготовил «жирную устрицу для гурмана». Вернее, не жирную, а очень даже постную. Но Ида Рубинштейн, безусловно, добилась желаемого эффекта именно своей нетрадиционностью и неклассичностью.

Когда критики писали о ее танцах, они отмечали статическую выразительность и «сладостно-окаменелую грацию». Фокин, например, хвалил Иду за то, что «большой силы впечатления она добивалась самыми экономными, минимальными средствами – сила выражения без всякого движения».

«Царица Египта постепенно лишалась своих покровов и предавалась любовному экстазу у всех на глазах, причем лишь в самый критический момент являлись услужливые придворные дамы, окружавшие занавесками ложе любовников». Гвоздь зрелища был в том, писал Александр Бенуа, что после обнажения являлась «не хорошенькая актриса в откровенном дезабилье, а настоящая чаровница, гибель с собой несущая». Рассказывали, что в зале стояла такая тишина, словно зрители давно покинули его. Между тем это было беззвучье шока! В рецензиях писали не об овациях: зал просто выл от восторга. Рубинштейн, как писали, буквально затмила выступавших одновременно с ней и Павлову, и Карсавину, и Нижинского, и Фокина.

Кстати, Вацлав Нижинский, танцевавший вместе с ней в «Шахерезаде», назвал Иду в этой роли совершенно бесподобной, хотя она, строго говоря, не танцевала, а лишь принимала на сцене эффектные позы в эффектных туалетах.

Ну да, фигурантка, гениальная фигурантка – в этом амплуа Ида Рубинштейн осталась единственной и неповторимой на всю жизнь.

И вот именно в эти дни, когда парижане уже не могли ни о чем говорить – только об Иде, все об Иде, когда в один день она стала знаменитостью века, когда она смотрела с реклам и афиш, с коробок конфет, с газетных полос – вся обворожительная, непостижимая, – в Париж приехал знаменитый русский художник Валентин Александрович Серов.

…Да, в это время он был уже знаменит. Жанром, в котором он преуспел более всего, являлся портрет. Рассказывают, что

Серов подолгу сочинял «сюжет портрета»: поведение модели сначала подсказывало, диктовало ему самую эффектную мизансцену, после чего та же модель превращалась в актера, от которого режиссер-художник добивался искусной сыгранности этой мизансцены, точного попадания в заданный рисунок роли. Совершенно театральный подход к теме и модели!

Отцом его (Серов родился в 1865 году) был известный композитор Александр Николаевич Серов. В сорок три года Александр Николаевич женился на своей семнадцатилетней ученице Валентине Бергман. Их дом всегда был всем открыт и полон молодежи. Общество же Александра Николаевича было самое интеллигентное и аристократическое: Тургенев, Антокольский, Ге…

После смерти отца Серова отдали в обучение Карлу Кеппингу, впоследствии известному художнику-оформителю. Потом он учился в Париже, позднее – в Москве у Репина. В 1880 году по его рекомендации Серов поступил в петербургскую Академию художеств в класс профессора Павла Петровича Чистякова, воспитавшего в свое время Сурикова, Поленова, Репина, Врубеля. Как педагог Чистяков был суров: «Ученики что котята, брошенные в воду: кто потонет, а кто и выплывет. Выплывают немногие, но уж если выплывут – живучи будут». Серов беспрекословно подчинялся учителю, а тот гордился им: «В такой мере, какая была отпущена Богом Серову всех сторон художественного постижения в искусстве, я еще не встречал в другом человеке. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция – все было у Серова, и было в превосходной степени».

В 1886 году Валентин Серов впервые принял участие в выставке Московского общества любителей художеств, был замечен и одобрен – именно благодаря портретам оперных знаменитостей. Потом были созданы «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд».

Постепенно он стал модным художником. Писал портреты на заказ богатым и известным людям, но иногда уезжал подальше от света – на дачу в Финляндию или в Тверскую губернию, где писал виды русской природы.

В 1900 году, порвав с Товариществом передвижных выставок, Серов стал официальным членом объединения «Мир искусства». Именно тогда он обратился к исторической живописи. Его картина «Петр I» вызвала восторг ценителей, несмотря на то (или вследствие того), что Серов увидел императора совершенно нетрадиционно. О Петре I он судил так: «Обидно, что его, этого человека, в котором не было ни на йоту тщеславности, оперы,

всегда изображают каким-то оперным героем и красавцем. А он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головою, чем на живого человека. В лице у него был постоянный тик, и он вечно «кроил рожи»: мигал, дергал ртом, водил носом и хлопал подбородком. При этом шагал огромными шагами, и все его спутники принуждены были следовать за ним бегом. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек иностранцам и как страшен он был тогдашним петербуржцам». Именно таким изображен Петр на серовской картине.

Кроме исторической, Серова привлекала и античная тема: «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая». Античность он воспринимал как декоративно-прекрасный, фантастический сон, даже более убедительный, чем реальность.

И тут вдруг (или не вдруг?) реализм приелся художнику. Резко изменилась манера его письма. Для дягилевских «Сезонов» он создал афишу с портретом балерины Анны Павловой, где небольшим количеством точных, изящных штрихов углем и мелом на темно-голубом фоне добился такой воздушности рисунка, что балерина кажется летящей ввысь, «как пух из уст Эола». Афиша была так удачна, что о ней говорили больше, чем о самой балерине.

Теперь ему был заказан «персидский» занавес для балета «Шахерезада».

И вот он в парижском театре «Chatelet» увидел Иду, познакомился с ней и получил предложение написать ее портрет.

— Монументальность в каждом ее движении, – восхищался Серов, увидев ее на сцене. – Да ведь это оживший архаический барельеф!

Художник точно заметил: Фокин выработал в танцовщице плоскостной поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид.

Лицо Иды, по воспоминаниям одного из современников, было матовым, без румянца, с овалом, как бы начертанным без единой помарки счастливым росчерком чьего-то легкого пера, лицо некой древней эпохи, которое неведомыми путями дошло до начала XX века, сохраняя тайну уже не существующих далеких цивилизаций.

Серов был очарован:

— Увидеть Иду Рубинштейн – целый этап жизни, ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще лицо человека… Вот кого бы я охотно писал!

Что ж, желание его вскоре исполнилось. И оно оказалось

взаимным. Серов хотел изобразить Иду в том наряде, в каком венецианские патрицианки позировали Тициану. Это будет, размышлял Серов, вариант артистического костюмированного портрета. Только костюмом в данном случае явится нагота…

— Разумеется, – сказала Ида, узнав об этом от Бакста. – А как же иначе… Где?

В то время мастерской Серову служила большая зала домашней церкви бывшего монастыря Ля Шапель с цветными витражами и сводами. Ида пришла в восторг, узнав об этом. Потом она признается, что мысль сыграть католическую святую (святого!) возникла у нее именно в то время, когда она позировала Серову.

Она была нежна, как персик, как мимоза, и Валентин Александрович постоянно опасался, что это животное-насекомое-змея-женщина, которую он так неудобно усадил на ложе, сооруженное из чертежных досок, подставив под него табуретки, озябнет.

Ида приходила с камеристкой, которая помогала ей раздеться, а потом уходила.

Между моделью и художником царила странная натянутость. В основном они молчали, только иногда Серов подсказывал, как сесть, как повернуться. Или рассказывал, что хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого блеска и стал работать матовой темперой.

Как-то раз камеристка ушла, и вдруг оказалось, что она забыла надеть перстни на ноги Иды. Перстни лежали на покрывале.

— Помогите мне, – приказала художнику – именно так! – Ида.

Серов подошел со странной покорностью, взял в ладонь ее узкую, длинную, ледяную ступню. Надел один перстень, другой… Хотел отойти, но почувствовал вдруг невыносимую усталость под взглядом тусклых черных глаз своей модели.

Взгляд у Иды был странно невыразительный. Именно это и подавляло, делало его гипнотическим. Серов и сам обладал очень сильным взглядом, его мать иногда даже просила, умоляла не смотреть на нее пристально, однако глаза Иды показались ему куда страшнее.

Он хотел сказать об этом, но вместо этого проговорил:

— У вас рот как у раненой львицы…

Она усмехнулась.

— Все, – наконец сказал он и собрался встать, но в это время Ида вдруг откинулась на спину и обвила его за шею… ногами.

Рот как у раненой львицы? А все остальное?..

Ну, этого выдержать было уже невозможно!

Они накинулись друг на друга и торопливо совокупились, дав наконец выход взаимно изнурявшему их желанию.

Ну, теперь можно было спокойно работать!

Что самое странное, отныне они оба воспринимали друг друга именно как сотрудников: вот художник, вот модель, вот холст, вот кисти… И мысли не могло возникнуть о повторении!

Наконец портрет был готов, и Серов уехал в Москву.

В 1911 году картина была отправлена на Всемирную выставку в Рим. И разразился именно тот скандал, которого и ожидал Серов…

— Зеленая лягушка! Грязный скелет! Гримаса гения! Серов выдохся, он иссяк и теперь фокусничает! Это лишь плакат!

— Это гальванизированный труп! – сказал Репин.

— Это просто безобразие! – сказал Суриков.

С наибольшим пониманием отнеслись к портрету те, кто не только видел Иду на сцене, но и знал ее лично. И они уверяли: «Угловатая грация тела, раскидистость несколько надменной, смелой и хищной позы во всяком случае нам дают законченный образ женщины, оригинальной по интеллекту, характеру, не лишенной чего-то влекущего, но не обещающей уюта».

Серов умер в разгар скандала, содеянного им самим. И, как это часто бывает, смерть творца явилась лучшей рекламой его творению. Все разом переменилось! Публика хлынула в Русский музей (портрет был передан туда), чтобы увидеть «Иду», которая стала входить в классику русской живописи. И постепенно сложилось последнее, решающее мнение критики: «Теперь, когда глаза мастера навеки закрылись, мы в этом замечательном портрете Иды не видим ничего иного, как только вполне логическое выражение творческого порыва. Перед нами – классическое произведение русской живописи совершенно самобытного порядка…»

Ну-ну… Вернее, ню-ню…

Не женщина, а какая-то ходячая стилизация эпохи модерна. Вернее, сидячая! Ее облик до карикатурности соответствовал модному словечку «декадентство».

Итак, портрет кисти Серова был лишь частью ее бурной биографии. Право, о ней стоит еще поговорить!

«Странная внешность Рубинштейн быстро приедалась зрителю, приходило ощущение пустоты, холода и скуки. Оно переходило в досаду и раздражение по мере того, как разгоралось общее действие и выделялась блистательная игра других исполнителей.

Дягилев отдавал себе в этом отчет лучше кого бы то ни было, но все его старания создать новую Галатею оказались тщетными. Что можно извлечь из пустоты? И, потеряв терпение, невзирая ни на что, Дягилев рассорился и расстался с Рубинштейн», – так рассказывает о дальнейшем Наталья Труханова.

Но, покончив с Дягилевым и Серовым, Ида Рубинштейн начала самостоятельную деятельность. Она заказывала музыку, переманивала к себе сотрудников Дягилева. Она сама занималась хореографией и потом исполняла главные роли. В роскошно-шокирующей эстетике были поставлены для нее балеты «Пиршества Психеи и Амура» на музыку Баха, «Поцелуй феи» Стравинского и т д.

Потом Ида отбыла в Венецию. У нее в то время вдруг завязался роман с одним из самых странных людей XX века – с Габриэле Д'Аннунцио, уже упоминавшимся выше.

Он был необычайно популярен как писатель (его европейскую славу составили «Пескарские рассказы», «Джованни Эпископо», «Невинный», «Непобедимое» и еще многие другие произведения, в том числе пьеса «Триумф смерти») и как любовник, хотя в отношениях с женщинами Д'Аннунцио был крайне эгоистичен. Молодая Айседора Дункан вспоминала о нем: «Этот лысый, невзрачный карлик в разговоре с женщиной преображался, прежде всего в глазах собеседницы. Он казался ей почти что Аполлоном, потому что умел легко и ненавязчиво дать каждой женщине ощущение того, что она является центром вселенной».

Напомним, что много лет его верной подругой была знаменитая актриса Элеонора Дузе.

Вокруг него вились совершенно несусветные венки легенд: утверждали, что поэт пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из человеческой кожи; что каждое утро Д'Аннунцио купается в морском прибое нагой, верхом на коне, а на берегу его поджидает Дузе с пурпурной мантией в руках, чтобы накинуть ее на плечи Габриэле после купания.

«Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам» – вот таким было его жизненное кредо, вполне схожее с кредо Иды Рубинштейн. Однако его финансовые обстоятельства были куда печальнее! Его долги доходили до двух миллионов тогдашних лир (сумму эту можно было приравнять к стоимости пяти тонн серебра), а само имя Д'Аннунцио приобрело в Италии крайне одиозный оттенок.

В 1908 году преследуемый кредиторами, Д'Аннунцио пошел, в сущности, на мошенничество: ему предложили турне по Латинской Америке, в ходе которого Д'Аннунцио должен был

выступить с публичными лекциями. Гонорар предполагался огромный. Аванс Д'Аннунцио взял, но в Латинскую Америку не поехал. Сказав, что сперва должен подлечить зубы в Париже, Габриеле отправился во Францию. Вместо недели он провел там без малого семь лет.

Явление Д'Аннунцио в Париж было триумфальным. Габриэле в компании с новой спутницей жизни, русской по происхождению, Наталией Кросс-Голубевой, окунулся в феерическую жизнь довоенного Парижа. Интерес к скандальному писателю подогревался также тем, что Д'Аннунцио в то время стал активным проповедником двух новомодных увлечений: авиации и кинематографа.

Кстати, именно он изобрел чисто итальянское слово для обозначения летательного аппарата – «velivolo», в противоположность интернациональному «аэроплан». В этом он сходен с Велимиром Хлебниковым, который обогатил русский язык словом «самолет».

Кинематограф был большой страстью поэта: первый свой контракт на написание сценария Габриэле заключает в 1910 году, таким образом, как кинодраматург он оказался фактически пионером среди именитых литераторов того времени. И хотя контракты он редко выполнял (и не только в области кино – заключать договоры с издателями на вымышленные или еще не написанные произведения и в особенности получать авансы по этим договорам было для Д'Аннунцио делом привычным), ряд фильмов по его сценариям все же был поставлен. И в первую очередь невероятная для своего времени шестичасовая (!) киноэпопея «Кабирия». В этом псевдоисторическом фильме из жизни Древнего Рима все было задумано и исполнено с размахом: битвы гладиаторов, египетские пирамиды, «настоящее» извержение Этны…

Сниматься в фильме пригласили Иду Рубинштейн – она как раз была на волне успеха после «Клеопатры», но уже рассталась с Дягилевым. Ида согласилась; сюжет фильма был в том духе, который всегда привлекал ее: смертельная схватка страстей на фоне роскошных пейзажей. Немота экрана оказалась для нее как нельзя более кстати, ведь у Иды не было никаких голосовых данных. Критика, правда, не обратила на фильм никакого внимания, но Ида собой на экране явно осталась довольна и, видимо, решила продолжать дружбу с Д'Аннунцио.

В своем литературном салоне, где блистали Андре Жид, Жан Кокто, Эмиль Верхарн, Ида познакомила Д'Аннунцио с Клодом Дебюсси и Львом Бакстом. Результатом этого знакомства стала самая известная работа Д'Аннунцио парижского периода – драма

«Мученичество св. Себастьяна». Она была поставлена в 1911 году – с музыкой Дебюсси, декорациями Бакста и… с Идой Рубинштейн в главной роли. Премьера состоялась в театре «Шатле» в совершенно исключительной по красоте обстановке.

Увы, как драматическая актриса Ида Рубинштейн ничего из себя не представляла, а потому, несмотря на внешнее великолепие, итог спектакля был плачевным.

Фигура Рубинштейн – Себастьяна, состоявшая из сухих, почти мертвенных углов, напоминала иконописные изображения и выглядела в костюмах по эскизам Бакста очень живописно, хотя и страшновато. Глухим замогильным голосом она четко, без малейшего акцента, произносила чудный французский текст… Но, как и в прежних ролях, Рубинштейн пребывала вне действия. И, глядя на нее, невозможно было отвязаться от томительной скуки в течение пятичасового (!) спектакля.

Французы отчаянно скучали и брюзжали:

— А кто же мученик, святой или публика?!

И добавляли, что подобное впечатление можно было получить, просидев с полчасика в склепе.

«Во время спектакля невозможно было распознать, какого пола госпожа Рубинштейн», – писали рецензенты.

Публика – это «многоголовый зверь», который, по меткому выражению все той же Натальи Трухановой, все прекрасно понимает, а если не понимает, то чувствует. Реакция ее проста и беспощадна: она не ходит на скучные спектакли. Как ни старались владельцы бистро, консьержки и бакалейщики – главные распространители удешевленных или вовсе дармовых билетов, к какой рекламе ни прибегала сама Ида Рубинштейн, зрительные залы оставались пустыми.

Между прочим, эта затея дорого обошлась Д’Аннунцио. Женщина, игравшая святого Себастьяна, была еврейкой да еще и лесбиянкой! Восьмого мая 1911 года декретом священной конгрегации Д’Аннунцио был отлучен от церкви, а католикам было воспрещено чтение его произведений и посещение постановок его пьес. Конфликт со Святым престолом удалось загладить только спустя двадцать пять лет, уже перед самой смертью Габриэле.

Впрочем, Д’Аннунцио не больно-то переживал и в Париже не изменял ни одной из своих привычек: он расстался с Голубевой и закрутил романчик с Идой, а потом с ее любовницей, американской художницей Ромен Брукс.

Между тем Ида продолжала штурмовать театральный Олимп. Она обиделась на публику, которая ничего не понимает, и

вспомнила свои успехи в балете. Она ежегодно повторяла в Париже свои гала-представления, в которые непременно входили балетные номера. Например, она танцевала в «Умирающем лебеде» Сен-Санса. В этом прелестном этюде Ида добросовестно повторяла все движения Павловой, но, как выразилась ехидная Наталья Труханова, походила на Павлову так же, как фольга на бриллиант.

Игры в театр продолжались. В 1912 году появилась «Елена Спартанская» по поэме Эмиля Верхарна. Через год – роскошнейший спектакль Мейерхольда по исторической пьесе Габриэля Д'Аннунцио о пизанской блуднице, стоивший Иде 450 тысяч франков. Ее героине была уготована «душистая смерть – задохнуться в букетах роз».

После Первой мировой войны Ида решила, как она выражалась, помочь русским эмигрантам и взялась за постановку в театре «Водевиль» пьесы по роману Достоевского «Идиот». Оформлял спектакль Бенуа, ставил французский режиссер Бур.

Декорации и костюмы Александра Бенуа восхитительно передавали русскую обстановку 70–80-х годов XIX века. Домотканые, в пеструю полоску дорожки посреди комнат, фикусы на бамбуковых треножниках, герань и кенарь на подоконнике, безвкусные хрустальные канделябры и штофная мебель, резная фигура негра, декорированная пальмовыми позолоченными листьями, с подносом в форме раковины для визитных карточек в руке, тяжелые ширмы, портреты в овальных рамках, китайские вазы с букетами из радужно раскрашенного ковыля – все это безумно напоминало русским зрителям недавно утраченную старую Россию.

Однако Ида Рубинштейн в роли Настасьи Филипповны оказалась безнадежна.

Великолепная игра Капеллани в роли Рогожина и Бланшара в роли Мышкина не смогла спасти положения, а только усугубила ничтожество исполнительницы роли Настасьи Филипповны.

Надолго запомнился очевидцам финал спектакля!

Вот как описывала его Труханова: «На Настасье Филипповне было надето выполненное по рисунку Бенуа совершенно замечательное по варварской роскоши подвенечное платье со шлейфом, отделанным воланами из 25 метров настоящих брюссельских кружев ручной работы. Подобными сокровищами, конечно, не располагали ни Режан, ни Дузе…

Декорация последнего акта представляла собой зловещий гостиничный номер со стоящим посредине ломберным столом. Перегородка из выцветшего зеленого репса отделяла эту часть комнаты от спальни, где Рогожин задушит свою нареченную.

После трагической сцены, которую Рогожин вел почти как монолог, Настасья Филипповна, заранее знающая свою судьбу, уходит за перегородку, где ее ожидает смерть.

Рубинштейн, подав последнюю реплику, очень аккуратно и осторожно подобрала рукой свой многотысячный шлейф, но платье зацепилось в проходе. Она бережно его отцепила и не успела выйти, как в зале с галерки раздался голос:

— Да ладно! Раз идешь на смерть, наплевать на платье!

Тем временем за кулисами Рубинштейн, осматривая платье, с досадой воскликнула:

— Подумать только! Двадцатипятитысячное кружево!

Мадам Ден-Грассо, ветеран театра и великолепная артистка, находившаяся как раз в этот момент за кулисами, с презрением заметила:

— Нет! Это не артистка! Это вульгарная актерка, которая, помимо всего, и сборов не делает! В наше время на платье внимания не обращали. Довольствовались талантом.

Пьеса безнадежно провалилась. Париж бойкотировал ее.

После спектакля Рубинштейн больше на сцене не появлялась».

Нет, тут госпожа Труханова явно приняла желаемое за действительное.

В 1923 году Ида Рубинштейн сыграла в «Даме с камелиями», в 1924-м – танцевала в балете «Истар» по сценарию и в сценографии Бакста. В 1928-м Морис Равель написал для нее (да-да, по ее заказу!) свое божественное «Болеро».

Сам композитор говорил: «Я написал всего лишь один шедевр – «Болеро», но, к сожалению, в нем нет музыки».

Неужели нет?

Равель сочинил «Болеро» летом 1928 года в своем уединенном доме под названием «Бельведер» в пятидесяти километрах от Парижа, в маленькой деревушке Монфор-л'Амори.

Первое исполнение «Болеро» состоялось 22 ноября 1928 года в Гранд-опера. Балет поставила сестра Вацлава Нижинского, Бронислава, первая женщина-балетмейстер. Единственную сольную партию танцевала Ида Рубинштейн, а художником спектакля был Александр Бенуа. Таким образом, на сцене Гранд-опера как бы воскресли «Русские сезоны».

Давно замечено, что в «Болеро» Равеля очень мало общего с подлинным испанским танцем, с настоящим испанским болеро. Труднее всего воспринимают произведение Равеля именно испанцы. Они настроены на другую музыку. Подлинное болеро идет по крайней мере вдвое быстрее равелевского. Идет под

аккомпанемент гитары, кастаньет. Есть там и барабаны. В общем, все очень живо, очень приподнято, темпераментно. У Равеля тоже есть темперамент, он огромен, но как-то скован, стиснут.

У Равеля было странное представление о своем сочинении. В последовательности двух тем он почему-то усмотрел непрерывность заводского конвейера. Ему хотелось, чтобы на сцене в балете на музыку «Болеро» изображался завод.

Музыковеды уверяют, что «самое изумительное в «Болеро» – это динамическая тембровая прогрессия, не имеющая прецедентов в истории музыки». Мы же, дилетанты, можем просто сказать: это потрясающая музыка. Хотя на многих слушателей 1928 года «Болеро» производило гнетущее впечатление. Им казалось, что некий узник движется по кругу внутри четырех стен и никак не может вырваться за пределы жестко очерченного пространства.

«Болеро» имело оглушительный успех в Европе, поистине успех шлягера. Тему «Болеро» напевали всюду – в коридорах отелей, в метро, на улице. Она оказалась музыкальной темой века. Не восхититься фантастическим, феерическим мастерством Равеля было невозможно.

Отчего так любимо это произведение, отчего оно так захватывает?

Существует мудреное слово – суггестия, то есть способность внушать. Слушая равелевское «Болеро», мы оказываемся в состоянии поистине гипнотическом.

И постановка балета получилась потрясающей – Бронислава Нижинская оказалась достойной сестрой великого брата!

Вслушиваясь в две музыкальные темы, преобразованные оркестровыми средствами, Ида танцевала на столе в трактире. Пирующие гуляки прислушивались, постепенно оживлялись, захваченные наваждением, возбужденно приближались к столу и… захлестывали танцовщицу.

По этому образцу – идол и толпа – «Болеро» впоследствии будут ставить лучшие хореографы XX века. Сначала в центре стола будет танцевать женщина, а вокруг – мужчины. Потом «идолом» окажется мужчина, окруженный возбужденными женщинами: Дионис и вакханки. Позднее – танцующую женщину будет вожделеть разнополая толпа. И вот наконец юношу на столе окружают только парни…

Tempora mutantur et nos mutamur in illis![29]

Но вернемся в прежние tempora.

Успех первой постановки «Болеро» был весьма скромным. Кто-то танец и игру Рубинштейн находил неплохими, другие придерживались противоположного мнения, а один из критиков

вообще обозвал Иду «длинной, как день без хлеба».

Истинный триумф к балету «Болеро» придет через двадцать лет, когда к музыке Равеля обратится Морис Бежар. Вместе с только что организованной им труппой «Балет XX века» он создаст настоящий балетный шлягер, по сей день поражающий своей страстью, энергией и сексуальностью.

Самомнение Иды Рубинштейн, как всегда, ни чуточки не было поколеблено сдержанным приемом балета.

Журналист Лев Любимов брал в Париже интервью у сорокатрехлетней Иды: «Как только она появилась на пороге, я испытал то же, что, вероятно, испытывал каждый при встрече с ней: передо мной было словно видение из какого-то спектакля… Все в ней было от древнего искусства мимов. В муслиновом белом тюрбане, закутанная в облегающие ее соболя, она сидела затем на диване среди больших розовых подушек. Я задавал ей вопросы, она отвечала мне то по-французски, то по-русски…»

В 1934 году Игорь Стравинский написал для нее балет «Персефона». А в 1939-м Ида в последний раз показалась на сцене – выступила в драматической оратории Онеггера «Жанна д'Арк».

О нет, никакие разгромные рецензии не способны были подточить ее уверенности в себе! Но началась война. Франции грозила оккупация. Для Иды Рубинштейн это было смерти подобно.

Она перебралась в Англию. Здесь, в Лондоне, с поразительной и неожиданной самоотверженностью работала она в лазарете, выхаживая раненых, много жертвовала на содержание госпиталей. Никто не знал ни ее настоящего имени, ни тем паче одиозной, скандальной славы.

В Лондоне она сторонилась шумных сборищ. Не делала ни малейшей попытки войти в высшее общество. Категорически отказывалась от любого упоминания в прессе ее имени. И, что самое удивительное, проявляла полное равнодушие к театральной жизни.

Она не просто постарела – она забыла о том, что была молодой. Видимо, война, постоянный страх смерти породили сильнейший душевный кризис, который уничтожил все пристрастия бурного прошлого.

После войны Ида вернулась во Францию, но не в Париж, а в провинцию, на Французскую Ривьеру, в Ванс, где купила виллу «Les Olivades». Там она приняла католичество (можно предположить, умолчав о своем эпатажном святом Себастьяне и его мучениях, а может быть, наоборот, щедро покаявшись в грехах). Жила она одиноко, пока не умерла от сердечного приступа в 1960 году, оставив четкие распоряжения о своих

похоронах. Женщина, смыслом жизни которой когда-то была известность любой ценой, теперь сделала все, чтобы остаться безвестной: запретила давать извещение о своей смерти в газетах, запретила объявлять время кремации и место захоронения.

На надгробии следовало высечь только две буквы: *I. R. И* никаких дат и надписей.

* * *

Когда-то в своей книге «Александр Бенуа размышляет» сей добрый друг и знакомый Иды Рубинштейн восклицал: «Бедная, честолюбивая, щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь, что с нею?..»

Несмотря на бурную, невероятную, причудливую судьбу, об Иде Рубинштейн вряд ли кто вспоминал бы, если бы не портрет кисти Серова. Он по-прежнему вызывает самые полярные мнения. Конечно, можно сколько угодно повторять затверженные фразы искусствоведов о мастерстве Серова и неземной красоте Иды Рубинштейн, но… Ни один нормальный человек не назовет ее красавицей. Да и, будем откровенны, на портрете изображена ведь не она – в картине отразилось извращенное желание Серова. Ида больна уродством и несчастна от этого. Но – какое желание быть красавицей и какие возможности!

Честь и хвала Иде за то, что она смогла использовать то великое и малое, что было даровано ей судьбой.

* * *

Ну вот, все сказано, все приговоры вынесены и точки над і поставлены. Только отчего ж беспрестанно вспоминается одна строка из Оскара Уайльда:

«Как красива царевна Саломея сегодня вечером!»

Может быть, она и вправду была красива?

И еще: что же все-таки есть красота и почему ее обожествляют люди?

Черные глаза (Василий Суриков – Елизавета Шаре)

О чем ты думаешь? О чем ты *так д*умаешь?!

Она молчала, только глядела в пространство странно остановившимися глазами.

— Лизонька! Очнись! Скажи что-нибудь! Где ты?

Молчание.

Ему стало страшно.

Вскочил из-за мольберта и вдруг крикнул, словно по наитию:

— Маша! Мария!

Черные глаза медленно обратились на него:

— Что велишь, батюшка?..

И тут же глаза оживились, подернулись слезой смущения:

— Васенька, милый! Прости! Ты звал? Я не слышала. Так задумалась, словно вовсе и не здесь была.

Он поглядел исподлобья, ревниво:

— Понял, понял, что не здесь. А где? Что ты видела там, где была? Скажи, Лизонька!

— Холодно было, – пробормотала она не сразу. – Окна затянуты рыбьими пузырями, а какое с него тепло? Ветер так и сквозил. Либо в темноте сиди, либо мерзни. На ночь окна завешивали оленьими шкурами. Шкуры плохо выделаны были, коробились, от них смрадный дух по избе стоял. Такие же шкуры и на полу набросаны были. А пол земляной, промороженный. От него стынь по всему телу. До самого сердца холод пронимал. Но я сидела и сидела на том полу, нарочно сидела, чтобы поскорей замерзнуть до могильной стужи…

Суриков схватил Елизавету в объятия, рывком поднял с пола:

— Не сиди тут! Не говори так! Не ты, а она, она там сидела! Не Лизонька, а Маша! Заморил я тебя совсем! Заморозил! Ух, какие руки холодные! – Он торопливо осыпал поцелуями дрожащие бледные пальцы. – Хочешь, самовар поставлю? Тебе согреться надо.

— Ох, нет! – Жена провела дрожащей рукой по лбу. – Не до чаю. Пора ужин собирать.

Она поцеловала Сурикова холодными дрожащими губами и, сбросив на стул черный бархатный салопчик, пошла на кухню.

Суриков мрачно поглядел на потертый бархат. Ткань совсем тонкая. Нет, этот салопчик надобно убрать в сундук. Завтра он накинет на плечи Елизавете черный тулуп. Хватит ей мерзнуть!

Мария… да, у Марии Меншиковой, бывшей государевой невесты, нареченной вздорного мальчишки-императора Петра II, дочери всесильного временщика, сосланного в промороженный Березов, может, и были основания кончину торопить, а Лизонька ему живая нужна. На пол надо шкуру положить медвежью. Как ни скудно было содержание, выделяемое семье Меншиковых, а все ж должны были сыскаться у Алексашки деньги, чтобы заплатить туземцам за такую шкуру. Сибирь – не город, там мягкая рухлядь[30] дешева. А может, вогулы, жители тамошние коренные, сами подарили ему такую шкуру. Дома, в Красноярске, где родился и жил раньше Василий Суриков, туземцы были щедры к ссыльным, наверное, и в Березове они таковыми же были. Кроме того, Суриков читал, якобы Алексашка дружил с Боровским, комендантом Березова, а человек этот был добросердечен к несчастным опальным…

Жаль, что у него нету медвежьей шкуры на пол бросить, Лизоньку на нее посадить. И дома, в Красноярске, не было. Полы у них там были застелены домотканными половичками: мать питала к шкурам на полу великое отвращение, потому что из них порою лезла шерсть, а она ни малой соринки на выскобленных до белизны полах не переносила. Казачка, суровая казачка она была, не то что отец – человек мягкий, любивший музыку и художества. Он служил в земском суде, любил читать. Другие родственники тоже не чужды были искусствам – конечно, родственники со стороны отца. Они сочувственно слушали Василия, когда тот начинал мечтать вслух: а вот как подрастет он, да как поедет в самую Москву или в самый Петербург, поступит в Академию художеств и станет великим, великим художником! Великую будущность пророчил ему и учитель рисования Николай Васильевич Гребнев. И только матушка угрюмо слушала всю эту «пустельгу» (так она называла мечтанья сына), равнодушно смотрела на его рисунки. «Ну уж как Бог рассудит!» – роняла сквозь сухие губы, привыкшие к молитвам. Грех такое о матери родной думать, однако Василию порою приходило на ум: а не радовалась ли матушка, когда ему пришлось распроститься с мечтами и пойти служить писцом? Умер отец, нужно было зарабатывать на жизнь. Что скажешь, так «Бог рассудил»!

Ох, как он горевал, как мучился и печалился, как молился! Вся кровь бунтовала – ведь кровь в них, Суриковых, была буйная, отважная: предки его некогда пришли в Сибирь с Ермаком, другие откололись от ватаг Ерофея Хабарова… И все равно в жизнь бы не выбрался он из Красноярска, если бы не помог рыбопромышленник Павел Иванович Кузнецов, который гордился своим меценатством. Матушка сперва поджимала губы: как это

так, Суриков, ее сын, будет подачками жить?! А потом вдруг раз – и смирилась, и махнула рукой: охота, мол, тебе загубить себя в искусительной, дьяволобесной столичной жизни – ну, знать, так Бог рассудил! Это тебе от Него испытание такое!

Василий в два счета собрался и – ринулся из Красноярска, радостно готовый подвергнуться какому угодно испытанию.

Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Ох, как было тяжко, как страшно, когда с первого раза в Академию не поступил. Инспектор, немец Шренцер, небрежно просмотрел папку с рисунками Сурикова и скучным голосом произнес: «Да вам за такие рисунки даже ходить мимо Академии запретить надо!»

Пришлось заниматься в школе Общества поощрения художеств. За три летних месяца освоил курс, рассчитанный на три года, и в августе 1869-го успешно сдал вступительные экзамены в Академию. Пять лет обучения сопровождались непрерывными успехами, наградами и денежными премиями; на четвертом году его стипендия составляла 350 рублей в год.

Все наладилось в его жизни, все сделалось как надо. И даже лучше, чем мечталось!

Думая так, Суриков протирал кисти, соскребал остатки подсохшей краски с палитры, а сам все прислушивался к звукам, долетавшим из дальней комнаты.

Кухарка готовит ужин, Лиза накрывает на стол. Смеются Оля и Леночка. Великолепный, прелестный хорал его жизни!

Да, хорал…

Он безумно любил органную музыку, но послушать ее можно было только в католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. На счастье, Суриков жил неподалеку. Если не работалось, шел к мессе, садился в уголок на темной, потертой деревянной скамье и слушал хоралы и фуги Баха, закрыв глаза. Иноземные слова службы сплетались с музыкой в дивный узор, чудилось, слушая их, улетаешь в волшебный мир…

Однажды этот сон наяву был нарушен резким стуком. Что-то упало на пол рядом. Суриков нехотя открыл глаза и увидел у своих ног черный молитвенник, такой старенький, что кожа переплета кое-где протерлась до белизны. Поднял его.

— Простите, сударь! – послышался рядом испуганный голос.

Василий повернулся. Чуть поодаль сидела тоненькая девушка, смотрела испуганными черными глазами.

Ох, какие это были глаза!

Ему вообще нравились темноглазые женщины. У матери-то глаза были серые, слишком светлые, мрачные и холодные, как лед на Енисее. У туземок-самоедок – карие, веселые, глупые. А

эти глаза… Надо же: черные, вроде бы непроглядные, а какой живой свет от них исходит, какое солнечное сияние!

Девушка смущенно улыбнулась, протягивая руку за молитвенником:

— Благодарствуйте, что подобрали…

Но Василий вдруг спрятал руки за спину:

— Скажите, как вас зовут, тогда отдам!

Сказал и испугался: а вдруг обидится, убежит?

Но черные глаза сияли прежней приветливостью, только стали большими-пребольшими от изумления:

— Лиличка… Ой, нет: Елизавета Августовна Шаре. – И пожала плечами, словно оправдываясь за непривычное для русского уха отчество и фамилию: – Мой отец француз.

Видимо, девушку тоже влекла сюда, под своды храма, волшебная органная музыка.

Ее отца звали Август Шаре. Несколько лет назад приехал он в Петербург из Парижа. Жена сманила – она была русская, Мария Александровна Свистунова, дочь бывшего декабриста. Чтобы уговорить ее выйти за него замуж, Август – вернее, Огюст, как называли его в Париже, – был на все готов, даже православное вероисповедание принял. Конечно, после такого дерзкого поступка жить в Париже стало нелегко. И тотчас после свадьбы la famille[31] Шаре отправилась в дальний путь. Сначала эта famille была совсем маленькая: Огюст и Мари, ну а потом друг за другом родились сын и четыре дочери. Огюст Шаре (в Петербурге его начали называть Август, на манер немецкий; сперва ему это слух резало, да потом привык) втихомолку за голову хватался: quatre filles, четыре девицы, это же просто безумие! Каждой нужно приданое, а где его взять? Доходы от предприятия по продаже бумаги не так уж и велики. Жизнь не слишком скудная ведется, это правда, хватило дать девочкам очень приличное образование – они знают французский совершенно, начитанны, изящны и воспитанны, обожают театры и музыку, особенно Лиличка, Элиза, Елизавета, младшая. Она и пела, и танцевала лучше других сестер. Мария Александровна втихомолку надеялась, что либо в театре, либо на танцевальном паркете встретится Лиличке добрый человек (желательно, был бы он богат и знатен!), который станет ее счастливой судьбой и не станет обращать внимание на то, что из приданого у милой, красивой умницы – только сундук с платьем да бельем…

Однако Судьба так любит чудить с человеком! Le destin joue par la personne[32], как любил говорить Огюст Шаре. Надо же было Лиличке встретить жениха не где-нибудь, а именно в церкви!

Сын простой сибирской казачки! Мария Александровна задним числом испугалась, вспомнив, что ее отец мог быть сослан в Сибирь и сгинуть там. Бр-р! Вдобавок избранник дочери художник… Марья Александровна и мсье Шаре сперва испуганно переглянулись, узнав, что этот небольшого роста человек с темными, густыми волосами, разделенными надо лбом, с подвижным скуластым лицом, окруженным бородкой, художник. Ненадежное ремесло! К тому же уверяют, будто все художники – развратники, распутники, гуляки, а со своими натурщицами вытворяют такие вещи, что и подумать стыдно. Правда, Лиличка встретила этого молодого человека (кстати, не столь он уж и молодой, ему тридцать, на десять лет больше, чем Лиличке, что для семейной жизни очень даже хорошо) в церкви, да еще в католической… А вскоре узнали, что Василий Иванович закончил Академию, причем картины его были отмечены в печати, а дипломная работа получила золотую медаль. Услышав ее название, супруги Шаре почтительно переглянулись: «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы»… Какой ученый человек этот Базиль Сурикофф, Mon Dieu! И благочестивый, конечно. Оказывается, врут люди, когда уверяют, что все художники – развратники и нечестивцы. А происхождение… Ну, боже мой, когда Адам пахал, а Ева пряла[33], никто не задумывался о таких глупостях!

Еще больше уверились будущие родственники Сурикова в том, что Василий Иванович – человек надежнейший и достойный, когда узнали: ему поручено расписывать новый московский храм Христа Спасителя. Какая честь, какое уважение ему оказано! И какие деньги заплатят, подумали практичные Шаре…

Правда, это значило, что Лиличке придется уехать из Петербурга, разлучиться с родителями. Ну что ж, на все воляbon Dieu, доброго боженьки, а русские правильно говорят: дочь – чужое сокровище!

Двадцать пятого января 1878 года во Владимирской церкви в Петербурге они обвенчались. Родни со стороны невесты собралось множество, а со стороны жениха был только его покровитель, меценат Кузнецов с семьей, которая заменяла Василию собственную, пока он жил один в Петербурге, да любимый его учитель из Академии, преподаватель рисунка Павел Иванович Чистяков, тот самый, который прославился своим немилосердным отношением к студиозусам, пытавшимся отступить от академических законов рисования. До изнеможения он заставлял их снова и снова рисовать кубы, шары, пирамиды, добиваясь безусловной точности каждой линии. Суриков, а потом и Валентин Серов были его любимыми учениками – и

прекрасными рисовальщиками.

Матери Василий Иванович сообщить о своей женитьбе побоялся. Только представить их рядом – Лиличку и матушку! Нет более разных людей. Мать никогда не поймет этой любви. Она вообще о любви между мужем и женой не думает, для нее это – пустые бредни.

«Потом напишу, – стыдясь собственного малодушия, думал Василий Иванович. – Вот обживемся, устроимся в Москве, начнут получаться росписи, а Бог даст, пойдут дети… Матери лучше будет меня понять, когда я сообщу ей про внука или внучку».

Бог дал – дети и впрямь пошли. Осенью, уже в Москве, родилась первая дочь Ольга, спустя два года – Леночка. Мать ответила так сдержанно, что у Василия защемило сердце. От жены он утаил письмо, переврал его содержание, старательно радовался, что матушка в восторге от его брака. Однако понимал, что рано или поздно все откроется: не миновать поездки с Лизой в Сибирь, показаться матери. Иначе нельзя, грешно, стыдно, нехорошо! Но тотчас отгонял пугающие мысли о том, каким неприятным может быть это путешествие: это еще не скоро, обойдется…

Жизнь в Москве была невероятна хороша! Новые друзья: Поленов, Репин, Васнецов, захватывающая работа под куполом нового, слишком, на взгляд Сурикова, красивого собора… Но вскоре он привык к его избыточной помпезности, обжился в соборе настолько, что чувствовал себя там так же уютно, как в доме родном. Но работать на постоянных сквозняках было, конечно, тяжко. Именно там, на высоких лесах, под необъятным куполом, Василий однажды так простудился, что заболел. Воспаление легких свалило с ног, приковало к постели, да какими крепкими цепями! Бред, жар, мучительные видения, в которых он не узнавал даже любимую жену. Все чудилось ему, будто не она хлопочет у постели, меняя мокрые полотенца на лбу, обтирая иссохшее от жара тело, давая клюквенный кисленький морс, а другая, незнакомая, чужая. А Лиза почему-то сидела далеко-далеко, в углу мрачной, скудно обставленной комнатки, у ног какого-то угрюмого человека, сидела, придерживая у подбородка ворот шубки, покрытая, словно шалью, волной распущенных черных волос, смотрела мрачными черными глазами, такими печальными, полными невыплаканных слез…

Шесть суток Суриков был между жизнью и смертью, а когда очнулся, понял, что виделось ему: будущая картина. Только он еще пока не знал, о чем она окажется. К тому же возникли другие замыслы. То есть они давно возникли, еще в Петербурге, а теперь, когда он понял: жизнь может улететь в одно мгновение и он

ничего не успеет, ничего не напишет, кроме фресок под куполом храма, надо спешить, надо свои картины писать, – этот замысел начал диктовать свои условия, требовать осуществления.

Историческая живопись – это его путь.

— Иду по Красной площади, кругом ни души, – рассказывал он жене. – Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного – и в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни. Да так ясно, что даже сердце забилось… – И смеялся: – Ведь у меня какая мысль была – Клеопатру Египетскую написать! Ведь что бы со мной было!..

«Утро стрелецкой казни» стало первой картиной Василия Ивановича Сурикова как исторического живописца. Тяжело она давалась, невероятно тяжело!

Приходилось серьезно изучать исторические документы, предметы быта, костюмы, оружие… Как-то раз ему сообщили, что в Тульской губернии есть редкая по красоте телега. Суриков тотчас помчался туда, написал этюд телеги, упряжки, лошадей…

Ярких натурщиков для позирования где только он не искал!

Однажды Репин сказал, что видел на Ваганьковском кладбище могильщика Кузьму, который «страшно подошел бы звероватым выражением для рыжего стрельца». Немедля собрались – и понеслись на Ваганьковское. Нашли Кузьму. Объяснили, что от него потребуется. Кузьма глаза вылупил, потом стал торговаться, почуяв в своей физиономии не знаемую прежде ценность. Кобенился, говоря по-русски. Кое-как его уломали, однако все эти торги да реверансы перед куражливым дурнем шли на глазах других могильщиков. И тем наконец потешно показалось, что приличные господа так перед каким-то пьяницей в стельку выстилаются. Начались ухмылочки да пошучивания.

— Да ентой рожей бы только грязь с полу подтирать, – хохотнул один из могильщиков. – А вы его на посмотр выставить хотите. Засмеют вас, ей-пра, засмеют! И Кузьку попусту опозорите!

Кузьма, который уже заносил ногу – сесть в извозчичьи санки, снова уперся, загундосил:

— А не поеду! Нету на то моего доброго согласия!

Тьфу ты, пропасть!

Репин плюнул да пошел прочь. Василий Иванович побрел за ним.

Домой явился мрачный, злой. Шубу швырнул, прошел в спальню и завалился лицом к стене. Ну вот просто-таки жизнь сошла в одно: если не будет у него Кузьма натурщиком, значит, и картины не будет.

Не вышел к ужину, лежал, чувствуя себя несчастным, как

никогда в жизни. Начал дремать, как вдруг почувствовал – теплое прилегло к спине, обвило тихонько плечи, легонько задышало в затылок.

Лиза… Хотел дернуться сердито, но испугался: ведь обидится. А ее-то за что обижать, ангела милого? Так хорошо было лежать в полудреме, окутанным ее невероятной нежностью! Злость уходила из сердца: его заполняла нежность, места злости не оставалось.

Суриков медленно повернулся к жене, раскрыл на ее груди капот.

«Дурак я, что не разделся… Да ничто!»

Поцеловал дрогнувшие в улыбке губы:

— Что смеешься? Улестила, да? Ну, теперь смотри у меня!..

После счастливого освобождения не понимал уже, чего так бесился, так злобствовал. Все преодолимо! Лизонька его улестила, а он завтра Кузьму улестит. Только ему, Сурикову, поцелуи да ласки, а с Кузьмы рыжего довольно будет водки да огурца соленого. А может, груздей и рыжиков? И, усмехнувшись, что рыжему – рыжиков, уткнулся в теплое плечо жены и уснул, уверенный, что все теперь наладится, все выйдет так, как он захочет.

И правда: Кузьма уже сам пожалел, что вчера «выгоду упустил». Торговаться больше не стал, кочевряжиться – тоже, а когда кто-то из «коллег» снова начал насмешничать, только показал кулак да тако-ого оборота завернул – все со смеху попадали.

— Эй, брат, – предостерегающе сказал Суриков, – я тебя домой повезу. Ты мне там смотри, жена у меня… нежная, тихая.

— Ништо, – солидно сказал Кузьма. – Мы с пониманием. Ты б видел, барин, каких тут к нам привозят барышень, бывает… ну чисто ласточки! – Он умиленно вздохнул, а Сурикова вдруг за сердце взяло болью: а вдруг что-то случится с его ласточкой? Он же умрет, он ведь не переживет такого горя!

Вспомнил, как она вчера легонько дышала в шею, – и снова улыбнулся: да ну, что за чушь в голову лезет! Ничто и никто не разлучит их с Лизой, они вместе сейчас, и всегда вместе будут, и вместе еще сто лет проживут!

Кузьма вошел в мастерскую, одобрительно глянул на накрытый стол, потом покосился на лежавшую в углу секиру: реквизит для картины.

— Ох ты… – сказал с уважением. – Неужто мне голову сечь будешь?

— Мне твоя голова для другого нужна, – сдерживая нетерпение, ответил Суриков. – Да ты сядь, закуси, выпей!

— Это я сейчас! Это мне проще, чем… – Радостно потирая руки, Кузьма совсем уж собрался завернуть нечто несообразное, но тут вошла Лиза, неся самовар, – и он проглотил непотребность, даже рот себе зажал. Выпученные дикие глаза выразительно покосились на художника, подмигнули одобрительно: и впрямь нежная…

Потом уже, когда множество эскизов с его буйной рыжей головы было готово и настало время прощаться, Кузьма сказал:

— Что за глаза у женки твоей, Василий Иваныч… Душу вынимают!

Что-то было в этих словах, каким-то воспоминанием повеяло, образом каким-то…

Но Суриков отогнал его прочь: сейчас не время было думать о другом. Он был весь наполнен «Утром стрелецкой казни»!

Когда картина была закончена, повез семью под Москву – отдыхать на даче. Лето выдалось дождливое, нерадостное. Лиза очень плохо себя чувствовала. Ныло сердце, а когда Василий начинал беспокоиться, она только усмехалась:

— Да у меня с детства так. Я уже привыкла!

Ничего себе – привычка!

Иногда ей было совсем уж худо – это Василий видел по тому, в какую даль уплывали черные любимые глаза. Как-то раз она вот так задумалась на диванчике, сжимая у горла платок… И он вспомнил, что уже видел это, видел раньше. Где? Ну конечно! Его бредовое видение! Черноглазая, безмерно печальная девушка сидит на полу у ног угрюмого старика, сжимая у горла негреющую шубку. Он уже знал, кто это: Мария Меншикова, старшая, прекрасная дочь Александра Даниловича Меншикова, опального министра, по сути – правителя России при так и не повзрослевшем, бессмысленно жестоком императоре Петре…

Сначала Мария была сговорена за Петра Сапегу, любила его, но красавчик приглянулся императрице Екатерине I, некогда бывшей дворовой девке в имении Сапеги в Лифляндии. Решив, что пришло время восстановить справедливость и восторжествовать над прежними господами, Екатерина сначала взяла юношу в свою постель, а потом выдала за него племянницу, Софью Скавронскую. А чтобы не бушевал Алексашка, которого она боялась, от которого была зависима, Екатерина поклялась дочку Меншикова, Марию, взять в жены для царевича Петра. Девушка была старше жениха, боялась его, ненавидела втихомолку, мечтала о любви… Петр злился, называл невесту ледяной статуей, мраморной куклой, заигрывал с веселой

тетушкой, царевной Елизаветой Петровной… А потом, сослав Алексашку в Березов, злорадно, с палаческим наслаждением Петр отверг и обрученную невесту. Нет, сердце ее не было разбито, только гордость уязвлена, когда бывший жених потребовал у Марии вернуть перстень, которым обручился с ней еще недавно. И все же столь мгновенное низвержение с небес на землю, расставание с Петербургом, смерть в пути матери, которую зарыли где-то на пригорке близ Волги в безвестной могиле, горе брата, сестры, отца, обожаемого и почитаемого…

Суриков прочел о ней все, что мог найти, хотя материалов в «Историческом вестнике» да в «Русском архиве» было немного.

Его поразил один случай.

Это произошло с изгнанниками в Тобольске. В пересыльной тюрьме Меншиков встретился с двумя жертвами своего прежнего произвола – чиновниками, некогда сосланными по его повелению в этот город. Они накинулись на бывшего вельможу со словами упрека и ругательствами, а какие-то вовсе уж посторонние ссыльные похватали комья грязи, камни и начали швырять в бывшего баловня судьбы и его спутников. Старший сын светлейшего, Александр, разразился проклятиями, но ошметок грязи попал ему в рот и заставил замолчать. Младшая дочка Сашенька с визгом укрылась за спиною отца, который стоял твердо, почти не загораживаясь от ударов, и восклицал:

— Бейте меня одного! Пощадите моих детей!

— Детей?! – выкрикнул распаленный яростью заключенный. – Покажи нам государеву невесту! Какова на ней рогожная фата?

Мария, которую доселе отец прижимал к себе, силясь защитить, отстранилась от него и спокойно стала пред толпой – бледная, с опущенными глазами. Она не заслонялась руками, не плакала, не просила пощады. Камень чудом не попал ей в голову – просвистел на волосок, но то был последний брошенный камень. Она глянула на мужчин только раз – и вновь потупила взор. И этого было достаточно. Словно забыв, что собрались для отмщения, они разглядывали смиренную изгнанницу почти со страхом, а потом начали расходиться, но многие в пояс кланялись Марии, а один, прежде кричавший всех громче, смиренно поцеловал край ее платья. Это был единственный раз, когда из ее глаз хлынули мгновенные слезы, – больше она не плакала никогда.

Мария не подозревала, что глубоко затаенное, безнадежное страдание придало ее чертам новую, почти пугающую красоту: так прекрасен в последнем своем блеске только что сорванный цветок, лежащий на могиле…

Ей было тяжело тогда в семье. Брат и сестра считали именно

ее, а не светлейшего, истинной виновницей обрушившихся на Меншиковых бедствий. Александр Данилович вообще не роптал – он жаловался только на участь своих близких, упрекая себя, что доставил им беды. Он смирялся перед будущим, готов был встретить все, что ни уготовила судьба, даже церковь на берегу Сосьвы, где стоял Березов, строить начал; и только Мария не хотела жить, она сама ускоряла смерть своим смирением…

Когда Суриков представил ее себе, внезапный ужас накатил, страх на миг замутил сердце: как же он будет рисовать Лизу – а в том, что натурщицей будет Лиза, не могло быть ни малого сомнения – в образе обреченной, умирающей, уже почти ушедшей в потусторонний мир красавицы?

Да нет, все это пустые суеверия, отмахнулся он через минуту. И думать о них не стоит! Ведь нигде не найти таких глаз, как у Лизоньки, они – половина содержания картины!

Ну да, он угадал!

«Лицо этой несчастной, дважды обрученной невесты надолго остается в памяти, – писали потом критики, увидев уже готовое полотно. – Другого женского лица столь мучительной прелести художник не создал в своих картинах. В лице этой женщины есть что-то манящее, страстное. Но это далеко не небесная страсть, не великая «ревность о Боге Спасе моем», которыми дышит лицо боярыни Морозовой… Не испытав счастья сама и не дав его другому любимому человеку, умирает эта загадочная красавица, больная, истерзанная горем».

«Меншиков в Березове» был продан Павлу Третьякову за большие деньги, которые позволили Сурикову и его семье съездить в Италию и Францию. В 1883 году он написал «Боярыню Морозову», которую Третьяков тоже купил за сумму баснословную – пятнадцать тысяч рублей. И Василий Иванович подумал: пора поехать в Сибирь, навестить мать. А то потом как бы не пришлось каяться, что так и не свиделся с ней на этом свете!

Каяться ему пришлось-таки… за то, что поехал!

Само путешествие было невероятно длинным и тяжелым, чуть не три недели. Сначала до Нижнего железной дорогой, потом пароходом до Перми… Уже во время путешествия водою у Лизы снова начало ломить суставы и сжималось сердце. Она таилась от мужа, скрывала, что путешествие стало для нее каждодневной мукой, ну а уж когда добрались до Красноярска, вообще жить расхотелось.

Сразу было видно, как она не понравилась свекрови. С каким глубоким презрением, не сказать – отвращением смотрела Прасковья Федоровна на тонкую фигуру в пышном платье, на

тщательно причесанные, уложенные волосы, на тонкие пальцы, обтянутые перчатками…

— Так и будешь в огороде полоть? – спросила презрительно.

В огороде полоть?! Елизавета чуть не умерла от ужаса, но постаралась храбро улыбнуться.

«Это ненадолго, не навсегда», – успокаивала она себя, и плакать хотелось, что мысль об отъезде – это единственное ее утешение, что не любит ее мать Василия, а она – не любит ее…

При взгляде на внучек глаза Прасковьи Федоровны потеплели только на мгновение: они были не суриковской породы, а сущие француженки! Девочки ее боялись…

А у Василия Ивановича словно бы глаза помутились, так он был счастлив оказаться на родине, увидеть старых друзей, *показать себя н*ынешнего: вот он каким стал, а был-то… писец заштатный, невзрачненький мазила!

Лиза считала дни до отъезда. Как-то раз не выдержала – зарыдала и взмолилась:

— Васенька, уедем! Сердце болит!

Тот наконец-то догадался повнимательней взглянуть на жену – и испугался: да на ее лице одни глаза остались, такие же мучительно-прекрасные, как у княжны Марии Меншиковой!

— Прости меня! Едем! Немедленно!

Лишь только Красноярск и угрюмое лицо свекрови остались позади, Лизе мгновенно стало легче. Она даже стыдилась этого внезапного улучшения здоровья, боялась, что Василий решит, будто она притворялась, чтобы разлучить его с матерью.

Но улучшение оказалось недолгим. Домой Василий привез Лизу совершенно больной, настолько, что понадобилось уложить ее в постель. Теперь ее постоянно наблюдали врачи. Елизавета так ослабела, что ничего не могла есть, только чай с лимоном пила. Тогда-то повадился к ним ходить Лев Толстой, живший в ту пору в Москве. Сурикову льстило это внимание, льстило, что Толстой хочет посидеть около Елизаветы. Но она боялась его приходов, ей худо становилось близ Толстого, хуже некуда: он смотрел так пристально, он следил за каждым жестом, каждым выражением лица…

— Он наблюдает, как я умираю! – зарыдала, не выдержав, Лиза однажды, и Суриков испугался: да как же его взгляд, его внимательный взгляд художника не видит, сколько боли причиняют жене эти визиты?!

На другой день, едва Толстой появился на пороге, Суриков так и бросился к нему:

— Убирайся прочь, злой старик!

Лев Николаевич ушел, потрясенный…

Весна 1888 года накатывалась сырая, томительная, мглистая. Уже в марте стало ясно, что смерть Лизы – вопрос только дней, так она порою мучилась, однако Василий все еще надеялся на что-то. Просиживал у ее постели, болтал всякую ерунду, смотрел в прекрасные глаза. Почему-то в эти дни они все чаще освещались улыбкой.

«А может быть, милостив Господь? – замирал в надежде Суриков. – За что меня так карать?»

Но взгляд Лизы все чаще и чаще уплывал от его глаз, проникаясь той же нездешней, отстраненной печалью, какую он помнил по собственной же картине.

Как-то раз она смотрела вот так, в сторону, особенно долго, а губы слабо улыбались. Суриков сидел тихо-тихо, караулил каждый ее вздох. Наконец решился, шепнул:

— О чем ты думаешь? О чем ты *так д*умаешь?!

Она молчала, только глядела в пространство странно остановившимися глазами.

— Лизонька! Очнись! Скажи что-нибудь! Где ты?

Молчание.

Ему стало страшно.

Вскочил и вдруг крикнул, словно по наитию:

— Маша! Мария!

Ни Лиза, ни Мария не отозвались.

* * *

«8 апреля в пятницу, на пятой неделе Великого поста, ее, голубки, не стало. Страдания были невыносимы, и скончалась, как праведница, с улыбкой на устах… Теперь 14-й день, как она умерла… Тяжко мне, брат Саша. Маме скажи, чтобы не горевала, что было между ей и Лизой, она все простила. Уже давно… О, страшная, беспощадная это болезнь, порок сердца!» – писал он в Сибирь младшему брату.

Ну да, он уже знал причину смерти своей ненаглядной. Однако от этого было ничуть не легче.

«Я, брат, с ума схожу… жизнь моя надломлена, что будет дальше, и представить себе не могу», – писал снова и снова.

Он воистину сходил с ума и роптал на Бога.

Михаил Нестеров, художник и друг, вспоминал потом об этих днях: «Суриков забросил работу. После мучительной ночи вставал он рано и шел к ранней обедне. Там, в своем приходе, в

старинной церкви, он пламенно молился о покойной своей подруге, почти исступленно, бился об плиты церковные горячим лбом… Затем, иногда во вьюгу и мороз, в осеннем пальто бежал на Ваганьково и там, на могиле, плакал горькими слезами, взывал, молил…»

Кузьма, рыжий могильщик, нашел его однажды полузамерзшим, привел, почти на руках принес домой. С тех пор по ночам, случалось, нарочно приходил к могиле, караулил: не прибежал ли Василий Иванович вновь? Не надо ли снова его спасать? Эх, улетела его ласточка нежная, черноокая! Беда…

Более года художник не брал кисть в руки.

Понимая, что потеря рассудка уже близка и горя можно не пережить, весной 1889 года Суриков вместе с дочерьми поехал в Сибирь.

«В то время Суриков произвел на меня впечатление нездорового человека. Говорил он как-то отрывисто коротко, несколько глухим голосом, если и случалось с ним разговориться, то часто и неожиданно впадал в задумчивость. Он был погружен в свои переживания. На глазах признаки слез», – вспоминал его друг, красноярский художник Михаил Рутченко.

Он надеялся на чудо… Но еще долго находился в состоянии уныния. И вдруг написал картину, которая показалась невероятно странной всем, кто его знал. Нет, не то удивляло, что затем, еще год спустя, он напишет (здесь же, в Красноярске) искрящееся снежным весельем «Взятие снежного городка». А *та картина* …

Она называлась «Исцеление Иисусом Христом слепорожденного». Сюжетом картины послужила глава 9 Евангелия от Иоанна: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но *это для того,* чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать… И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы *на себе греха; но* как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

Суриков знал, что он – зрячий, но подвергнут унынию, а это большой грех. «Огорчение и тоска, леность ко всякому доброму делу есть отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, – размышлял он. – По словам старцев святых, «искушений никому не избежать, но можно избежать падений».

Он взялся за полотно.

Смятение и даже ужас человека прозревшего переданы с поразительной выразительностью, а жест Христа, положившего ему руку на голову, – это величие и спокойствие. Фигура Христа – олицетворение тишины и благодати. Максимилиан Волошин писал об этой картине: «Все, что в душе художника звучит, как вопль, в произведении искусства должно выражаться молчанием».

Так оно и получилось. Но было еще нечто… В первоначальном варианте картины над правым плечом Христа витал ангел с удивительно прекрасным и трагическим женским лицом.

Те же глаза – черные, печальные, всепрощающие и сочувствующие. Те же любимые глаза! Чудилось, будто Лиза смотрела на любимого мужа, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело…».

Этюд так и остался этюдом. В окончательном варианте картины изображения Лизы уже не было. Быть может, Василий почувствовал, что написать ее – это поддаться искушению, почти греховному? Или ему кто-то подсказал отказаться от фигуры ангела?

Ныне картина недоступна публике – она хранится в Церковно-Археологическом кабинете Московской духовной академии, что в Сергиевом Посаде.

Овдовев в сорок лет, Суриков на всю жизнь остался одинок. Не мог проститься с воспоминаниями о том,

…сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости забытой!..[34]

Женщина не в его вкусе (Анри Матисс – Лидия Делекторская)

— Он сказал, что слишком толстая. Это я-то?! А я его спросила, кого он ищет: помощницу или вешалку для шляп!

Невысокая женщина, с которой Лидия столкнулась возле лифта, уничтожающе хмыкнула, явно довольная своим остроумием.

Лидия смотрела растерянно. Чего-чего, а откровений на лестничной площадке она не ожидала.

— И что же вам ответили? – полюбопытствовала, скрывая улыбку: эта дамочка в перманенте и впрямь была пышка пышкой!

— Ну, он сказал, что ищет человека, который не занимал бы слишком много места в его кабинете и в жизни! – фыркнула дамочка.

Лидия опустила смеющиеся глаза, но, видимо, сделала это недостаточно быстро, потому что пышка мгновенно вспыхнула как порох:

— Вы тоже туда? Ну-ну! Можете мне поверить: он вам тоже откажет. Да-да! Придумает что-нибудь, не сомневайтесь! Например, что вы слишком тощая, и он не хочет, чтобы вас унесло ветром в раскрытое окно.

И, оттолкнув Лидию, пышка с победным смешком ворвалась в лифт, а потом задвинула за собой железную дверцу с таким грохотом, будто подняла перед натиском врага подъемный мост.

— Ор'вуар, – пробормотала вежливая Лидия и, тяжко вздохнув, подняла руку, чтобы нажать на кнопку звонка, рядом с которой была табличка «Henri Matisse».

В ту же секунду дверь распахнулась, и фигуристая брюнетка вылетела из квартиры, чуть не сбив Лидию с ног.

— Он выставил меня! – воскликнула, глядя на Лидию негодующими черными глазами. Дверь за ней захлопнулась – Нет, вы представляете?! Он выставил меня и сказал, что у меня слишком вызывающая внешность! А я спросила, кого он ищет, помощницу для дел или «белую даму»?

Она проскочила мимо Лидии, нажала на кнопку лифта и тут же в нетерпении топнула ногой.

— Лифт только что спустился, – пояснила Лидия. – Сейчас поднимется. А что ответил вам господин Матисс?

— Он сказал, что ему нужна женщина с внешностью, которая не будет раздражать его жену!

Лидия прикусила губу: да уж…

Брюнетка оказалась не менее приметливой и не менее обидчивой, чем толстушка, и спросила:

— Вы тоже туда? Он и вас выставит, не сомневайтесь! Что-нибудь придумает! Например, что вы слишком бледная и он боится не разглядеть вас на фоне стены!

И она загрохотала каблуками вниз по лестнице, даже не став дожидаться лифта, который спустя мгновение поднялся на этаж.

Лидия задумчиво посмотрела на решетчатую дверь его кабины. Может, открыть ее и уехать? Не подвергать себя оскорблениям, которых она и так вынесла за год – всего за год! – жизни с Котей столько, что ей вполне хватит до конца жизни?

Уйти, конечно, можно… Но на что она будет жить? Деньги, с которыми они приехали из Харбина, кончились. Сегодня Лидия уже не завтракала, и есть хочется ужасно. А это забавное объявление, которое она прочла на столбе около автобусной остановки, было единственным, в котором говорилось о работе. Текст показался ей обнадеживающим:

«Художник ищет помощницу для ведения дел. Посуду мыть заставлять не будут. Об ущербе для невинности можно не беспокоиться, я женат». Под объявлением адрес. Причем совсем рядом с квартиркой Лидии, на роскошном холме Симье, с видом на море, всего в каких-то сорока – сорока пяти минутах ходьбы. Чепуха, она даже не потратилась на автобус.

Уйти? Или все же рискнуть?

И вдруг она почувствовала себя как-то странно. Такое ощущение, будто ее кто-то пристально разглядывает. Этот «глазок» на двери… неужели в него кто-то смотрит?

Лидии ужасно захотелось причесаться и напудрить нос. Но пудреницу разбил Котя, когда устроил ей еще в Париже прощальную сцену (пудреница была его подарком, и он ни за что не хотел оставлять ее бывшей жене), а расческа у Лидии была позорная, с выпавшими зубьями, она стыдилась доставать ее при людях. Правда, на площадке никого нет, но что, если кто-то и впрямь следит за ней в «глазок»?

Первым делом, когда заведутся деньги, она купит новую расческу.

Ладно, это потом. А сейчас-то что делать?

Ну, решайся! Интересно, какой он, этот мсье Матисс? Какой-нибудь Кощей Бессмертный? Или злобный карлик?

Да ладно, какой бы ни был, как говорила тетя Наташа, царство ей небесное, за спрос денег не берут!

Лидия подняла руку и решительно вдавила палец в кнопку звонка.

Дверь в ту же секунду распахнулась, и она увидела высокого человека лет шестидесяти. В его волосах и короткой бороде мешались золото и серебро, но серебра было все же больше.

— Ну, наконец-то, – сказал он, снимая и снова надевая пенсне и вглядываясь в Лидию голубыми близорукими глазами. – Я думал, вы никогда не решитесь войти. Что вам наговорили эти дуры?

Глаза у него были хитрые, веселые и очень умные.

Неожиданно Лидия почувствовала себя так свободно, словно знала этого человека всю жизнь. Он ей ужасно понравился! И даже странный запах, который царил в прихожей, показался ей невероятно уютным.

— Они сказали, что вы монстр, – сообщила она со смешком.

Человек расхохотался, показав удивительно крепкие и молодые зубы.

— Но ведь это так и есть, – просто, по-дружески проговорил он и протянул Лидии руку: – Анри Матисс. А ваше имя?

— Лидия Делекторская.

— Де-ле-кто… – начал было повторять он, но сбился. – Вы славянка? Полька?

— Нет, русская.

— Быть не может! – Матисс покачал головой. – Русская? Но я был в России! Давно, у вас там не было еще этой… – Он пощелкал длинными пальцами. – …вашей великой октябрьской пертурбации. – Меня пригласил Серж Щукин. О, это был великий человек! Он меня обожал и предсказывал мне большое будущее. Как видите, оно сбылось, я стал знаменит.

Лидия моргнула. Он знаменит?! Чем, о господи?! Она ничего не знает ни о каком Анри Матиссе!

— Нет, – сказал хозяин, пристально глядя на нее, – похоже, предсказание Сержа еще не вполне сбылось, и я еще не настолько знаменит, как хотелось бы. Вам придется работать у художника, мадемуазель. – И он широко повел рукой.

Оглядевшись, Лидия обнаружила вокруг себя много картин. Каким это волшебством она вдруг оказалась в мастерской?! Ведь даже не заметила, как хозяин ее сюда привел… Она глаз от него не могла оторвать! Боже мой, вот чем пахло – краской! Краской, и скипидаром, и кофе…

Однако какие странные картины, боже мой… Причудливые формы, чрезмерно яркие краски. Она слышала такое слово – «модернизм», но не представляла, что это такое. Неужели оно и есть?! Вот это яблоки! Наверное, только в раю могут расти такие

пылающие спелостью, желто-красные яблоки! А какое белое, невероятно белое молоко в кувшине… Кувшин глиняный, коричневый-прекоричневый, и солнце отражается в его боку ярким пятном. Великолепная картина!

И вдруг она вспомнила его слова: «Вам придется работать у художника». Но это значит, она принята, что ли? Принята на эту работу, которая ей так нужна?

Наверное, она произнесла это вслух, потому что Матисс посмотрел на нее с забавным выражением, потом взял со стола блокнот и карандаш, что-то черкнул на страничке и сказал насмешливо:

— Приняты, приняты! Более того, вы уже приступили к работе!

Вслед за тем он вырвал из блокнота листок и протянул Лидии. Какое-то мгновение она смотрела на хоровод загадочных линий, думая, что мэтр дает ей список дел, и дивясь его совершенно неразборчивому почерку, а потом до нее наконец-то дошло, что это вовсе никакой не список.

Это рисунок.

Ее собственный портрет.

И самое странное, что он был очень похож на оригинал!

* * *

Вообще-то она кое-что слышала о художниках и натурщицах. В основном о *совершенно неприличных о*тношениях, которые их порою связывают. И когда Матисс подал ей этот рисунок, Лидия ужасно перепугалась, хоть и не подала виду. Но, наверное, мэтр все понял – он ведь был невероятно приметлив! И больше ее не рисовал. Она занималась тем, что приводила в порядок, подбирала и сортировала невероятное количество эскизов, которые он сделал для панно «Танец». Его Матисс готовил для музея Барнаса в Мерионе близ Филадельфии. Художнику одному было трудно справляться со всеми делами в мастерской, вот он и взял помощницу. Кроме того, Лидия вела его переписку и навела порядок в прежних письмах. Заодно она узнала, как мэтр попал в свое время в Россию.

Это только сначала имя Сержа Щукина ей ничего не сказало, а потом Лидии стало известно, что он был знаменитый русский коллекционер, навеки плененный французским импрессионизмом и модернизмом, очень богатый человек, который покупал для

своей уникальной коллекции полотна и рисунки – у него было более двухсот двадцати работ! – Пикассо и Модильяни, Утрилло и Ван-Донгена, и других обитателей парижских холмов Монмартр и Монпарнас. И прежде всего – основателя фовизма Матисса, творчество которого Щукин любил за яркость крупных красочных плоскостей, не разбитых полутонами.

Вот для Щукина-то, для его особняка в Петербурге и сделал Матисс самый первый вариант «Танца» – за двадцать два года до создания американского панно.

«Русская» композиция была выполнена в трех цветах – розовом, голубом и зеленом – и состояла из двух панно: «Танца» и «Музыки», которые напоминали звуки чудной музыки, воплощенные в цвете. В 1911 году Матисс посетил Россию, которая его просто-таки поразила и подавила. «Какое будущее у этой страны, она так всем богата!» – сказал он. Матисса особенно поразили старинные иконы…

Узнав об этом, Лидия только головой покачала. Да, тетушка тоже уверяла, что Россия была необыкновенно богатой страной. Но Лидия, родившаяся в 1910 году, вспоминала уже совершенно другую Россию. Родители ее, врач Николай Иванович Делекторский и его супруга Вера Павловна, умерли в начале 20-х годов, когда пронеслись по Сибири эпидемии тифа и холеры. Лидию приютила мамина сестра.

В Томске, где они жили, власть беспрестанно переходила из рук в руки, и долгие годы потом у Лидии слово «Россия» ассоциировалось только со словами «война» и «страх». И она, и ее двоюродная сестра Таня были еще слишком малы в 1923 году, когда тете Наташе удалось уехать вместе с ними в Харбин. Там было так много русских, что китайцы чувствовали себя как будто в чужом городе. И все русские жили только надеждами на возвращение в Россию!

«Когда погонят большевиков…» – эти три слова звучали чаще всего. Особенно в гимназии, начальницей которой была Софья Эмильевна Дитерихс, жена царского генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Она эвакуировала из Омска, в который уже вступали красные, целый поезд с детьми белых офицеров. Все они учились в той же гимназии, где Лида и Таня, и тоже беспрестанно повторяли магическое присловье: «Когда погонят большевиков…»

А их, большевиков, все не прогоняли. Лидии исполнилось девятнадцать, когда она познакомилась со служащим КВЖД Константином (он любил, когда его называли Котей) Константиновым.

— Ждать нечего, – сказал Котя. – Я совершенно точно знаю,

что КВЖД отдадут красным. Вы заметили, их сотрудников становится здесь все больше. Надо тикать!

Откуда-то это ужасное слово взялось в Харбине, и Лидия слышала его все чаще и чаще.

— Тикать? – спросила она беспомощно. – Но куда?

— Тикать надо в Париж, – пояснил Котя. – Там цивилизация! Мы ведь тут живем, как троглодиты какие-нибудь.

— Троглодиты жили в пещерах, – пояснила начитанная Лидия. – А мы живем в домах.

— В домах! – фыркнул Котя. – В избах! Как крестьяне! Вот вы, например, где мясо и рыбу держите, чтоб не протухли?

— Как где? – удивилась Лидия. – На леднике, конечно.

— На леднике! – передразнил Котя. – А все цивилизованные люди в Европе имеют такие особенные холодильные агрегаты – они называются рефрижераторы. И там не пользуются керосиновыми лампами, а только электрическими, как в Дворянском собрании и в главной конторе КВЖД. И утюги… там нет этих ужасных чугунных утюгов, вроде того, которым ты сегодня подпалила рукав на твоем любимом платье. Там электрические утюги!

Про Котю всем было известно, что он ради красного словца не пожалеет родного отца. Тетя Наташа всегда первая над ним смеялась, но на сей раз почему-то молчала и слушала, только глаза у нее были отсутствующие. Она не спорила с ним, а когда он сделал Лидии предложение и девушка совсем было собралась отказать, тетя Наташа вдруг горячо сказала:

— Соглашайся, Лидуся! Котя – человек ненадежный, однако он тебя увезет во Францию. У него дядя там, очень его зовет и даже работу обещает на заводе «Рено». Выходи за него и уезжай. Даже если вы через год разведетесь, это будет лучше, чем здесь погибать, когда советские придут на КВЖД. Котька прав – к тому идет. Поезжай, устраивайся. А если дело хорошо пойдет, мы с Таткой тоже к тебе приедем.

И Лидия вышла за Котьку…

Ну что ж, тетя Наташа как в воду глядела: ровно через год они разошлись, и Лидия порадовалась, что не стала менять фамилию, так и осталась Делекторской. Впрочем, Котя, который уверял, что только она виновата в их разводе, ледышка несчастная, ее и за это ужасно ругал, уверял, что она заранее готовилась его бросить, потому и не взяла его фамилию.

Да ладно, ей уже давно было наплевать на скандалиста Котю. Жаль только, что теперь можно было рассчитывать только на себя, и помочь тете Наташе с Таткой, застрявшим в Харбине, было совершенно нечем. А там вообще стала как бы советская страна. А

потом японцы начали прибирать Китай к рукам, так что еще неизвестно, что было лучше.

Но в Париже для русских эмигрантов тоже медом не было намазано. Правда, многие знакомые Лидии, соседки по кварталу в Пасси, пошли работать продавщицами или манекенами в мезон де кутюр (модные дома). Они уверяли, что и Лидия может понравиться какому-нибудь кутюрье. Однако она точно знала, что оставаться в одном городе с Котей ей нельзя. Житья не даст, беспрестанно будет клянчить денег на кокаин, а то еще и зарежет!

Она тайно сбежала в Ниццу – и здесь ей наконец-то повезло!

Постепенно она кое-что узнавала о жизни своего хозяина.

Ко времени их встречи Анри Матисс прошел сорокалетний путь в искусстве. Он родился в 1869 году на севере Франции, в городе Като-Камбрези. Его отец торговал зерном, имел москательную лавку, но хотел дать сыну хорошее образование и сделать его, например, адвокатом. Однако матушка Анри, происходившая из старинного фламандского рода, в свободное время любила расписывать тарелки и мечтала о другой судьбе для обожаемого сына. Разумеется, отец победил, и, окончив в восемнадцать лет лицей, Анри получил в Париже юридическое образование, а потом устроился клерком к одному адвокату. До сих пор он и думать о живописи не думал. Но вот молодой человек слег вдруг надолго в постель после не слишком удачной операции аппендицита. И… он просто от скуки умирал, матушка захотела хоть как-нибудь развлечь сына: преподнесла Анри набор масляных красок, кисти, самоучитель по живописи, а потом и этюдник.

Через несколько месяцев, испортив всего лишь три-четыре холста, Матисс написал чудесный натюрморт, которым мог бы гордиться профессиональный художник. И больше он не захотел расставаться с искусством… оставшись, впрочем, самым серьезным и образованным среди своих богемных друзей.

Грандиозное панно «Танец», с которого и началось знакомство Лидии и Матисса, весьма своеобразно связало музеи трех стран: США, Франции и России. Это панно должно было украсить три арки свода музея в Мерионе площадью в пятьдесят квадратных метров. Однако из-за ошибки в масштабах автору пришлось два раза заново переписать весь холст, который затем должны были отправить за океан. Но французский искусствовед Луи Жилле выразил сожаление, что подобный шедевр увозится в США, а Франция даже не попыталась удержать его. К счастью, Парижский муниципалитет внял разумному совету Луи Жилле, и первоначальный вариант панно был приобретен Музеем

современного искусства в Париже, а второй – американским Фондом Барнса.

Но вот через полгода прекрасное панно и все связанные с его созданием хлопоты были закончены, и Лидия встревожилась: снова нужно будет искать заработок. Она простилась с больной мадам Амели Матисс, с дочками художника…

Кстати, работая у художника и познакомившись с его семьей, Лидия подумала, что та противная брюнетка, которую она встретила у порога Матисса, была в общем-то права: на фоне этих ярких лиц с жаркими черными глазами, смуглых, с черными лоснящимися кудрями, ее бледную кожу, голубые глаза и светлые прямые волосы вполне можно было не заметить! Недаром Матисс ни разу не предложил ей позировать, а нанимал натурщиц, случалось, прямо на набережной Ниццы, где они торговали рыбой прямо с лодок своих мужей и братьев!

К тому времени Лидия уже начала кое-что понимать в жизни своего мэтра. Он был деликатен и добродушен, но все-таки оставался мужчиной. Он искренне любил жену, которая делила с ним самые трудные времена Монмартра и Монпарнаса, однако… теперь она была прикована к постели. И хотя Матиссу было за шестьдесят, он отнюдь не стал стариком… Лидия прекрасно понимала, что не только позировать приглашает он молоденьких красавиц с такими тугими грудями, что они норовили просто-таки разорвать тесные блузки из дешевого ситца. Как-то раз Лидия, придя утром раньше хозяина, обнаружила, что малиновое покрывало на диване в мастерской, где по часу отдыхал днем Матисс (он очень мало спал ночью, часа три-четыре, не больше, и ему необходима была сиеста), смято устрашающим образом, скомкано невесть как…

Она стояла над покрывалом и глазела на него. И в это время вдруг отворилась дверь, и вошел мсье Матисс. Лидия тотчас отскочила к своему столу, как будто ее застигли за чем-то непотребным, например, за воровством картин мэтра, и почувствовала, что сейчас со стыда сгорит. А он как ни в чем не бывало подошел к дивану и расправил покрывало. Потом позвонил горничной и приказал принести завтрак себе и Лидии.

Раньше он никогда ее не угощал, этого не было в условиях их контракта!

Она выпила с ним кофе, не поднимая глаз от чашки.

Потом Матисс заговорил о том, что срок ее службы закончился, и дела вроде бы все переделаны, но мадам Амели нужна помощь, она становится все более слабой. К Лидии она привыкла и полюбила ее, она не хочет видеть чужое, равнодушное лицо около себя. Не может ли мадемуазель Лидия

остаться работать у Матисса уже не секретарем, а помощницей дорогой Амели?

Лидия знала, что, согласно законодательству, эмигранты не имеют права на постоянный оплачиваемый труд, за исключением считаных профессий – манекена, статиста на киносъемке, временной няни, сиделки или натурщицы. То есть предложение Матисса для Лидии с ее паспортом эмигрантки и не слишком-то хорошим французским было просто спасением!

— Вы можете проводить у нас день, а вечером уходить домой, – продолжал мэтр. – Потом посмотрим – может быть, вы перейдете жить к нам. Разумеется, ваша плата сохранится, никаких вычетов из нее я не буду делать.

Лидия, которая до сей минуты сидела, опустив глаза, почти испуганно уставилась на Матисса. Странно – почему в первую встречу (да и потом) он показался ей таким веселым и приветливым? Сейчас художник разговаривал с ней холодно, как с чужой.

Это ранило ее до глубины души. Лидия разозлилась: да никогда в жизни! Он потому сделал ей такое предложение, что она догадалась, чем он тут занимался, на этом диване! Купить ее хочет, чтобы она не проболталась жене!

Нет, тут же подумала Лидия, это глупости. Если бы боялся, наоборот, хотел бы избавиться от нее. А он, наоборот, зовет жить у них в доме…

А между прочим, не ждет ли он, что и Лидия будет с ним заниматься на этом диване тем же, чем те девчонки с тугими грудями?!

Ну уж нет! Никогда!

Она набрала в легкие побольше воздуху, чтобы на одном дыхании выпалить: «Ну уж нет! Никогда!» – однако вместо этого выдохнула:

— Да! Да, я согласна.

Только потом до нее дошло, что же она сказала. И дошло вот еще что: Матисс отлично понял, что согласие ее касалось не только ухода за мадам Амели, но и относилось к малиновому дивану!

Однако, забегая вперед, скажем: прошло еще три года, прежде чем Матисс все-таки позвал ее на этот диван. А пока…

Шло время, и Лидия уж думала было, что она все себе нафантазировала. Матисс был вновь приветлив, добродушен, ровен – но и только. И очень заботлив, вот еще что! Случалось, он говорил ей: «Сегодня я задержал вас почти на час, вы вернетесь к себе очень поздно. Я советую вам перекусить в соседнем ресторанчике». И вручал Лидии купюру, которая удваивала ее

дневной заработок. Но эти знаки внимания, конечно, уступали его поистине «королевским» подаркам: ежегодно Анри Матисс преподносил Лидии два своих оригинальных рисунка – один к Новому году, другой ко дню ее рождения. А ведь его работы уже стоили огромных денег! Лидия понимала: мэтр хочет косвенно обеспечить ее будущее: ведь он был уже немолод, а она по-прежнему оставалась одинокой, да к тому же в чужой стране.

И вот однажды… Однажды Лидия сидела на том пресловутом диване (сначала она его за три метра обходила, а потом привыкла, садилась как ни в чем не бывало!) и разбирала рисунки в папках, перекладывая их на стул. Матисс вошел с папкой для набросков под мышкой и сел напротив.

Лидия отложила папки и быстро пересела на свободный стул. Ей показалось неудобным сидеть при хозяине на его любимом диване. И вдруг Матисс скомандовал вполголоса:

— Не шевелитесь!

Раскрыв альбом, он принялся рисовать Лидию в очень привычной для нее позе: голова, опущенная на скрещенные на спинке стула руки.

Она сидела неподвижно, чувствуя, как под взглядом художника у нее начинает гореть тело. Наконец он отложил эту несчастную папку и карандаш… Наконец-то! Ведь еще минута – и Лидия бы на него просто набросилась. А так все же получилось в угоду приличиям – он сделал первый шаг к дивану…

Не скоро она привыкла к этим его взглядам, не скоро привыкла позировать, не испытывая жгучего желания немедленно сорвать с себя платье! Да, теперь это случалось постоянно: Матисс вполне официально попросил Делекторскую позировать ему.

— Но ведь она женщина не в твоем стиле, – жалобно сказала Амели, узнав об этом, но тут же умолкла. И ничто не изменилось в ее отношении к Лидии – они оставались добрыми приятельницами до самой смерти Амели.

Тем более что жар в чреслах любовника Лидии довольно скоро угас. Но не только по отношению к ней: ему теперь довольно было просто наслаждаться созерцанием и рисованием ее красоты. Да и не только ее – прелестницы с набережных и из рыбачьих лодок больше не мяли покрывала на диване! И словно нарочно, старое, заслуженное малиновое было заменено на холодновато-отстраненное зеленое.

И все же Лидия знала твердо: Матисс по-прежнему любит ее. Так же, как она любит его. Они связаны друг с другом навеки!

— Каждый раз, когда я скучаю, – признавался Матисс друзьям, – я сажусь за портрет Лидии – и тоски как не бывало.

Начиная с 1935 года, когда Лидия стала почти ежедневно позировать для Матисса, вплоть до лета 1939 года художник написал по меньшей мере девяносто картин (не считая многочисленных рисунков, набросков, эскизов) с надписью по-французски: *«Lidia»* .

Время шло. Матисс старел, начал болеть, потом вообще слег, но тем не менее работы не бросал, и Лидия была ему теперь не просто помощницей, но и незаменимым другом, который всегда рядом.

И вот началась Вторая мировая война. Незадолго до этого Амели поссорилась с мужем и уехала к дочери в Париж. Кто знал, что увидятся они с мужем теперь только после войны! Семью, словно ветром, разметало в одно мгновение. Старший сын Пьер еще до войны переехал в США. Другой сын, ставший скульптором, жил под Парижем. Дочь Маргарита участвовала в движении Сопротивления, была выдана врагам предателем и едва не угодила в лагерь Равенсбрюк. Мадам Матисс была арестована за печатание на машинке материалов для некоторых подпольных газет (ай да Амели!) и заключена в тюрьму города Труа.

И только Лидия относительно спокойно прожила рядом с Матиссом ужасные военные годы, поддерживая его своей тихой, нетребовательной, негаснущей любовью.

Но постепенно их отношения становились все более прохладными. Матисс предпочитал одиночество. Лидия снова стала для него только тем, кем была в самом начале знакомства: помощницей, секретарем, другом.

Без всякого участия сердца.

С его стороны…

И вот наступил мир. Лидия Николаевна вспоминала так:

«Это было в 1945 году. Только что кончилась война. Россия праздновала победу, но ценой скольких страданий! Что же до меня, то я пережила войну довольно пассивно, под теплым крылышком Матисса. Конечно, меня тоже не миновали какие-то трудности, но все же куда меньшие.

Я была апатридом, не имеющим французских корней и потерявшим их на родине, которую я по-прежнему очень люблю. Тогда меня обуял порыв братских чувств по отношению к России. К примеру, мне очень хотелось послать туда огромный букет цветов. Это, увы, невозможно, а жаль.

И мне неожиданно пришла в голову мысль: купить у Матисса несколько лучших рисунков, пусть даже ценой самых неразумных долгов, и отослать этот драгоценный и, если так можно

выразиться, неувядаемый (по сравнению с цветами) подарок московскому музею, где, без сомнения, знают Матисса.

Я тайком порылась в его картонных коробках с рисунками в поисках чего-нибудь достойного музея и к тому же пришедшегося мне по вкусу и отобрала семь работ обычного для Матисса формата, которые могли бы достойно украсить стены музея. Затем я нацарапала Матиссу короткое письмо, в котором приблизительно обрисовала приглянувшиеся рисунки и попросила мне их продать, но при одном условии: он возьмет за них не «дружескую цену», так как я не хочу его обременять, а цену, которую он запросил бы с торговца картинами.

Прочитав мое робкое послание, Матисс не выказал никакого удивления, выразил свое согласие с самим принципом и попросил показать ему отобранные мною рисунки. Он одобрил мой выбор, но за ту же цену семи работ отдал мне еще один рисунок в качестве «подарка». Таким образом, в завуалированном виде он понизил цену, на что я, учитывая категорический тон моего письма, ни под каким видом бы не согласилась.

Я очень обрадовалась и немедленно отправила в Москву письмо с вопросом, согласятся ли они принять мой дар. Кто знает… ведь дар был от «грязной» эмигрантки…

Я получила благосклонный ответ…»

Таким было начало.

Ныне в Москве и Санкт-Петербурге – в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина – находится богатейшая коллекция работ великого художника XX века Анри Матисса: картины, гравюры, аппликации, рисунки, архивные материалы, скульптуры… И все это – дар Лидии Николаевны Делекторской, автора двух монографий о творчестве Матисса, изданных в Париже: «Как бы легко и просто. Анри Матисс. Живопись 1935–1939» и «Анри Матисс. Наперекор стихиям. Живопись и иллюстрированные книги. 1939–1943 годы».

Осталась незавершенной третья…

«Конечно, собрание Делекторской – это был огромный капитал, – вспоминала племянница Лидии Николаевны. – Мы были как-то с ней в поездке по Анже, и, указывая на известную во Франции старинную крепость, она сказала, смеясь: «Я была так богата, что могла бы купить ее».

«Но однажды я поняла, что, какой бы ни был в России политический режим, кто бы ни стоял у руля государства, многие люди там по-настоящему любят Матисса, – писала Лидия Делекторская. – И я испытала глубокую потребность поделиться с ними сокровищами, принадлежащими мне одной, и безотлагательно, не дожидаясь, пока уйдет одно или несколько

поколений, познакомить их с одной из важных сторон творчества художника.

Тогда постепенно, стараясь сделать это максимально для себя безболезненно, я принялась отбирать своих «любимчиков» и передавать их Пушкинскому музею, Эрмитажу… По одному, по два, по три рисунка… Это принесло мне двойное удовлетворение: во-первых, музеи и их посетители чрезвычайно признательны, а во-вторых, сам Матисс, если он все «оттуда» видит, мною, безусловно, доволен. И к тому же я теперь не должна бояться ни воров, ни пожаров».

«Учитывая то, что почти все время я посвящала Матиссу, у меня даже не было возможности тратить свое вполне достаточное, но и не очень высокое жалованье, – рассказывала Лидия Николаевна. – Я не кокетка. Большую часть жизни я проводила в рабочем костюме, не сходила с ума от золота и драгоценностей, и мне не нужно было содержать престарелых родственников… Благодаря этой невольной экономии мне удалось приобрести произведение, о котором я ужасно мечтала – догадайтесь, почему? Порой, выпрашивая зарплату вперед, я залезала в долги на целые месяцы, но с первого же года нашего знакомства Матисс знал, что даже в самых неблагополучных обстоятельствах я всегда возвращаю долги, что долги и просьбы о выплате жалованья вперед с моей стороны не жульнический трюк, на который я иду в надежде, что это забудется и простится. Он понимал, что необходимо иметь что-нибудь «для себя», и если произведение будет подарено, то оно утратит часть своего очарования, ведь это уменьшит мою горделивую радость от обладания им.

И когда я оказывалась в тяжелом положении, то продавала не эти работы. Они были самые дорогие и любимые. И, полагаю, музеи ничего не теряли от этого разделения и обмена. Все мои «любимчики» находятся сейчас в их распоряжении. Я оставляла себе лишь «водицы, чтобы напиться». Но признаюсь: когда я отдавала последнюю маленькую работу, я плакала. Но именно потому, что я ею столь дорожила, я пожелала уберечь ее от любой опасной случайности. Сейчас я уже это «переварила», но, когда увидела ее в музее, я пришла в настоящее волнение…

Разумеется, в моей судьбе сыграла роль и личность самого Матисса. Это был очень светлый человек. «Матисс потому и Матисс, – говорил Пикассо, – что у него внутри есть Солнце!»

Анри всегда с жаром работал над чем-нибудь бесплатным, говоря: «Как радостно трудиться не за деньги!» И вообще, очень любил помогать. Он знал цену деньгам по личному опыту с молодости и старался сохранить и в других уважение к ним, но

он не «одарял» деньгами, а находил способ помочь, не унижая человека подачкой».

Уже на склоне жизни ее друга Лидию ждало тяжелое испытание для ее верности и гордости.

Жила-была на свете (в Ницце) одна девушка по имени Моник Буржуа. Ее отец умер от ран, полученных в годы войны. Она окончила курсы медсестер и искала работу. И вот как-то раз в бюро по найму ей сказали, что знаменитый художник Матисс ищет ночную сиделку. Моник явилась к секретарше Матисса мадам Лидии, о которой в Ницце ходили очень интересные слухи, но которая оказалась сдержанной и несколько высокомерной, очень красивой блондинкой, и была ею принята на работу. Кстати, несколько бывших подруг Моник по курсам были мадам Лидией отвергнуты, а ведь и руки у них были ласковые, ловкие, и сами они были – просто загляденье. А вот на невзрачную Моник мадам Лидия смотрела с удовольствием. И скоро Моник уже приступила к своим обязанностям.

Матисс был тогда нездоров, и Моник давала ему микстуры и пилюли, делала примочки, впрыскивания и ставила банки. Конечно, этот добрый господин иногда разговаривал с ней, да так приветливо! Даже работы свои ей показывал. И однажды Моник призналась, что очень любит рисовать. Матисс попросил ее принести рисунки, а потом сказал, что ей надо бы учиться, и вообще пусть следует своему сердцу и своему видению!

Спустя месяц мсье Матиссу стало лучше, и мадам Лидия объявила, что в услугах Моник больше не нуждаются. Однако Матисс воспротивился и заявил, что Моник ему еще нужна, что он хочет ее рисовать. А потому предлагает ей быть его натурщицей.

Моник чуть в обморок от смеха не упала. Она видела красавиц в кинофильмах, а ее даже в семье открыто называли дурнушкой. Тогда Матисс сказал, что у истинной красоты другие законы, чем в кинематографе, и Моник начала позировать ему. Потом она так рассказывала об этих сеансах:

«Я молчала. А он долго-долго смотрел на меня, прежде чем начать картину. Потом он сосредоточивался, закрывал глаза и замирал. А потом, вдруг выйдя из медитации, бросался на холст…»

Иногда во время эти сеансов в мастерской появлялась Лидия. Она стояла за спиной Матисса, так, что он ее не видел, но Моник видела. Она видела ее лицо… У Лидии в это время было такое выражение, как будто ее на кресте распинают.

Наверное, она тогда думала: «Да, я была женщиной не в его вкусе. А вот теперь она в его вкусе, появилась!» И смотрела на старый диван, покрывало на котором давно оставалось несмятым.

Да какое это имеет значение для любви?!

Впрочем, одному Богу ведомо, о чем Лидия думала в те минуты, ну а Моник много чего поняла тогда: и о жизни, и о боли, и о любви, которой она сама не знала, – вот разве Христа любила с детства и всегда мечтала стать его невестой…

А поняв все это, Моник однажды испугалась того, как близка была ко греху, испугалась, что была причастна к мукам сестры своей по Творцу, – и ушла из мастерской. И больше не вернулась.

Матисс попытался ее отыскать, долго уговаривал вернуться, и наконец она сказала, что уходит в монастырь.

Матисс посылал к ней Лидию, но Лидия не пошла – первый раз в жизни его ослушалась!

Он писал Моник, опять уговаривал, предлагал увеличить плату и помогать ее семье, но Моник вспоминала застывшее от горя лицо мадам Лидии, распятой на кресте ее вечной и бессмертной любви, – и отказывалась снова и снова. На прощанье она попросила Матисса расписать доминиканскую часовню, что стоит за городком Вансом, и Матисс исполнил ее просьбу. Часовня эта стоит и поныне.

А Моник ушла-таки в монастырь близ Ванса, приняв имя Жак-Мари, но в дневниках Матисса оставались кое-какие заметки относительно их кратких и мимолетных встреч, например, такая: «Когда моя доминиканка проезжает мимо на велосипеде в сторону Сен-Жене, невозможно ни о чем думать, можно только глядеть на нее…»

А что касается Лидии…

Она больше не расставалась со своим художником.

За день до кончины, 2 ноября 1954 года, она вдруг сказала Матиссу, который умирал и знал, что умирает:

— А завтра вы попросите у меня карандаш и бумагу.

— Дайте мне бумагу и карандаш, – немедленно сказал художник и сделал свои последние рисунки.

Когда они встретились, ей было 22, ему 63. Когда он умер, ей было 44, а ему – 85. И никого, никакого мужчины больше не было в ее жизни – никого, кроме него одного.

* * *

Лидия Делекторская завещала похоронить себя в России. Ее прах был привезен из Франции и погребен под Санкт-Петербургом. Но, подобно многим французам (а ведь за столько лет жизни в этой стране она уже стала немножко француженкой!), она купила себе место там, где обретают последнее пристанище почти все французские русские: на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там и по сей день стоит памятник над пустой могилой с табличкой:

«Лидия Делекторская 1910 – …»

И тот, кто не знает истории этой женщины, может подумать, что Лидия Делекторская все еще жива.

Ну да, она жива – на тех полотнах Анри Матисса, в углу которых написано: *Lidia!*

Полуулыбка-полуплач (Федор Рокотов – Александра Струйская)

Физиогномия у лакея была какая-то… перевернутая. Тряс брылами и нелепо жевал губами, как будто бы только что подавился чем-нибудь препакостным. Видать, схлопотал от господина своего. Струйский был на расправу скор, что да, то да, во гневе никого не обделял оплеухою, от кухонного мальчишки до почтенного лакея. Потом, бывало, щедро жаловал поцелуем своей барской ручки, прощением одаривал.

Ничего, обойдется и на сей раз.

— Будь здоров, Кузьмич! – усмехнулся Федор, проскакивая мимо, по обыкновению своему, через две ступеньки, однако что-то его остановило, звук какой-то.

Всхлип?

Обернулся – да и впрямь! По розовой пухлой щеке Кузьмича катилась слеза, обегала выбритую губу и пряталась в тщательно разделенной надвое бороде.

— Кузьмич? – полувопросительно проговорил Рокотов. – Не стряслось ли чего? Неужто снова стомах крутит?[35]

Водилась у него такая привычка – дворню о здоровье спрашивать. Не кичился положением придворного живописца, помнил, что сам некогда был таким же, как эти *люди,* – подневольным, крепостным князей Репниных в подмосковном селе Воронцово. На счастье, князь благоволил к матушке Федора, вот и дал вольную в добрую минуту и любезной своей, и сыну ее (поговаривали – его собственному, но тайна сия велика есть, она так и осталась тайною!). Потом граф Шувалов, известный меценат, покровитель просвещения и искусства в России, заметил в доме Репнина талантливого юного художника. Федора приняли в петербургскую Академию художеств, которую он успешно закончил и сделался моден в свете, заказы сыпались один за другим, что в Петербурге, что в Москве, где он обретался ныне.

Рокотова судьба отметила удачею, но не всякому так в жизни повезет. Бога за милосердие благодарить надобно, однако не след гневить его зазнайством, ибо не твоя сие заслуга, а благорасположение Провидения. Оттого и был Федор добросердечен к простым людям, оттого и пользовался их ответным расположением, а не ненавистью, как иные господа, тем

паче «из своих», из низших до верхов поднявшиеся…

— Да что такое, Кузьмич?!

— Господи, Федор Степанович… Боже ты мой… беда у нас! – уже не сдерживаясь, громко всхлипнул лакей, но тут же, опасливо косясь наверх, где находился барский кабинет, зажал рот рукою. И невнятно выговорил: – Беда! Беда великая!

— С кем? – быстро спросил Рокотов, холодея. – С Николаем Еремеевичем? Или…

Задавая этот вопрос, он уже знал что – «или», потому что из-за барина своего, на расправу скорого, на оплеуху быстрого, на гнев стремительного, Кузьмич не стал бы так себя изводить. Значит, «или». Значит, что-то случилось с ней… с Александрой Петровной. С Сашенькой!

Он бросил еще один взгляд на Кузьмича, понял, что от лакея толку не добиться – так и будет дрожкою дрожать до бесконечности да мычать сквозь ладонь невнятное, – и рванулся наверх.

Под всеми дверьми темно, только из-под той, что прикрывает доступ в святилище господское – кабинет хозяина, – ярко светится. Рокотов был дружен со Струйским и входил обычно без доклада, только постучав, однако сейчас не стал терять время ради условностей – рванул дверь.

И, как обычно, шибануло в нос пылью.

Пыль в своем кабинете Струйский не дозволял вытирать. Еще здесь, в московском доме, было худо-бедно терпимо, а побывав в Рузаевке, родовом имении Струйского, и войдя в кабинет, который назывался исключительно святилищем либо Парнасом, Рокотов едва не задохнулся и аж зажмурился при виде царившего там беспорядка: книги валялись вперемежку с одеждою, рядом с сургучом брошен был перстень алмазный, возле большой рюмки стоял потертый бюст какого-то пиита, чье имя тоже давным-давно было припорошено пылью веков… По деликатности природной он постеснялся спросить Николая Еремеевича, в чем причина столь несообразной страсти к пылеобразованию, однако глаза ему на причину хозяйской причуды раскрыл князь Иван Михайлович Долгоруков, бытописатель и пиит.

«Пыль, – якобы говорил Струйский, – есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, был ли кто у меня и что трогал».

В сие святилище никто не хаживал, опасаясь хозяйского гнева, да и не пускал никого Струйский к себе, высокомерно уверяя, что не должно метать бисер перед свиньями. Даже его жена держалась от любимого обиталища супруга как можно дальше. Однако сейчас Рокотов встревоженно огляделся, словно надеясь увидеть ее тонкую, изящную фигуру в простом синем

домашнем платьице и мило причесанную русоволосую головку. Дома Сашенька, то есть, простите великодушно, Александра Петровна Струйская, хаживала, конечно, без назойливого и жаркого парика, а обкручивала голову в два ряда косою. И так-то была она в этой косе мила, так нежна, что у господина придворного живописца приключалось убыстрение сердцебиения, дрожание конечностей, помутнение зрения, а упомянутый стомах начинало крутить куда пуще, чем у Кузьмы, ведь у Кузьмы сие кручение происходило небось от переизбытка редьки, скушанной с постным маслом, а у господина Рокотова – от переизбытка почтения к прелестной госпоже Струйской… Ну да, почтения, а чего же еще, господа хорошие, какие еще чувства можно испытывать к замужней даме, к тому ж – супруге твоего доброго приятеля… какие еще чувства можно испытывать к ангелу небесному, для чего-то осенившему грешную землю легкой поступью своей изящной ножки?! А глаза ее… Ах ты боже мой, что испытывал сорокалетний живописец при взгляде в эти дивные глаза двадцатилетней красавицы!

Вернее, чего он только не испытывал…

Увы, сейчас заглянуть в эти невероятные, туманные очи возможности не представилось: в кабинете Рокотов узрел только фигуру хозяина, одетого соответственно его собственным представлениям о моде и комфорте: поверх фрака у него был надет парчовый камзол, подпоясанный розовым шелковым кушаком; белые чулки и башмаки на высоких каблуках подчеркивали легкую кривизну ног. Особую гордость хозяина составляла длинная, на прусский манер, косица, которую он обильно посыпал пудрой. Сам Струйский был полноват, однако у него было худощавое лицо, исступленно-горячечные глаза и безвольный рот, выдававший натуру сумасброда, эгоиста и неврастеника.

Сейчас этот рот нервно кривился, а глаза были затуманены слезами.

— Рокотов! – воскликнул Струйский, увидев на пороге гостя. – Ты вовремя! Ты всегда приходишь вовремя! Муза осенила меня крылом своим легкокрылым!

Струйский нахмурился. «Осенила легкокрылым крылом» – вышло как-то неладно и нескладно…

— Крылом своим благодатным осенила меня муза! – пылко поправился он. – Вложила в десницу мою стило свое и направила мысли мои ко сложению стиха! Вот послушай!

Он широко размахнул рукой, так что с кружевной манжеты посыпалась пыль, и снял с конторки кругом исчерканный листок. Подошел поближе к свече и поднес листок к глазам. Откашлялся,

готовясь начать…

Рокотов предусмотрительно посторонился. Причина для сего имелась. Тот же князь Долгорукий однажды рассказывал:

— Явился я как-то к нашему пииту с товарищем, и читал Струйский нам свое новое произведение. Читал с восторгом и жаром, и таково был талантом своим собственным восхищен, что схватил внезапно моего товарища за ляжку и так больно, что тот вздрогнул и закричал, а Струйский, не внемля ничему, продолжал чтение свое, как человек в исступлении…

Не хотелось бы испытать сего удовольствия от гостеприимного хозяина!

— Все обращение его, впрочем, было дико, странно, – добавил тогда Долгорукий, и Рокотов это вспомнил, потому что и сейчас Струйский был дик и странен. И голос его звучал с этаким лесным завыванием:

Когда б здесь кто очей твоих прелестных стоил,
Давно б внутрь сердце он тебе сей храм построил,
И в жертву б он себя к тебе и сердце б нес.
Достойна ты себя, Сапфира!.. и небес.
Почтить твои красы, как смертный, я немею,
Теряюсь я в тебе… тобой я пламенею.

Перевел дух и спросил с нескрываемым восторгом:

— А, Рокотов? Каково!

— Блистательно, сударь, – подавив скрип зубовный, кивнул живописец, давно уже усвоивший, что сие слово более всего по нраву творцу-стихоплету, ибо сам он считал вирши свои именно блистательными и мнения иного просто не воспринимал. – Как и все, что принадлежит перу вашему и вдохновлено музою вашею. На сем Парнасе нет вам равных!

На сем Парнасе, ежели иметь в виду кабинет, и впрямь не было равных хозяину, так что Рокотов не брал на душу греха лжи. Да, впрочем, его сейчас сие волновало столь же мало, как судьба прошлогоднего снега.

— Позволительно ли мне будет осведомиться о здравии уважаемой Александры Петровны и выразить ей свое почтение? – поспешно спросил Рокотов, норовя успеть, прежде чем Струйский разразится очередной поэзою, – и обмер, увидев, как исказилось лицо вдохновенного пиита.

— Милостивый бог… Саш… Александра Петровна… она… храни ее Господь, она не больна?! – невольно воскликнул Рокотов

и стиснул кулаки, досадуя, что выдал себя, что не смог скрыть муку, прозвучавшую в голове.

Однако Струйский ничего не заметил. Лицо его искривилось болезненной гримасою, он отвернулся, угрюмо буркнул:

— Сие мне неведомо.

— Что-что?! – выдавил Рокотов, преодолев минутное онемение. – Александры Петровны дома… нету? Уж не уехала ли она в Рузаевку? Или, храни и помилуй Господи… не захворала ли?!

Струйский через плечо посмотрел на него, потом вдруг сорвал с головы засаленный колпак и яростно швырнул в угол кабинета:

— Жена покинула меня! Жена меня покинула! Супруга, богоданная Сапфира… то есть нет, наоборот: Сапфира, богоданная супруга, покинула меня на произвол… нет, не так: на гнет стихиям обрекла бездушно… бездуховно… Нет, лучше все-таки – бездушно! – Он пощелкал пальцами, подыскивая нужное слово, и Рокотов понял, что является свидетелем рождения очередного стихотворного шедевра.

Но сейчас ему мало было дела до пиитических изысков Струйского. «Покинула» – что значит сие слово? Его можно толковать как угодно! Милостивый бог! Да жива ль она?!

Рванулся вперед, схватил хозяина за изъеденное временем кружевное жабо:

— Где она? Где Александра Петровна?!

Струйский, чудилось, и не заметил непривычной вольности обращения. Тяжело вздохнул и обратил на Рокотова помутневшие глаза, из которых покатились слезы на поблекшее от печали лицо:

— Она уехала с гусаром!

* * *

Первое, что увидела семнадцатилетняя Сашенька Озерова после того, как, сделавшись Струйской, ступила на порог мужнина дома в Рузаевке, было множество картин. Их оказалось столько, что, чудилось, следующие придется размещать на потолке. Однако потом она узнала, что муж ее, Николай Еремеевич, обладал удивительным даром втискивать все новые и новые полотна в едва, чудилось, различимые просветы между прежними. А снова и снова картины перевешивать было его прелюбимейшим занятием. Страсть его к собирательству и

развешиванию портретов, ландшафтов и натюрмортов была сравнима лишь со страстью к стихотворчеству и книгопечатанию. Причем даже трудно было сказать, какое из сих трех занятий привлекало его сильнее.

Новобрачный встретил появление юной жены в его доме стихами:

С смертью лишь тоску избуду,
Я прелестною сражен.
А владеть я ей не буду?
Я ударом поражен.
Чувства млеют.
Каменеют…
От любви ее зараз
Вскрылась бездна.
Мне любезна,
Слезы кинулись из глаз.

Честно говоря, Сашенька в поэзии мало что понимала, однако ей всегда казалось, что при чувствительных излияниях до́лжно плакать, по крайности – заунывно вздыхать, но никак не смеяться. А ведь она едва хохот сдержала, поелику стихи супруга показались ей ужасно забавными. Но ему, судя по всему, они таковыми не представлялись, ведь, читая их, Николай Еремеевич и глаза закатывал, и рукою себя в грудь бивал, и власы на голове, парик подъемля, рвал – словом, совершал все ужимки, необходимые при произнесении вслух стихотворных строк. Такая тонкость душевная была Сашеньке тем паче приятна, что супруг ей достался не первой молодости и уже овдовевший, мало того – потерявший со смертью первой жены, Олимпиады Балбековой, также и двух дочерей-младенцев.

К слову сказать, спустя некоторое время, в доме мужнином обжившись и все картины рассмотрев не раз и не два, Александра Петровна обнаружила портрет какого-то молодого человека в пышном воротнике и широкой темной накидке. У него было нежное лицо, крутые брови, маленький ротик и удлиненные глаза, а на обороте полотна отыскалась корявая надпись. Сашенька с детства любила разгадывать всяческие загадки, и вот однажды, от нечего делать, она села и принялась вглядываться в причудливый узор надписи. Не через день, не через два, но постепенно различила она средь завитушек и рисунчатой вуали такие строки:

Не знающу любви я научал любити!
Твоей мне нежности нельзя по смерть забыти!
Ты цену ведала, чего в жизнь стоил я?..
И чтит тебя за то по днесь душа моя.

Одновременно с этим случилось еще одно открытие. Крутя портрет так и этак, Сашенька нечаянно поцарапала его в самом углу картины и увидела в пробеле царапинки слой краски совсем другого цвета. Поцарапала еще и еще… И тут ее озарило догадкой!

Да ведь это портрет ее предшественницы, Олимпиады Струйской, урожденной Балбековой, в которой текла татарская кровь. Отсюда и брови вразлет, и удлиненные глаза. Очевидно, муж велел кому-то из своих крепостных живописцев замалевать портрет первой жены, чтобы не возбуждать ревности во второй!

Такая душевная тонкость немало тронула Сашеньку. Она повесила портрет на место и более не прикасалась к нему. И мужу ни словом не обмолвилась о своем открытии. Не глупо ли ревновать к прошлому?! Ведь сомнений в верности супруга у нее не возникало никаких. Конечно, нрав у Николая Еремеевича оказался непростой… на расправу с людьми он был крут и скор, провинившихся сек плетьми либо заточал под замок в сарай. На это Сашенька смотрела с одобрением, зная, что народишко ленив, ему бы только брюхо набить либо горло залить, а ты, господин, их задаром корми и работы не спрашивай! Отец Сашеньки, помещик Нижнеломовского уезда Пензенской губерии Озеров, крепостных бивал и строг с ними был; так же поступали и знатные родичи ее, у одного из которых, Петра Румянцева-Задунайского, служил ее родной брат…

А вообще говоря, скоро Сашенька заметила, что дела мелкие, хозяйственные ей придется брать в свои нежные ручки, потому что куда более занимало ее супруга стихосложение и печатание книг.

Он завел в провинциальной глуши Рузаевки типографию, которую – Сашенька сама слышала! – гости называли лучшей в России. Ни сил, ни средств, ни времени не жалея, Струйский выписал из-за границы лучшие сорта бумаги, оригинальные шрифты, типографские станки. К себе он приглашал граверов и рисовальщиков, которые прославились работою в типографиях Москвы и Петербурга: Набгольца, Шенберга, Скородумова. Крепостных своих Струйский отдавал в специальное обучение, и

вскоре они уже делали роскошные переплеты с золотой вязью тисненых букв не хуже, чем их учителя-немцы.

— Ах, – восклицал князь Долгоруков, частый гость в Рузаевке, – это ведь истинно произведения искусства, оку наслаждение, рукам ласка!

Да уж наверное! Ведь фолианты печатались на атласе или александрийской клееной бумаге, страницы украшались виньетками и рисунками. Муж гордо рассказывал Сашеньке, что сама императрица, просвещенная государыня Екатерина Алексеевна, которой Струйский регулярно отсылал экземпляры своей продукции, похвалялась ими перед знатными иностранцами – мол, видите, какие шедевры печатают у меня даже в захолустье. Сначала Сашенька в сие не больно верила, ну а потом, когда Николай Еремеевич был за заслуги в книгоиздательстве жалован драгоценным бриллиантовым перстнем, покаялась в глупости своей.

Знала она, что супруг ее не чуждался и наук, увлекался оптикой, желая поставить ее на службу книжному делу, и, случалось, немало бранился, оттого что книгопечататели законами оптическими пренебрегают:

— Многие сочинения наших авторов теряют своей цены от того только, что листы не по правилам оптики обрезаны, что голос от этого ожидает продолжение речи там, где переход ее прерывается; и от этой нескладности тона теряется сила мысли сочинителя.

Сашенька мужу верила на слово: поскольку себя считала слишком глупой, так что ж ей в такие мудреные дебри забредать. Небось ведь потом и не выберешься!

Книгоиздание ее волновало мало: ну, тешится супруг – и пускай, мужчины – они ведь дети малые, им лишь только дай хоть чем-нибудь поиграть!

Главное, что Николаю Еремеевичу от собственных его занятий хорошо на душе, он мыслит, будто обеспечил себе бессмертие и место в вечности:

Смерть, возьми мое ты тело,
Без боязни уступаю!
Я богатства не имею,
Я богатство, кое было,
Все вложил душе в богатство.
И не станется умнее,
Но души моей коснуться,
Смерть, не сможешь ты вовеки!

Вопросы жизни и смерти также были для Сашеньки слишком сложны.

Ей более всего нравились картины… и художники.

Николай Еремеевич умудрялся вовсе не тратить состояние на столь дорогостоящее дело, как покупка картин у именитых мастеров. Его собственные крепостные малевали все требуемое хозяину преизрядно, но они вовсе не были неучами-мазилами, а отправлялись обучаться к настоящим мастерам. Одного своего крепостного человека, Алексея Зяблова, Струйский отдал в ученики к знаменитому живописцу Федору Степановичу Рокотову.

Струйский очень хотел иметь у себя его выученика, ибо писал Рокотов легко и свободно, почти играя, умел «проникнуть во внутренность души» и вполне достоин был, по мнению восхищенного рузаевского помещика, самых восторженных эпитетов, которые Струйский немедля и нанизал в письме: «Рокотов!.. достоин ты назван быти по смерти сыном дщери Юпитеровой, ибо и в жизни ныне от сынов Аполлона любимцем той именуешься!»

Особенно восхищен был Струйский портретом знаменитого Сумарокова и немедля захотел возвеличить собственный образ кистью знаменитого живописца, однако залучить к себе Рокотова было непросто. Картины его были в необычайной моде, и очередь желающих иметь его творения выстраивалась предлинная. Средь его моделей был в 1758 году великий князь Петр Федорович (будущий Петр III). А спустя три года художнику позировал в Петергофе семилетний наследник престола Павел Петрович. Летом 1765 года Рокотов был вовзведен в ранг академика. Писал он княгиню Орлову, графиню де Санти, княгиню Голицыну, писал поэтов и писателей Майкова, Домашнева, Ельчанинова, Порошина, Воронцова, писал директора Эрмитажа Бутурлина… Да он и императрицу Екатерину писал!

Кстати, один из ее портретов Рокотов позднее создаст по заказу Николая Еремеевича Струйского. Это поясное изображение в натуральную величину, где государыня смотрится дивной красавицею. Чрезвычайно красива также и рама портрета – резная, позолоченная: на раме были вырезаны рузаевские ели и развернутая книга с изображением первой страницы эпистолы, коя посвящена Струйским обожаемой императрице.

Портреты кисти Рокотова казались Сашеньке Струйской истинно прелестны! Люди, на них изображенные, не стояли

надуты, глаза не пучили, а, чудилось, продолжали жить и дышать. И вот именно что глаза были главным достоинством этих портретов! Картины были исполнены теплотой и трепетом, лица как бы выступали из мерцающего сумрака, черты были слегка размыты, словно окутаны дымкой, из которой выступали неясные очертания пудреных париков и закутанных в атлас плеч. Сашенька от мужа, который, чудится, все на свете знал, услышала, что дымка эта на языке художников называется «сфуммато».

Ах, какое слово… легкое, ароматное, словно зефир!

Сашенька подумала, что Рокотов с удивительным мастерством умел передавать не только вид лица, но и нежность сердца. А уж каково прелестно умел изобразить тонкости дамских одеяний! Шелк, им изображенный, струился, атлас скользил, бархат мягко прилегал к телу, мех согревал, кружева крахмально потрескивали… А как искрились каменья в перстнях и подвесках!..

Сашенька мечтала иметь свой портрет, созданный этим чудесным мастером, однако понимала, что вряд ли может сбыться сие. Кто Рокотов – и кто она? Хорошо бы Зяблов выучился у Федора Степановича хоть подобию мастерства и потом напечатлел лик госпожи своей на полотне! – мечтала она.

Однако же мечте той не суждено было осуществиться: Зяблов оказался учеником талантливым, прилежным и способным, однако, беда, на свете не зажился.

Переписываясь с Рокотовым по поводу безвременной кончины своего крепостного (кончина сия его учителя опечалила весьма), Николай Еремеевич с ним сдружился и осмелился просить создать портреты свой и жены. Заказчиков у Рокотова в самом деле было много, поэтому пришлось ждать долго. Струйские переехали на время в свой московский дом…

И вот в 1772 году сорокалетний Федор Степанович Рокотов наконец появился в доме Струйских и был представлен хозяйке.

Сашенька незадолго до этого отпраздновала первый год жизни своего старшего сыночка Леонтия, приучалась отзываться не только на ласковое – Сашенька, но и на имя-отчество Александра Петровна и смотрела на жизнь чуточку свысока. Во всяком случае, всем холостым молодым людям, которые являлись в поле ее зрения, она, как и подобает матроне, начинала немедля изыскивать будущую подругу жизни средь знакомых барышень, коим грозило незаслуженно засидеться в девках. Однако у нее и мысли такой не возникло относительно Федора Степановича, несмотря на то, что он не был женат и грозил незаслуженно войти в разряд старых холостяков…

Более того: она порадовалась – тайно, тихо, скрывая эту радость даже от себя самой! – что новый знакомый холост. Разумеется, Рокотов об этих мыслях своей модели даже и не подозревал.

Работа началась.

Прежде всего Сашенька показала художнику все свои наряды. Не бог весть сколько их было, конечно, однако она сочла себя чуть ли не мотовкою, столь долго выбирал Федор Степанович подходящую для нее одежду. Ах, как она пожалела, что нету у нее роскошного синего бархатного туалета, как у княжны Юсуповой, или розового платья, как у другой дамы с его картины… Наконец Рокотов остановился на серебристом-сером атласном платье, которое Сашенька прежде почти не носила, находя, что серый цвет ее бледнит. Выбран был также прозрачно-желтый дымчатый шарф, который вовсе уж никогда раньше не касался плеч хозяйки. Желтого цвета Сашенька не любила, почитая его цветом измены. Теперь пришлось надеть. Волосы она не любила прятать в парик, и никто не стал ее неволить, лишь припудрить их велел художник, причем делал это сам на каждом сеансе, ото лба накладывая пудру чуть гуще, далее низводя тон до легкого налета вроде тончайшей пепельной вуали, ну а темный локон, переброшенный на грудь, так и оставался нетронутым.

— Вы куда хотите, туда и смотрите, – сказал он Сашеньке на первом же сеансе. – О чем хотите, о том и думайте. Но уж коли я попрошу: гляньте на меня, вы послушайтесь… Хорошо, милая Александра Петровна?

— Ну что ж это я глазами по сторонам шнырять буду? – степенно ответила она. – Я уж лучше все время буду на вас глядеть, Федор Степанович. Можно?

— Ну, глядите, – позволил он, как ей почудилось, слегка растерявшись.

И вот так они и проводили время. И порою пристальные взгляды Рокотова (а как еще художник может смотреть на свою натуру?) сталкивались с мягким взором Сашеньки, в голове которой плавали медлительные, словно лебеди в озере, мысли: «А почему Федор Степанович один живет? Нет, не ведомо сие никому: может быть, есть у него тайная сожительница, ведь мужчины – это те существа, которые к одинокому житью не способны… Но отчего ж он на ней не женится? Быть может, она из простых, или он в другую влюблен? Какова же должна быть та, что привлечет его сердце? Он столько видел женской красоты… Он проникает взглядом своим в самые глубины сердца женского, чудится, нет от него тайн! О господи, а что, если он сейчас читает мои мысли? Ну, коли так, пускай прочтет: я прошу его, нет,

приказываю не называть меня больше Александрой Петровной! Называть велю Сашенькой!»

— Что за прелестный румянец, Сашенька, – тихо-тихо сказал, вернее, выдохнул художник. – Ах, простите великодушно, Александра Петровна! Прелестный оттенок, он непременно будет запечатлен на полотне, и румянец сей придаст особую выразительность вашим глазам. Ах, глаза, глаза, какие же у вас глаза… Обычно черные глаза сравнивают с бархатом, с агатами, а вот персы выражаются изысканно: черными солнцами называют они черные очи. Но ваши глаза я сравнил бы с туманами, с ночными озерами, покрытыми легкой мглою… И не разглядишь, что там, в том тумане, кроется: смех ли, слезы тайные… Обманываете ли вы или сами обманываетесь? Дивные, неразгадываемые загадки таятся в ваших глазах, именно в том сила их, что нет в них ничего определенного, ни страсти, ни горя – вечное ожидание от судьбы первого шага… А сами вы этого шага никогда не сделаете, в том и сила ваша, в том и слабость, красавица вы моя ненаглядная, Сашенька… ах, простите, Александра Петровна!

И неизвестно, до чего бы они договорились, кабы не пожелал Николай Еремеевич присутствовать на сеансах. Он пожелал, ну а Рокотов не посмел ему отказать.

Потом ее портрет был завершен, потом Федор Степанович начал писать ее мужа… потом он сделался другом дома, и хоть в глазах его она по-прежнему прочитывала очень многое, все же более не вел он с ней разговоров, от которых у нее подгибались колени, дыхание спирало в груди, а из глаз вот-вот готовы были пролиться слезы не то восторга, не то испуга, не то нежности, не то смертной муки. Окончание работы над портретом (чудный он получился, красоты неописуемой, Сашенька даже боялась долго глядеть на своего двойника, глаза коего словно бы душу из нее вынимали!) она отметила потоком горьких тайных слез. Почему плакала? Потому что знала доподлинно: не было в ее жизни времени счастливее, чем эти дни, и более уж не будет!

* * *

— Что?! – выдохнул Рокотов, ушам своим не веря. – Как это – сбежала?! С каким еще гусаром?!

Хозяин тяжело вздохнул, а потом этак-то конфузливо пожал плечами и с козлиной интонацией проблеял:

— А бес его знает!

— Ничего не понимаю! – Рокотов чувствовал себя не просто ничего не понимающим, но тупым, как пень. – Как же она могла?! Как решилась?!

На глазах Струйского показались слезы:

— Первоначально-то не решалась никак. Плакала, пеняла мне. А потом, когда я ей сказал: ну что ж, голубушка моя, или ты хочешь, чтобы я пулю в лоб пустил? Охота тебе детей сиротить? Сама знаешь: карточный долг – святое дело!

— О господи! – Рокотов схватился за голову. – Какой долг? Чей долг?! Вы только не говорите мне, любезнейший Николай Еремеевич, что супруга ваша затеяла за карточным столом семейное достояние проматывать!

Струйский понурился и с прежним конфузливым выражением хихикнул:

— Нет, о состоянии тут и речи не было! Ну, метнули талью-другую… не повезло мне. Я и говорю ему (поймите, сударь, не железный же я и не каменный, в раж вошел!): нет, не отыграюсь – мне не жить!

— Да кому ему-то?! – перебил рокотов.

— А, ну, этому… молодому Казанцеву. Знаете, семейство на соседней улице живет, дом о три колонны с большим яблоневым садом? Казанцевы… да знаете вы их, знаете! Сын их в гусарах служит. Игрок, кутила, пропащая душа! – Струйский ожесточенно погрозил куда-то в пространство, вновь осенив облачком пыли стопки книг и бумаг, беспорядочно составленных на столе. – Ну… соблазнил, каюсь… Слаб человек, и я слаб. Сели за стол. Не шло мне нынче, не приваливало. Он, змей, бес, говорит: хватит-де мелочиться, ставим по-крупному! И бах на кон табакерку с бриллиантами! Я… ну, выставил кое-что. Не повезло… А, да что долго рассказывать! – Струйский махнул рукой. – Предлагал ему в отыгрыш типографию свою рузаевскую – нет, ни в какую. Собрание стихов своих, «Еротиады» называемое, посвященное возлюбленной супруге Александре Петровне, – ни в какую опять-таки. Вы, говорит, перстень государыни поставьте брильянтовый либо вашу красавицу жену. Ну сами посудите, Федор Степанович, с подарками, кои посылают нам венценосные особы, судьбы наши вершащие, олимпийцам подобно, – с подарками, я мню, таковых-то особ позволительно лишь на плахе расставаться… Хотя Виллим Монс не расстался с перстнем первой Екатерины даже и на плахе. А впрочем, то был дар любви, а мой перстень – признание заслуг моих государственных, что означает пред ликом вечности гораздо боль…

— Молчите, несчастный! – закричал Рокотов, с усилием

вырываясь из вязкой трясины словесной, которая засосала его уже почти с маковкой. – Вы что, проиграли в карты жену свою?! Сашеньку?!

— Однако! – воскликнул Струйский, становясь в позу. – С каких это пор вы позволяете себе называть Александру Петровну сим именем? И как она допустила с собою такие вольности?

Рокотов не отвечал. Выскочил вон из кабинета, слетел по лестнице, едва не сбивши с ног Кузьмича, который топтался внизу все с тем же потерянно-плаксивым видом.

— Не время плакать, Кузьмич! Собери дворню! Госпожу отбивать надобно! Если в доме ружья есть да пистоли, несите все! А кому не останется, пускай с вилами идут!

Рокотов осекся, с изумлением вслушиваясь в раскаты собственного голоса.

Да он ли это, такой всегда спокойный, важный, прослывший надменным даже при дворе? Чудится, слышит он крик не живописца, милостями вышних мира сего взысканного, а юнца, ошалелого от любви!

Да он и юнцом не был столь взволнован, столь…

Он не успел додумать.

Дверь распахнулась от сильного толчка, на пороге вырос дородный господин в бархатной шубе с бобровым воротником. Рокотов узнал его сразу: это был Казанцев-старший, владелец того самого дома о три колонны, куда он только что собирался вести дворовое воинство, вооруженное ружьями и вилами.

— Простите великодушно, – пробормотал Казанцев, сторонясь и пропуская мимо себя тонкую и высокую женщину, закутанную в салопчик. Она проскользнула к лестнице… из-под капюшона сверкнули на Рокотова изумительные, полные слез глаза.

— Сапфира! – послышался восторженный вопль с площадки лестницы, и по ступенькам зачастили ноги, обтянутые белыми чулками и обутые в башмаки с пряжками. – О моя Сапфира! Ты вернулась ко мне! А я уж думал, что удел мой – одиночество в вечности! Одни музы, думал я, будут мне отныне подругами!

Музы, вы мое богатство,
И спокойствие душевно,
И блаженство в краткой жизни! –

продекламировал Струйский, воздев руку, и лишь потом заключил в объятия покорно ждущую сего жену.

Они вместе ушли в кабинет.

Казанцев встревоженно посмотрел на Рокотова:

— Федор Степанович, вы к великим мира сего вхожи… Как думаете, простится глупая шалость сына моего? Он нынче же отбудет в полк. Я готов принести все мыслимые извинения, однако осмелюсь заявить, что такие ставки невозможны, как та, какую сделал Николай Еремеевич. Для человека разумного…

— Да он неразумен, в том-то и беда! – перебил Рокотов. – Неразумен, зато… зато счастлив!

— Да, – сказал Казанцев, чудилось, невпопад. – В одном господь отнимает, а в другом щедро воздает.

Рокотов кивнул. Говорить он не мог.

С того места, где стоял Кузьмич, донеслось последнее всхлипывание – уже вполне спокойное и отнюдь не горькое.

Прощальное.

* * *

Вскоре после этого случая Федор Степанович Рокотов уехал в Петербург и ежели впредь общался с Николаем Еремеевичем Струйским, то лишь от случая к случаю, а жены его и вовсе более не видал. О смерти рузаевского помещика он был наслышан, однако также слышал и о том, что у Александры Петровны народилось восемнадцать детей и она правит в Рузаевке твердой рукой.

В 1804 году оставил сей мир и Рокотов. К концу жизни слава его как живописца придворного несколько сошла на нет, и молодые поколения поклонялись уж новым кумирам.

После смерти супруга Александра Петровна и впрямь принуждена была сделаться самовластной правительницей в имении своем. Иначе было, конечно, нельзя. С народом-то лишь дай слабину – и сам пропадешь! Однако она ни словом не поперечилась, когда любимый сын ее, Леонтий, задумал взять в жены крепостную девку, красавицу Аграфену Федорову. Вообще Александра Петровна ни за что не противилась, когда ее люди норовили заключить браки по любви, а не по воле родительской или господской. Леонтий и не сомневался, что матушка даст вольную Аграфене!

Однако свадьба не сладилась. Леонтий был зарублен крепостным кузнецом, который мечтал взять Аграфену за себя…

Первые дни Александра Петровна пребывала словно бы без

ума и велела управляющему четыре дня не давать всей дворне ни крошки хлеба. И только когда ослабевшие от голода люди стали падать под ее окнами без сил, отмякла душой. Кузнеца увезли стражники, а бьющейся в слезах Аграфене Александра Петровна посулила найти хорошего мужа.

Не прошло и полугода, как она выдала ее с хорошим приданым за мещанина города Саранска Ивана Ивановича Полежаева.

В 1808 году Иван Полежаев пропал без вести. Аграфена с детьми вернулась в усадьбу Струйских, где спустя два года умерла. Старший сын ее Александр Полежаев был зван пред очи барыни. Долго вглядывалась она в черты мальчика, потом разочарованно покачала головой:

— Нет! Мамкин сын. А все ж Леонтия кровь, не оставлю его!

В 1816 году 12-летний Александр был отправлен в Москву на учебу в «модный пансион», а с 1820 года он стал вольным слушателем словесного факультета Московского университета. Там он и начал писать стихи (ага, кровь Леонтия, вернее, Николая Еремеевича Струйского дала-таки себя знать!), в одном из которых отзывался о месте своего рождения так:

Быть может, в Пензе городишка
Несноснее Саранска нет,
Под ним есть малое селишко,
И там мой друг увидел свет.

Поэма «Сашка», из которой взяты эти строки, являла собой образчик столь бесстыдного и отъявленного распутства, что Полежаев однажды средь ночи были привезен в Зимний дворец и поставлен пред светлы очи императора Николая I. Устремив на юного охальника свой знаменитый «взгляд василиска», император заявил, что заразу распутства намерен искоренить, и отправил Полежаева на Кавказ в военную службу… Чем оказал, кстати сказать, будущему поэту немалую услугу, ибо служил он под началом генерала Вельяминова столь успешно, что ему был со временем памятник воздвигнут за редкостную доблесть и отвагу! Правда, в последующие времена памятник сей разрушили…

А жизнь свою Полежаев разрушил сам. Как ни странно, будучи опальным, ссыльным, разжалованным, он не только много писал, но и много печатался. И кабы не лежала в нем пагубная страсть к самоуничтожению, мог бы много преуспеть. Однако спился и умер от чахотки в состоянии совершенно диком!

Странно… странно! Совпадения на свете бывают совершенно диковинные. Стихи Полежаева очень ценил некий поэт позднейших – советских! – времен по имени Николай Александрович Заболоцкий. Однако из всего сонма «диких строк», на которые щедра была лира Полежаева, он выбирал для частого цитирования самые нежные, посвященные Екатерине Ивановне Бибиковой… У нее были чудесные черные глаза, Полежаеву казалось, что душа Катеньки взывает к нему при каждом взгляде:

Лобзай меня, певец осиротелый,
как мотылек лелеют поутру.
Люби меня, как милую сестру.
И снова я и к небу и к добру
направлю твой рассудок омертвелый.
Смертельный яд любви неотразимой
меня терзал и медленно губил.
Мне снова мир, как прежде, опостыл.
Быть может… нет, мой час уже пробил,
ужасный час, ничем не отвратимый.

Откуда перенял, от кого унаследовал безумный, яростный, жестокий Полежаев эту нотку щемящей нежности, которая вдруг пробилась сквозь нестройное сонмище исторгаемых им звуков? Может быть, от некой Александры Петровны Струйской, родства с которой он не помнил?..

Кстати, Катенька Бибикова была очень недурная художница, и самый лучший портрет неистового Полежаева принадлежал именно ее кисти.

Копия этого портрета какое-то время имелась у Заболоцкого, потом пропала. А еще он всюду возил с собой (даже во времена самые тяжелые, даже во времена своей дальневосточной ссылки) репродукцию одного портрета кисти Федора Рокотова. Конечно, в странствиях репродукция затерялась, но не могла угаснуть память о красоте, о любви, о вдохновении, о тайне, о которой Заболоцкий, может быть, и не знал ничего, но о которой догадывался так безошибочно, как может догадываться только вещее сердце истинного поэта, отыскав разгадку на самом дне своей души:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Термоядерная Гала (Сальвадор Дали – Елена Дьяконова)

Телеграмму принесли чуть свет, но она уже давно не спала. Сердце разрывалось от тревоги. Всю ночь, всю ночь однообразно, как биение маятника, в мыслях стучало: «Где он… ну где он?!»

На самом-то деле больше всего ее волновало – с кем он.

Но стоило себе признаться, что думает она только о каких-нибудь пышно-розовых телесах, в колыхании которых сейчас утопает его смуглое, сильное, поджарое тело, как у нее начинало першить в горле, и она начинала просто задыхаться от ревности. Помнится, такое уже было однажды. Ее великий и знаменитый муж тогда принимал в Нью-Йорке русского журналиста. Она была против, ну и правильно! Как погано тот описал увиденную сцену: «Великий художник сидел в глубине холла… Справа от него расположились две ослепительные девицы рубенсовского телосложения, почти голые и неотразимые… На обеих были надеты ошейники из черного бархата, а поводки их позолоченных цепочек держал в своих руках художник, изредка позвякивая ими. Девицы отвечали на эти звуки громким здоровым хохотом.

Слева от художника сидела его знаменитая жена… Она была явно не в духе. То ли ее раздражали трясшие неотразимыми телесами шведки, то ли предстоящая встреча с посланцем мира коммунизма, который она ненавидела всеми фибрами своей упрямой души…»

Здесь все вранье, здесь все правда. Она тогда отчаянно приревновала своего «малыша» к девкам, которые были всего лишь реквизитом. Оплачиваемым реквизитом при встрече. Ну не смешно ли? Она, которая сама нашла ему эту модель-певичку Аманду Лир, чтобы «малыш» мог слегка оживить свои угасающие эмоции и чувства, она, которая и сама бегала от него направо и налево, – вдруг приревновала к реквизиту. Ей ужасно хотелось, помнится, плюнуть на них, на этих девиц, или загасить об их «неотразимые телеса» горящую сигарету.

Кстати, как только журналист выкатился вон, она именно что плюнула на каждую девку – по два раза! Но насчет сигареты… нет, не решилась!

Тогда.

А сейчас… О, сейчас она только и могла, что снова и снова тыкать даже не сигаретой, а сигарой в столешницу палисандрового столика эпохи Луи XIV. Сигара, конечно, гасла,

но она снова и снова подносила ее к свече – свечи горели всю ночь, они были пропитаны особым ароматизированным составом, дающим им силу гореть долго-долго…

«Как я, – подумала она, – я такая же, я горю уже… о господи, подумать страшно, как долго я горю. Но мне мало, мало, все мало этого огня! Но рано или поздно свеча догорит, и я тоже… Нет, нет, нет, не хочу об этом думать! Страшно, страшно, страшно… Что я буду делать, когда, посмотрев в зеркало, я увижу там не свое лицо, которое было предметом восторгов стольких мужчин (ну да, всякие дураки и дуры пожимали плечами, не понимая, *что они нашли в* этой уродине с длинным носом и слишком близко поставленными глазами, и сравнивали меня то с птицей, то с каким-то грызуном, а между тем я – я! – а не они, эти глупые подборщики глупых сравнений, увековечены в живописи, вознесены на все мыслимые и немыслимые пьедесталы в поэзии), а застывшую в последней судороге маску смерти… моей смерти!»

Она вдруг заметила, что сигара погасла и больше не оставляет следов на драгоценной древесине. Вновь раскурила ее и вновь вонзила в беззащитную поверхность стола. Если бы она была художником, то изобразила бы этот столик, его нежную столешницу вместо лица прекрасной женщины, лежащей с широко раздвинутыми в порыве страсти ногами. Если бы она была художницей…

Нет, почему – «Если бы была художницей»? Она была ею и осталась ею, потому что даже ее великий муж сам признавал: если бы не она, его картин (лучших из них) не было бы.

Ну, короче, она изобразила бы «лицо» драгоценной столешницы со следами пыток и назвала бы эту картину «Красота моя легка, и в этом счастье». Это строка из стихотворения одного поэта, которого она любила когда-то – давно, во времена незапамятные, и который любил ее. Нет, в том же стихотворении есть строка гораздо лучше: «Я стала сентиментальной». Именно так можно назвать портрет женщины, у которой вместо лица – обожженная сигарой столешница.

«Именно так можно назвать мой портрет сейчас, да? – продолжалось тяжелое течение ее мыслей. – Меня корчит от любви – и тревоги за человека, которого я люблю. Мне восемьдесят лет, но… о господи, прости меня, великую грешницу, но я умираю от любви к синеглазому безумному певцу. И чуть-чуть, самую капельку может извинить меня только то, что сейчас вся планета умирает от любви к нему, к этому поджарому парню, который сыграл Христа в рок-опере «Иисус Христос суперстар», и сейчас я одна из многих. Я стою в одной толпе с девчонками-глупышками, и дешевыми проститутками, и с кинозвездами, и

светскими красавицами… Имя им легион, но все-таки я – одна, и он один, нас таких, уникумов, только двое, и как меня когда-то писал мой муж в образе Пресвятой Девы или Мадонны с младенцем, так и этот мальчишка отныне запечатлен в веках в образе сына моего…

А ведь и правда по возрасту он годится мне в сыновья. Вернее, во внуки. Нет! Не годится! Вот Сальвадора я легко могла называть «малыш», а этого мальчишку не могу. Я хочу быть девочкой рядом с ним, я хочу… я хочу невозможного! Я хочу вернуть молодость, и бог знает, сколько бы я заплатила за то, чтобы он вернулся ко мне, чтобы я снова стала ему необходимой! Где он, где он, где?!

Да будь он проклят!»

И тут позвонил секретарь.

— Мадам, вы разрешите зайти к вам? – В голосе отчетливо звучала опаска. – Телеграмма от мсье Фенхольда. Позволите прочесть?

— Я сама! – завопила она. – Немедленно несите ее сюда. Почему вы тратите время на звонки? Я ведь велела вам немедленно сообщать мне всякое известие от мистера Джефана Фенхольда, даже если его просто покажут в ночных новостях!

— Я боялся вас разбудить, мадам, – жалобно простонал секретарь. – Простите меня!

— Я вас уволю, – тихо сказала она, – уволю, если телеграмма не будет у меня в руках через… через полторы минуты!

В трубке послышались гудки. Ага, время пошло!

Она вытянула руку с пультом и отключила электронные замки. Она за честную игру, пусть секретарь не говорит потом, что на его пути возникли неодолимые преграды!

На часах, которые были вмонтированы в копию (авторскую) картины Сальвадора «Мягкие часы», отщелкало ровно полторы минуты, когда секретарь ворвался в дверь. Интересно, он бегом бежал или все же на лифте поднимался?

Не слушая утренних банальностей, она протянула руку:

— Ну?

Схватила телеграмму, поднесла ко все еще острым, черным – «птичьим»! – глазам:

«Срочно нужны тридцать восемь тысяч долларов, иначе умру. Джеф».

Тридцать восемь тысяч долларов!

— Мерзавец, – с нежностью сказала она. – Какой мерзавец! Он меня разорит. Мало ему студии звукозаписи, мало дома на Лонг-Айленде, мало картин моего гениального мужа, которые я ему дарила. Он так и норовит обчистить меня до нитки! Игрок!

Актеришка, игрок!.. Пошлите ему, пошлите эти деньги, – кивнула она секретарю. – Да поскорей! И заодно дайте телеграмму. Нет, две телеграммы. Одну Джонни, в приложение к деньгам, другую в Кадакес, сеньору Дали. Аналогичный текст в оба адреса: *«Люблю тебя, мое божество! Всегда твоя – Гала»* .

* * *

Она ненавидела свое имя всегда, сколько помнила себя, и проклинала родителей, которые назвали ее Еленой. Люди ведь мыслят готовыми клише, и у всех в головах мгновенно вспыхивает рядом с этим именем готовый эпитет: Елена Прекрасная. Леночка Дьяконова считала, что этот эпитет истаскан в веках настолько, что сделался пошлым и банальным, его и употреблять-то стыдно, однако ничего не могла поделать со всеми этими человечками, которые пожимали плечами, глядя на нее, и в глазах их отчетливо читалось разочарование: «Ну какая же она «прекрасная», эта маленькая, тощенькая, похожая на птичку, на мышку-норушку или даже вовсе на насекомое девица со смуглым поджарым телом? К тому же у нее, говорят, чахотка… Ну разве можно себе представить чахоточную Елену?!»

Да, у нее были слабые легкие. Матушке было вечно недосуг заниматься здоровьем дочери, она устраивала свои собственные дела: умер муж, она ужасно мучилась, возьмет ли ее к себе прежний любовник, адвокат Дмитрий Ильич Гомберг… Слава богу, взял и даже перевез из этой ужасной Казани к себе в Москву. Леночку Дмитрий Ильич очень любил, и это неудивительно: из болтовни двух горничных она скоро узнала (разумеется, тайно, потому что обожала подсматривать да подслушивать, что при ее крошечном росточке и худобе было легче легкого, ведь она в любую щелку пролезть могла), что он-то и был ее настоящим отцом, а скромный казанский чиновник Дьяконов просто-напросто женился на матушке и был таким простаком, что принимал чужую дочь за свою!

Ну, словом, выйдя наконец замуж, матушка спохватилась, что Гомберг женился на ней не столько ради прежней любви, сколько ради дочери. А если Леночка помрет от чахотки, он ее снова бросит? Нет, надобно девочку полечить. Казанский кумыс не помог, значит, нужно более серьезное лечение. Деньги у Дмитрия Ильича немалые – пусть-ка Леночка съездит в Швейцарию. В

Давос.

Леночка поехала, но первое, что она сделала, как только вокзал исчез из виду, это решила: никогда и ни за что она больше не будет зваться своим постылым именем. Как ты себя назовешь, так тебя и примут люди. Имя должно быть праздничное, невероятное, ослепительное… пускающее пыль в глаза, причем такую пыль, которая навсегда в этих глазах останется!

В это время она как раз зубрила французский – чтобы не ударить в грязь лицом в Давосе. И вдруг ее осенило. Gala, Гала́ – вот подходящее слово! Gala – по-французски «торжество». Гениально! Конгениально!

– Mon nom – Gala, мое имя Гала, – отныне представлялась она – и испытывала подлинное торжество, видя, как вспыхивают у новых знакомых глаза. К тому же, не связанная больше постоянным недовольством матери, скучливостью приемного отца и докучливой заботливостью отчима (и родного отца в то же время), она развернулась вовсю, сама удивившись, сколько веселья и очарования таится в ее душе и натуре. Гала при новом имени, как в новом, необычайно идущем платье, чувствовала себя вольно и свободно, ощущала, что была невероятно обворожительна и даже обольстительна. Именно так подумал о ней юный светлоглазый француз, которого звали Эжен-Эмиль-Поль Грендель. Очень скоро Гала начала звать его просто Жежен, потому что они познакомились так легко, как знакомятся только чувствительные туберкулезники. А вскоре подружились так близко, как только могут подружиться юноша и девушка.

Словом, они влюбились друг в друга и дали друг другу, как обожают писать дамы-романистки, все возможные доказательства своей любви.

Не то чтобы Жежен доставлял Гала какое-то невероятное удовольствие… Но он был красив, молод, пылок, безумно влюблен, богат и к тому же талантлив. Он писал стихи, и хоть Гала они казались порядочным бредом, немалое преимущество им придавало то, что Жежен все их посвящал возлюбленной, воистину считая ее первоосновой всего сущего:

За проблеск дня счастья в воздухе этом,
Чтобы жить легко согласно вкусу цвета,
Чтобы наслаждаться, любовью смеяться,
Открыть глаза в последний миг:
ОНА – ВСЕ РАДОСТИ.

Эта готовность швырнуть к ее ногам не только жизнь, но и талант казалась Гала главным достоинством милого мальчика. Она прекрасно понимала, что обладает даром зажигать мужчину. Но зачем тратить эти драгоценные спички по пустякам? Зажигать – так зажигать! Может быть, с помощью ее неустанного горения Жежен сделается великим поэтом!

Только Гала решила сделаться спутницей его жизни, как настало время уезжать в Россию. Да и чертова чахотка почему-то вылечилась… Кто ее только просил?!

Обливаясь слезами и поминутно целуясь, Гала и Жежен прощались на вокзале.

— Я к тебе приеду, я приеду к тебе в Россию, – твердил Жежен. – Я мечтаю увидеть твою загадочную страну! Мы станем жить среди девственных полей и лесов, будем приручать диких медведей…

Именно тогда Гала в первый раз подумала, что ее возлюбленный, конечно, очень мил и талантлив, но особым умом не отличается. Еще не хватало – жить среди девственных полей и лесов! Она мечтала жить в городской суете и сутолоке. Причем это должна была быть суета и сутолока Парижа. На меньшее она не согласна.

— Нет! – сказала она, придав своим глазам (слишком темные, маленькие и слишком близко к переносице собранные, они тем не менее были очень выразительны, что и сообщало им почти неодолимое очарование) выражение страстной решимости. – Нет, я сама к тебе приеду. Жди меня!

И, впившись в его губы прощальным поцелуем, вскочила в вагон как можно скорей, чтобы Жежен не успел возразить.

Впрочем, заявить «приеду» оказалось гораздо проще, чем сделать это. Мамаша и папаша глаза вытаращили: куда, к кому? На что жить будешь? Разве мы сможем содержать тебя за границей?! К тому же в Европе неспокойно, говорят, вот-вот война грянет…

Гала испугалась. Если начнется война, она никогда не выберется из России!

Она пригрозила, что покончит с собой.

Мать пригрозила, что выпорет ее.

Гала схватила бритву и чуточку порезала запястье. Мать, не выносившая вида крови, упала в обморок. Отчим, не представлявший, что каждое движение, всякая мысль и всякое чувство его падчерицы (вернее, все-таки дочери) априори не являются спонтанными, а тщательно рассчитаны, перепугался чуть не до смерти и закричал:

— Ладно, ладно, ты поедешь!..

Гала поехала. Вернее – уехала. Потому что нога ее больше никогда не ступала на родимую землю. Гала не тосковала по России ни мгновения, а позднее даже возненавидела ее.

Как ни странно, виновен в этом был именно нежный и чувствительный Жежен, однако это дело далекого будущего, заглядывать в которое пока преждевременно.

Появление какой-то невзрачной русской девицы в жизни их милого и невинного мальчика немало огорчило родителей Эжена-Эмиля-Поля Гренделя (отец его был торговцем недвижимостью), особенно когда они поняли, что и девица-то уже не девица, а их мальчик, увы, не мальчик. Ну ладно, это, что называется, дело житейское, однако сын твердо намеревался жениться на этой особе… Только маменька приготовилась с помощью многочисленной родни воздействовать на разум ребенка, как началась война. Ребенку предстояло идти на фронт, и, конечно, родители не могли быть столь жестоки, чтобы сделать его несчастным и выставить на улицу его возлюбленную, которой совершенно негде было жить.

Гала поселилась в комнате Жежена, которая все равно же стояла пустая. А вырвавшись с фронта в трехдневный отпуск, молодой человек решил узаконить ее пребывание в этой комнате и немедленно потащил подружку в мэрию – сочетаться браком, поскольку шла война, отпуска были коротки, да и времени на жизнь у храбрецов могло быть отпущено совсем чуть-чуть. Поэтому и родители не возражали. Молодых людей поженили, и Эжен-Эмиль-Поль отправился на фронт солидным семейным человеком. Ни страх смерти, ни ужасы войны не остудили в его сердце любовь, напротив – она становилась все сильнее. Тем более что в России сделалась вдруг революция, которая показалась впечатлительному юноше столь же загадочной и волнующей, как его жена.

Наконец война кончилась, Эжен-Эмиль-Поль вернулся домой и понял, что ни на что более не годен, только воспевать в стихах метаморфозы своей души и любовь к Гала. И хоть у них в это время уже родилась дочь Сесиль, супруги поняли, что никакие буржуазные узы или предрассудки никогда не смогут сковать их чувство и их творчество. Сущностью их любви была свобода! Именно поэтому Эжен-Эмиль-Поль позволял своей жене позировать модному фотографу-американцу Мэну Рею. Позировала Гала обнаженной, и фотографии получились блистательными. Гала призналась, что бурный секс способствовал вдохновению фотографа, и Эжен-Эмиль-Поль, который черпал вдохновение в том же источнике, одобрил свою жену. Он восхищался всем, что она делала, и не переставал любить ее.

Она стоит на моих ресницах,
И волосы ее в моих струятся,
Она по форме моей руки,
Цвету глаз моих, в тени моей
Она тает, как камень в небе.

Она всегда раскрыв глаза
И мне не разрешает спать.
Сны ее света полны,
Чтобы сочиться солнцами,
Смешить меня и расстраивать,
Говорить, даже когда говорить нечего.

Его вдохновляла, впрочем, не только Гала, но и новые друзья. Их звали Луи Арагон, Робер Деснос, Гийом Аполлинер, Андре Бретон, и они в самом деле непревзойденно умели «говорить, даже когда говорить нечего».

Они говорили, что именно человек – мерило ценностей этого мира, именно его воображение – тот эталон, которому должна соответствовать реальность. Его собственное восприятие жизни – это и есть подлинная реальность, сверхреальность… сюрреализм!

Термин surréalisme предложил Аполлинер, а «Манифест сюрреалистов» написал Андре Бретон.

В связи с этим Эжен-Эмиль-Поль нашел, что пора бы перестать ему зваться своим мещанским именем. Отныне он называл себя Поль Элюар, и скоро его начали считать гением, потому что никто другой так, как он, не освоил нерифмованное

искусство любить, искусство прощать,
искусство хорошо умирать, искусство мышления,
некогерентное искусство, искусство курить,
искусство флирта, искусство средних веков,
прикладное искусство, искусство разводить руками,
искусство широко разводить руками, искусство
поэтическое, искусство механистическое, искусство
эротическое, искусство быть дедом, искусство танца,
искусство ладушки, искусство нежности, японское искусство,
искусство играть, искусство питаться,
искусство терзаться, искусство терзать, искусство

дерзать,
искусство истязать…

…В это время сюрреализм объединял поэтов, писателей, художников, скульпторов, композиторов, театральных деятелей, кинематографистов. То, что собой представлял сюрреализм в поэзии, вполне видно по стихам Элюара. Основы сюрреалистической живописи замечательно поясняет Жан-Поль Креспель: «Что касается художников, то, имитируя первобытное искусство, творчество детей и душевнобольных, они, как и дадаисты[36], широко использовали коллажи, фотомонтажи, композиции из различных предметов и деталей. Наиболее типичные черты сюрреалистического творчества – иррациональный мир, написанный с подчеркнутой объемностью, натуралистические детали, переданные с фотографической точностью в сочетании с абстрактными неизобразительными формами. Подобная смесь имеет одну цель: показать реальность подсознательного мистического, воздействовать на зрителя нестыкующимися кошмарными ассоциациями».

Здесь упомянуты дадаисты. С одним из них крепко подружился Элюар, а значит, и его жена. Звали этого немца из Кельна Макс Эрнст, и сначала Элюар был от него в таком восторге, что даже побратался с ним, выпив на брудершафт. Однако Гала, которая начала позировать Максу (он написал ее в образе «Прекрасной садовницы»), немедленно осуществила с Максом столь полюбившийся ей принцип свободной любви. Что касается дадаиста, то он очень даже не прочь был эпатировать общество очередной скандальной выходкой: все-таки это было его творческим методом. Но Элюар смутился: либертэ – это либертэ, а фратернитэ – само собой, фратернитэ…

Запахло не просто эпатажем, но и кровосмесительстом! Это несколько смутило даже самых отъявленных сюрреалистов, которые искренне сочувствовали Элюару: все-таки жена-потаскушка – это печально, господа… Тристан Тцара назвал эту историю драмой в стиле Достоевского. Интересно, кому он думал польстить? Гала или Настасье Филипповне?

Так или иначе, Макс Эрнст написал картину «Встреча друзей», где изобразил не только обнаженную Гала (вид сзади, ее спина почему-то особенно восхищала художников… не свидетельство ли это, что спереди просто рисовать было нечего?!), но и бюст Достоевского (вид сбоку).

Впрочем, Элюар предпочел оказаться в этой истории не

Рогожиным, а князем Мышкиным и с гордостью вопросил:

— А вы думали, легко иметь русскую жену?

Вообще он очень старательно делал хорошую мину при плохой игре, однако стихи выдавали его:

Там в уголке инцест проворный
Вкруг девственности платьица кружит.
Там в уголке пролило небо
На иглы бури белой влаги капли.

Там в уголке яснейших этих глаз
Ждут всплеска томной рыбы беспокойства.
Там в уголке повозка с летним сеном
Застыла горделиво навсегда…

Гала, конечно, производила на мужчин очень сильное впечатление прежде всего тем, что на полшага опережала самые смелые их затеи. Таким образом, создавалось впечатление, что она их вдохновляет самым фактом своего существования. Например, в ту пору был моден психоанализ. Гала изысканно вдохновила свою компанию на сеансы коллективного психоанализа, и хотя наиболее сильным аналитиком был Андре Бретон (когда он отсутствовал, сеансы получались скорее сеансиками), а все же Гала бывала на них непременно. И вскоре медиум поэт Рене Кревель (очень красивый, кстати сказать, медиум!) сообщил, что натура Гала устремляется к гению художника и способствует его пробуждению. Но, как у всякой женщины, натура Гала – плотская, а значит, она возбуждает именно плоть мужчины…

Еще один, подумал Элюар…

Не уставай убеждаться в любви,
это может быть шансом.
Не уставай убеждаться в отчаянии,
это может быть правдой.

Человек-француз, человек-любовник, человек-герой,
Убедивший себя, что смерть случайней любви,
Узнай же последние новости из мира науки –
Открыты новые виды отчаяния:

Будущее заражено злом,
Будущее неизбежно.

От отчаяния, не иначе, он испугался неизбежности будущего, поддался модному поветрию, которым уже заражены были Бретон и Арагон, и вступил в компартию. Правда, Арагон этот вирус подцепил от своей тоже русской (ну ладно – российской, да какая разница!) жены Эльзы Триоле, иначе говоря – Эллы Каган, сестры, к слову, знаменитой Лили Брик, вдохновительницы и погубительницы Маяковского[37].

Ну что ж, желание ощутить хоть какой-то идеологический базис под ногами вполне понятен: сюрреализм в то время начал слегка выдыхаться, Арагон и Пикассо уже покинули ряды сюрреалистической поэзии и живописи соответственно. С Бретоном Элюар поссорился, и тот со зла сказал:

— Если твое имя и попадет в мировые энциклопедии, то там будет написано примерно следующее: «Поль Элюар – первый муж Елены Дьяконовой».

— Как?! – ужаснулся Поль. – С чего ты взял, что мы с Гала расстанемся? Это невозможно!

— Ты с ней не расстанешься – она тебя бросит, – злорадно констатировал Бретон.

Недаром он считался отличным психологом. Он как в воду глядел, потому что именно в это время знаменитый французский кинорежиссер и сюрреалист до мозга костей Луи Бунюэль приехал в Париж и привез туда художника Сальвадора Дали – для оформления фильма «Андалузский пес». Кстати, Дали был и соавтором сценария фильма, который он называл «фильмом подростков и смерти» – и собирался вонзить его, как кинжал, в самое сердце элегантного, просвещенного и интеллектуального Парижа… «Фильм добился того, чего я хотел, – признался он. – В один вечер он разрушил все десять послевоенных лет лжеинтеллектуального авангардизма. Неземная вещь, которую называли абстрактным искусством, пала к нашим ногам, смертельно раненная, чтобы уже не подняться, – после первых кадров нашего фильма: глаз девушки, разрезаемый бритвой».

О живописи сюрреалистов один из критиков в свое время писал: «В картинах сюрреалистов тяжелое провисает, твердое растекается, мягкое костенеет, прочное разрушается, безжизненное оживает, живое гниет и обращается в прах».

Это сказано, чудится, именно о Дали, который, что называется, вдохнул, гальванизировал и оживил уже

разлагающееся чудовище сюрреализма… заставив его, впрочем, разлагаться еще интенсивнее, живописнее и пролонгировав этот процесс почти до бесконечности.

Конечно, он был художником до мозга костей, а то и до лимфоузлов. Он родился художником, то есть человеком, воспринимающим мир через призму собственного творческого бреда. Он очень любил испанскую пословицу «Как видим, так и бредим». В соответствии с ней и творил. «Когда я понял, что мир умирает, по-настоящему теряет смысл, распадается на куски, которые уже никогда не собрать воедино, а самое бессмысленное и мертвое – это фасады разума и морали, это сама эстетика и собственно человек, тогда я понял и другое: раз уж довелось жить, достойнее всего – жить сюрреалистически. Жить и творить, разумеется…» Однако при всем при том этот сын провинциального нотариуса обладал не свихнутым сознанием, которое обладало свихнутым же миром, а железной логикой шахматиста-математика: каждое проявление его творческого безумия подсознательно выверено до микрона. Это и сделало его гениальным.

Безудержность фантазии хороша до определенного предела: иногда от нее становится скучно. От живописи Дали становится как угодно: тошно, странно, страшно, дико, восторженно, обалденно, противно… но только не скучно. Именно потому, что он никогда не действовал бессознательно. Он всегда отлично знал и понимал, что делает, хотя и казался порою чокнутым как в жизни, так и в искусстве. По этому поводу Дали однажды выразился очень категорично: «Единственная разница между сумасшедшим и мной состоит в том, что я не сумасшедший».

Коротко и ясно!

Кстати, в отличие от многих своих, не побоимся этого слова, коллег по сюрреализму да и вообще авангардистов, которые кинулись в строительно-малярные работы, которые они называли скульптурой и живописью только потому, что они категорически не владели формой, то есть не умели ни лепить, ни рисовать, Дали был превосходным рисовальщиком с твердой рукой. Он виртуозно владел линией, твердой, верной, реалистической – и в то же время зыбкой, нереальной. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его работы, особенно «Фигура у окна», «Каннибализм вещей. Испания», «Безумный Тристан», «Сон, вызванный полетом пчелы» и др. И даже там, где он выступает как сугубый чертежник, эта твердая, уверенная рука придает особое очарование его изломанному мировосприятию и натуралистическому смешению красок и форм. Впрочем, размышляя о живописи (а он ведь и стихи писал, не только

картины), Дали сам проповедовал: «Поэтический образ обретает лирическую силу, только если он математически точен». Какая разница, о слове или о линии это сказано?

Комплексы неполноценности, снедавшие этого молодого гения, родившегося в Каталонии (каталонские рыбаки о таких, как он, говорили: «У него луковица в башке проросла!»), сравнимы только с его бесконечным эгоцентризмом и гедонизмом. При этом он искренне считал себя ничтожеством и разбивал себе лоб о несовершенства мира, пытаясь обрести истину.

Да что есть истина-то?!

Неслабый вопрос.

«Небеса – вот чего взыскала моя влюбленная душа на протяжении всей жизни с некоторым смущением и, если можно так выразиться, с запашком дьявольской серы. О Небеса! Горе тому, кто не поймет этого. Увидев впервые выбритую женскую подмышку, я искал Небо; разворошив костылем разлагающийся и кишащий червями труп дохлого ежа, я искал Небо», – признается он в автобиографической книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали».

Очень важна тут оговорка «с запашком дьявольской серы». Дали всегда придавал высокий смысл самым низменным своим исканиям – ну что ж, на то он и был гедонистом. Он мог видеть небеса, только стоя по колени в экскрементах. Чужих, своих – безразлично. При этом он был стыдлив! «Наклонив голову, она раздвигает ноги, при этом изящно подбирая юбки до высоты бедер. В полной тишине проходит почти минута, как вдруг сильная струя бьет из-под юбок, тотчас образуя между ее ногами пенистый островок… Дама под вуалью так поглощена, что не замечает моего остолбенелого внимания… Дамы хохочут… Еще две струи орошают почву… Мне ужасно стыдно…» Этот заядлый мастурбатор и созерцатель самых изощренных видений, на которые только могла быть способна мужская фантазия, был в то же время девственником. Распутный девственник! Катахреза сия определяет его внутреннюю сущность как нельзя более кстати.

«Мне не удалось отыскать элегантную женщину, – признавался сам художник, – которая отвечала бы моим эротическим фантазиям. Я, как бешеная собака, гонялся по улицам, но ничего не находил. Когда подворачивался случай, робость мешала мне подойти. Сколько дней подряд я слонялся по бульварам, присаживался на террасах кафе, ища случая перемигнуться. Мне казалось естественным, чтобы все женщины, прогуливающиеся по улицам, разделяли мои желания. Но нет! Предельно разочарованный, я преследовал одну дурнушку, не оставлял ее ни на минуту, не сводя с нее пылкого взора. Она села

в автобус – я уселся напротив и прикоснулся к ее колену. Она поднялась и пересела. Мне надо было снова выйти и влиться в толпу женщин (я видел только их), в поток враждебного бульвара, который не замечал меня. Ну что? Где тот пояс, за который ты хотел заткнуть весь Париж?..

Вернувшись в свой прозаический номер в отеле с гудящими ногами, я ощутил горечь на сердце. Мое воображение занимали все недостижимые женщины, которых я пожирал глазами. Перед зеркальным шкафом я занялся «этим», как жертвоприношением себя, стараясь продлить это как можно дольше и перебирая в памяти все образы, увиденные в течение дня, чтобы они явились мне и явили то, чего я желал от каждой из них. Смертельно изнуряя себя четверть часа раздраженной рукой, я наконец с животной силой вызвал последнее наслаждение, смешанное с горькими слезами. Сколько было женских ляжек в Париже! И ни одну я не залучил в свою кровать, куда свалился в одиночестве, без мыслей и чувств. Перед тем как уснуть, я всегда произносил краткую католическую молитву».

К женщинам он чувствовал тягу, смешанную с отвращением. Недаром девушка, с которой он все же переспал, внушила ему столь странные чувства, что он, лежа на ней, искал какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы прикончить ее. Зато Дали умел нежно дружить с мужчинами, например, с великим Федерико Гарсиа Лоркой, который был вполне бисексуален, однако если не привил своему молодому другу страсть к мужеложству, то, видимо, потому, что сам Дали был рожден лишь для того, чтобы подчиняться сильным женщинам, а не сильным мужчинам.

Вернее, одной сильной женщине!

Но это еще у него впереди.

Итак, в 1929 году на балу в саду Табарен Дали показали ужасно знаменитого в то время поэта-сюрреалиста. То был Поль Элюар. На балу он был с подругой, а его жена находилась где-то в Швейцарии. Все в ту пору были без ума от Элюара, и Дали, сам гений, пусть еще и не состоявшийся, мигом распознал «своего». Он очень быстро понял, что Элюар – поэт из поэтов, милостью божьей, как Лорка, из тех, кто исповедует кредо самого Дали: «Именно поэзия в ряду прочих искусств призвана явить зримый образ того, о чем повествует». На прощание Элюар пообещал приехать в Кадакес, к Дали, в гости летом.

И вот лето… Дали был горд тем, что такие люди, как Элюар с женой и Бунюэль, приехали в Кадакес только ради него. Жена Элюара сначала не произвела особого впечатления, она была утомлена поездкой, и весь ее вид говорил: «Ну и дыра этот Кадакес!» Но уже вечером, на прогулке, Дали обсуждал с ней все

мыслимые и немыслимые вопросы бытия и искусства… Потом он кокетничал с Элюаром – это все еще была модель, навязанная ему Лоркой.

«Я не мог оставаться перед своим мольбертом. Я примерил серьги сестры – ну уж нет, это украшение мало подходит для купания. И все же мне хотелось пококетничать с Элюаром. Почему бы не появиться голым и растрепанным? Ведь накануне они видели меня со слипшейся прической и таким же увидят вечером. Когда они придут, думал я, спущусь с палитрой в руке, с колье на шее и растрепанным. В сочетании с моей загорелой, как у араба, кожей это произведет интересный эффект. Оставив наконец мольберт, я стал криво обрезать свою самую красивую рубашку, чтобы она была не ниже пупа. Надев ее, я рванул ткань и проделал большую дыру на плече, другую на груди посредине, обнажив черные волосы, третью сбоку, над коричневым соском. А ворот? Оставить его открытым или застегнуть? Ни то, ни другое. Вооружившись ножницами, я отрезал его совсем. Оставалось решить последнюю задачу: плавки. Они казались мне слишком спортивными и не соответствовали наряду светского экзотического художника, который я смастерил. Я вывернул их на левую сторону, выставив на всеобщее обозрение грязную хлопковую изнанку в ржавых пятнах от окислившегося пояса. Чем еще развить тему сильно ограниченного купального костюма? Это было только начало: я выбрил подмышки, но, поскольку не добился идеального голубого цвета, который видел у элегантных мадридских дам, взял немного бельевой синьки, смешал ее с пудрой и покрасил подмышки. Получилось очень красиво, но лишь до тех пор, пока от пота мой макияж не потек голубыми ручьями. Протерев подмышки, чтобы смыть подтеки, я увидел, что кожа покраснела. Это было не хуже голубизны, и я понял, что мне нужен красный цвет. Бреясь минуту назад, я слегка порезался, и справа появилось пятнышко засохшей крови. Я еще раз выбрился «Жиллеттом», и вскоре мои подмышки были в крови, которую я не без кокетства размазал по телу. Теперь надо подождать, чтобы кровь подсохла. Наконец получилось так красиво, что я не удержался и еще немного изрезал там кожу. Какая работа! Но и это еще не все: за ухо я сунул цветок герани. Теперь нужны духи. Одеколон неприятен…»

И что же? Сидя на табуретке, Сальвадор Дали глубоко задумался. Ах! Если бы он смог надушиться запахом козла, который каждое утро проходит под его окнами! Внимание: Дали внезапно вскочил, осененный гениальной идеей…

«Я нашел духи! Я включил паяльник, которым пользовался для гравюр, и сварил в воде рыбий клей. Сбегал на зады дома,

где, я знал, стоят мешки козлиного помета, аромат которого до сих пор нравился мне лишь наполовину, взял горсть помета и бросил в кипящую воду. Потом размешал пинцетом. Теперь сперва шибануло рыбой, затем козой. Но немного терпения – микстура достигнет совершенства, когда я добавлю несколько капель лавандового масла. О чудо! Вот это точь-в-точь запах козла. Охладив его, я получил массу, которой намазал тело. Теперь я готов.

Готов к чему? Я подошел к окну, которое выходило на пляж. Она была уже там. Кто Она? Не перебивайте меня. Хватит с вас того, что я говорю: Она была уже там. Гала, жена Элюара. Это была она! Я узнал ее по обнаженной спине. Тело у нее было нежное, как у ребенка. Линия плеч – почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и нежных бедер делало ее еще более желанной.

Как я мог провести с ней полдня и не узнать ее, ни о чем не заподозрить? Это для нее я сфабриковал безумный утренний наряд, для нее измазался козлиным дерьмом и выбрил подмышки! И вот, увидев ее на пляже, я не осмеливаюсь появиться в таком виде. Теперь, стоя перед зеркалом, я нашел его жалким.

«Ты похож на настоящего дикаря, Сальвадор, и ненавидишь все это». Я разделся и стал изо всех сил отмываться, чтобы избавиться от удушающей вони, исходившей от меня. Осталось лишь жемчужное колье и наполовину сломанный цветок герани.

На пляже я подошел к своим друзьям, но, когда собирался поздороваться с Гала, меня сотряс взрыв хохота, и я не мог сказать ни слова. Приступы повторялись всякий раз, как она заговаривала со мной и я собирался ей отвечать. Смирившись, друзья оценили это так:

— Ну вот. Теперь этого хватит на целый день».

О нет, этого хватило на целую жизнь! Потому что Гала распознала в Дали наполовину сумасшедшего гения, способного на огромную отвагу. Его вожделение достигло предела. А она… она отлично поняла, что просто отдать себя этому мальчику (разница между ними составляла не то десять, не то четырнадцать лет, потому что биографы до сих пор колеблются в дате рождения хитренькой и таинственной Гала) мало. Надо изысканно поиграть с ним. И она делала это весьма изысканно. Как? Возвратимся к свидетельству самого Дали.

«В решающий день она оделась в белое и такое тонкое платье, что, увидев ее рядом на тропинке, я вздрогнул. Дул сильный ветер, и я изменил наш маршрут, повернув с Гала к морю, к скамье, высеченной в скале и укрытой от ветра. Это было одно из самых пустынных мест в Кадакесе. И сентябрь повесил над нашими головами серебряную подковку луны. У нас в горле стоял ком. Но мы не хотели плакать, мы хотели покончить с этим. У Гала был решительный вид. Я обнял ее:

— Что вы хотите, чтобы я сделал?

Волнение мешало ей говорить. Она пыталась несколько раз, но не могла. Слезы текли по ее щекам. Я настаивал на ответе. Тогда, разжав зубы, она сказала тонким детским голоском:

— Если вы не захотите это сделать, не говорите об этом никому!

Я поцеловал ее приоткрывшиеся губы. Я никогда еще так не целовался, так глубоко, и не думал, что такое может быть. Все мои эротические «Парсифали» пробудились от толчков желания в так долго подавляемом теле. Этот первый поцелуй, в котором столкнулись наши зубы и сплелись наши языки, был лишь началом голода, который побуждал нас вкушать и поедать из глубины самих себя. Так я пожирал ее рот, кровь которого смешалась с моей кровью. Я исчезал в этом бесконечном поцелуе, который разверзся подо мной, как бездна водоворота, в который меня затягивало преступление и который, я чувствовал, грозил проглотить меня…

Я оттянул голову Гала за волосы и истерично велел ей:

— Немедленно скажите мне, что вы хотите, чтобы я с вами сделал. Ну скажите же мне, тихо, глядя в глаза, самыми безжалостными словами, самыми непристойными, пусть даже будет стыдно нам обоим!

Я не хотел упустить ни одной детали этого разоблачения, таращил глаза, чтобы лучше видеть, чтобы лучше чувствовать, как я умираю от желания. Лицо Гала приобрело самое прекрасное выражение, какое только может быть у человека, и оно показало мне, что нас не спасет ничто. Мое эротическое влечение довело меня в этот миг до уровня слабоумия, и я повторил:

— Что-вы-хо-ти-те-что-бы-я-сде-лал-с-ва-ми?

Ее лицо изменилось, стало жестким и повелительным:

— Я хочу, чтобы вы вышибли из меня дух.

Никакое толкование в мире не могло изменить смысл этого зова, который выражал то, что хотел выразить.

— Вы сделаете это? – спросила она.

Меня поразило и разочаровало, что мне предложили в дар мою собственную «тайну» вместо эротического предложения,

которого я ждал от нее. Растерявшись, я не сразу ответил. И услышал, как она повторила:

— Вы сделаете это?

Ее дрогнувший голос выдал ее колебания. Я овладел собой, боясь разочаровать Гала, рассчитывающую на мое безумство и отвагу. Я обнял ее и торжественно сказал:

— Да!

И снова крепко поцеловал ее, в то время как внутренний голос твердил во мне: «Нет, нет, я не убью ее!» Этот поцелуй Иуды, лицемерие моей нежности, оживил Гала и спас мою душу. Гала стала объяснять мне подробности своего желания. И чем больше она объясняла, тем больше охватывали меня сомнения. Я говорил себе: «Еще не сказано окончательно, что она просит меня убить ее!» Но никакая щепетильность нравственного порядка не могла мне помешать. Мы достигли согласия, и преступление легко можно было бы выдать за самоубийство, особенно если бы Гала заранее оставила мне письмо, раскрывавшее подобные намерения. Она описывала сейчас свой страх «часа смерти», мучивший ее с детства. Она хотела, чтобы это произошло и она не узнала ужаса последних мгновений. Мысль молнией обожгла меня: а если сбросить ее с высоты башни Толедского собора? Я уже думал об этом, поднимаясь туда с одной из самых красивых своих подруг мадридского периода. Но эта идея не понравилась Гала: она боялась испугаться за время долгого падения. И потом – как бы я объяснил свое присутствие с ней рядом наверху? Простая процедура с ядом не подошла еще больше, и я постоянно возвращался к своим роковым пропастям. На миг я возмечтал об Африке, которая казалась мне особенно благоприятной для преступлений такого рода, но отказался и от этой идеи. Там было очень жарко. Я отвлекся от поиска смертельных уловок и перенес свое внимание на Гала, которая говорила с исключительным красноречием. Ее желание умереть в непредсказуемый и счастливый миг жизни не было вызвано романтическим капризом, как можно было бы подумать. С самого начала я сразу же понял, что это было, наоборот, жизненно важно для нее. Ее восторг не мог оставить никаких сомнений по этому поводу. Идея Гала была смыслом ее психической жизни… И я еще раз сказал себе: она права, еще не было сказано, что я этого не сделаю…

Сентябрь «сентябрил» вино и луны мая, луны сентября превратили в уксус май моей старости, опустошенной страстями… Горечь моего отрочества под сенью колокольни Кадакеса высекла в новом камне моего сердца: «Лови момент и убей ее…» Я думал, что она научит меня любви и что потом я снова буду один, как всегда желал. Она сама этого хотела, она

этого хотела и потребовала от меня. Но мой энтузиазм дал трещину. «Ну что с тобой, Дали? Тебе подарили случай совершить твое преступление, а ты его больше не хочешь!» Гала, хитроумная красавица из сказки, по своему желанию неловким ударом меча отсекла голову восковой кукле, которую я с детства видел на своей одинокой постели, и мертвый нос только что впрыгнул в сахар, обезумев от моего первого поцелуя! Гала спасла меня от моего преступления и излечила мое безумие. Спасибо! Я буду любить тебя. Я женюсь на тебе».

На самом-то деле предложение сделала именно она, сказав решительно: «Мой мальчик, больше мы не будем расставаться. Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть!»

«С тех пор я – ученик, Гала – учитель. Она велит мне: «Встань и иди, ты ничего не успел!» И я встаю, иду и творю гениальное…»

Однако решение Гала не расставаться с Дали означало – расстаться с Полем… и с дочерью, о которой эта дама, впрочем, беспокоилась меньше всего. Она не была рождена быть матерью: она была рождена быть музой, вдохновительницей творцов, причем не простых, а гениев, никак не меньше! Теперь она заполучила нового гения, кинув старого.

Элюар пытался вернуть жену, осыпая ее упреками и тоскливыми стихами. Ну что ж, поэзия обогатилась дивными строками, а Гала не вернулась, несмотря ни на какие мольбы.

Что еще я, как не сила твоя?
Сила твоя в руках твоих,
Твоя голова в твоих руках,
Сила твоя в развалившемся небе,
Твоя голова разбитая,
Голова твоя, и принес ее я.
Я тебе не интересен,
Ты не играешь со мной,
Сбежавшая героиня,
Моя сила спряталась в твоих руках.

Новый союз ни у кого особого восторга не вызвал. Отец Сальвадора вообще выгнал сына из дому… Хотя с чего бы так свирепствовать? Ну подумаешь, десять лет разницы… Женщина разумная и крайне практичная, Гала мигом прибрала к рукам финансовые и творческие дела молодого супруга. Жизнь была полосатая: то картины шли нарасхват, то на них и смотреть никто не хотел. Тогда Гала продавала многочисленные другие

произведения мужа: искусственные ногти с крохотными зеркальцами, прозрачные манекены, которые были в то же время аквариумами, где, имитируя кровообращение, плавали рыбки; туфли на пружинах, чтобы легче было ходить; груди, которые следовало носить на спине; платья с накладками, изображающими распотрошенные внутренние органы…

Правда, к счастью для человечества, эти причуды гения не пользовались большим спросом (некоторые торговцы заворачивали Гала с порога). И тем не менее в жизни этой пары не было дней, когда они начинали себя хоть в чем-то ужимать. Гала словно бы завораживала небеса своим мотовством и жила по неуклонным правилам: мало денег – давай больше чаевых, лучше голодать, чем есть что попало… И тут небеса быстренько посылали гонорар за очередное полотно Сальвадора. В роли посланников небес частенько выступали состоятельные друзья, которым Гала очень умело внушала мысль, что, поддерживая «посланника вечности» (Дали), они сами к оной вечности приобщаются. Каресс Кросби, Эмилио Терри, маркиза Куэвас де Вера, Андре Дюст, графиня Печчи-Блант, виконт де Ногай и другие образовали группу меценатов, назвали ее «Зодиак» и каждый месяц покупали по одной картине Дали, давая таким образом супругам средства жить.

Только в 1932 году Гала наконец получила развод от Элюара, который все эти годы пытался воззвать к ее разуму и убедить вернуться. А кстати, почему он вообще считал, что бывшая Леночка Дьяконова поступает неразумно?..

Прекраснодушный Элюар полагал, что творец творит лишь тогда, когда его посещает вдохновение. Однако Гала поставила легкую юношескую шизофрению своего нового супруга на коммерческую основу, сделала его безумие (весь этот параноидально-критический метод, как выражаются искусствоведы) тщательно контролируемым и доходным занятием, каждую эпатажную его выходку – тщательно рассчитанной, сделала Дали из стихийного таланта – расчетливым гением.

Вот что об этом пишет сам Дали, поясняя, почему он стал называть ее теперь не просто Гала, но Гала Градива.

«Градива» («Gradiva») – роман В. Иенсена, переложенный Зигмундом Фрейдом в работе «Бред и сны в «Градиве» В. Иенсена». Героине этого романа, Градиве, удается излечить психику героя. Только взявшись за роман во фрейдовской интерпретации, я сразу же сказал: «Гала, моя жена, в сущности является Градивой» («ведущей вперед»), моей Победой, моей женой. Но для этого надо, чтобы она излечила меня. И она

излечила меня благодаря своей беспримерной, бездонной любви, глубина которой проявилась на практике и превзошла самые амбициозные методы психоанализа».

Она не просто излечила мужа – она сделала его управляемым, контролируемым.

Прошли те времена, когда он мучительно выбривал подмышки, мешал козий помет с лавандой, сам не зная, что делать дальше, каков будет эффект. «Гала гонит прочь саламандр моих сомнений и укрепляет львов моей уверенности», – напишет он позднее, в книге «50 тайн магии». Теперь каждый шаг его был просчитан и выверен: имидж создавался тщательнейшим образом! Одна из картин 1929 года называется «Великий мастурбатор». Гала и Дали в две руки беспрестанно мастурбировали его фантазией и талантом, вызывая новые и новые оргазмы вдохновения и извержения благодатного творческого семени.

Как менеджер Гала была совершенно гениальна. Правда, и на старуху бывает проруха, случались сбои и в этом тщательно отлаженном и бесподобно выверенном шоу под названием «Явная жизнь Сальвадора Дали, разыгранная им самим». Когда в Лондоне открывалась выставка сюрреалистов, Дали надел водолазный скафандр и, держа на поводках двух борзых, двинулся к трибуне, чтобы сказать речь перед микрофоном. Но как говорить через шлем? Пришлось его снимать, и вот незадача – никто не знал, как это делается! А Дали что-то кричал внутри шлема, но ни слова не было слышно, жестикулировал – никто не видел смысла в этих телодвижениях… Вдобавок он начал задыхаться! Кое-как додумались разбить стекло молотком, не то миру явился бы новый сюрреалистический сюжет: смерть художника на собственной выставке от переизбытка воображения.

Публика пришла в восторг, решив, что так и было задумано. А впрочем, кто знает Дали и его Гала? Может быть, и впрямь так было задумано! Ведь Гала была неистощима на выдумки.

— Встань и иди, – велела она. – Ты ничего еще не успел. Не торопись умирать!

Так подбадривала она его в минуты отчаяния, и Дали подчинялся: «Моя сюрреалистическая слава ничего не будет стоить до тех пор, пока я не введу сюрреализм в традицию. Надо было, чтобы мое воображение вернулось к классике. Оставалось завершить творение, на которое не хватило бы оставшейся мне жизни. В этом убеждала меня Гала».

Право, Дали вполне мог беспрестанно цитировать чудные стихи своего предшественника:

Она всегда раскрыв глаза
И мне не разрешает спать.
Сны ее света полны,
Чтобы сочиться солнцами,
Смешить меня и расстраивать,
Говорить, даже когда говорить нечего.

Впрочем, цитировать Элюара ему было незачем: Дали сам писал стихи о Гала Градиве: например, вот это, называемое «Книжечка без переплета»:

Книжечка, если к ней приглядеться,
обернется самой обыкновенной чашкой
родом из Португалии,
где имеется плохонький посудный заводик.
Ибо помянутая чашка – такой уж ее слепили! –
если на что и похожа, так только
на переплетенья арабской вязи,
что радуют взор в южном пригороде столицы
(так радуют сердце глаза той Прекрасной Дамы,
самой прекрасной дамы, что я называю Гала).
Да, это он, запах шершавой ткани –
так пахнут руки, руки моей любимой,
и фонари, и сальные шутки.
Да, это именно так – я могу присягнуть, если будет угодно.

«Гала, – уверял Дали, – обладает даром оставаться тайной в моей тайне. Часто думают, что мой секрет раскрыт – ошибка, это был не мой, а ее секрет».

Итак, она стояла в основе всех его вдохновений, поддерживала, поощряла их и направляла… Он больше не сомневался в себе, выражая свою уверенность в себе со свойственной ему затейливостью: «Дали нужен для победы. И я не ношу штатского… Обычно я одет в мундир Сальвадора Дали!»

В середине 30-х годов Сальвадор пережил период очень сильного увлечения Гитлером. Это оттолкнуло от него многих бывших друзей, Элюар называл его «предателем наших идей». Дали отговаривался, что сюрреализм всегда находился в оппозиции ко всему на свете, а истинное предательство – это

вступление Элюара и Арагона в компартию.

Расстрел бывшего друга, Федерико Гарсиа Лорки, фашистами мало что поправил в увлечениях Дали. Уехать из Испании во Францию его заставили только финансовые проблемы.

Когда началась война, супруги уже жили в Америке. В Нью-Йорке на выставки Дали ломился народ, творчество его пользовалось огромным спросом. Не обходилось и без конфузов. Однажды американские друзья организовали в честь «звездной пары» сюрреалистический бал. Все должны были явиться в невероятных нарядах. Светские дамы щеголяли нагими, но в шапочках самых причудливых фасончиков. Некоторые изрисовали себя жуткими ранами и язвами, воткнули в кожу булавки. Мазохизм был чем-то родствен сюрреализму, а значит, чрезвычайно в моде. Газеты описывали потом какого-то мужчину в окровавленной ночной сорочке: на голове этот изобретательный джентльмен зачем-то носил тумбочку, в которой была заключена стая птиц. Наверное, он думал, что «пересальвадорил» самого Сальвадора!

Ну что ж, очень может быть. Однако «перегалить» Гала у него фантазии не хватило, ибо жена художника была одета «очаровательным трупом»: на голове у нее сидела кукла, изображавшая ребенка, живот которого был разъеден муравьями, а череп дитятки раздирал фосфоресцирующий омар…

Скандал, который спровоцировал этот бал, сделал потрясающую рекламу выставке и картинам Дали.

Кстати, не следует думать, будто такие выходки были чем-то единичным: ну вот разоделись на бал невесть как, а в остальное время ходят в скромненьком платьице в горошек и в двубортном костюмчике. Любимой шляпкой Гала была туфля – в смысле, шляпка, сделанная по эскизу супруга, была в виде туфли!

Итак, Америка…

Бывший друг Андре Бретон, который тоже уехал из воюющей Европы, называл Сальвадора avido dollars, что означает жадный на доллары. Одновременно в этих словах зашифрована анаграмма имени художника. Конечно, Андре, который подрабатывал теперь диктором на радио «Голос Америки», завидовал, потому и ехидничал, однако в каждой шутке есть доля… шутки.

Чем хороша была Америка, так это тем, что там никто не проповедовал высоких идеалов. Самым возвышенным идеалом всех времен и народов там был доллар. А потом и Дали вскоре начал смело и откровенно провозглашать:

— У меня две великие любви на свете – Гала и доллары.

Гала оставалась единственной и непревзойденной, а зеленые

бумажки он «рисовал» пачками, потому что картины Сальвадора шли влет.

Работал он так: в поместье богатой меценатки Каресс Кросби, где жили Дали и Гала, обнаружилась корова. Дали (вернее, Гала) сочли, что ее присутствие окажет на великого мастера освежающее и вдохновляющее действие. Отныне корова присутствовала, когда Дали становился за мольберт. Гала сидела тут же и читала вслух то Достоевского, то Пушкина. Учитывая, что Сальвадор ни слова не знал по-русски…

Впрочем, он уверял, что это пришпоривает его фантазию.

Фантазия Дали распространялась не только на новые и новые полотна: он также иллюстрировал книги, делал эскизы костюмов и декораций к балетам, выдумывал новые модели платьев и украшений, брался за оформление фильмов, писал статьи…

Конечно, он был жутко популярен, и досужие американки липли к нему (все-таки он был красивый мужчина, хоть и переизбыточно субтилен и невелик ростом), как мухи к меду. Поэт Ален Боске даже спросил его однажды, с какой знаменитой женщиной он хотел бы провести ночь.

— Ни с какой, – ответил Сальвадор. – Я на сто процентов верен Гала.

Словно подтверждая эту верность, Дали сочетался со своей супругой браком пятьдесят раз – в каждой стране, куда они приезжали. Его восхищало разнообразие брачного обряда, он был счастлив подтвердить и удостоверить свою любовь к женщине, которая создала и подарила миру гениального Дали. «Мое сокровище, мой золотой талисман…»

А между тем Гала вовсе не была верна мужу столь же глобально. У нее всегда появлялись какие-то другие мужчины. Развлекаться она, как правило, ездила в Париж. Причем не скрывала, что понимает: ухаживают за ней не ради какой-то там неземной красоты или внезапно вспыхнувшего вожделения, а лишь потому, что она – жена знаменитого Дали. Чтобы отшивать тех, кто не нравился, Гала излишне педалировала эту тему и говорила:

— Хорошо, вы будете иметь меня, но не бесплатно, друг мой, не бесплатно…

Но все чаще именно ей приходилось платить мужчинам, чтобы заманить их в свою постель. Разумеется, это не афишировалось, и Гала каждым своим поступком словно бы подчеркивала, что она – подарок небес не только ее гениальному, ее же руками созданному мужу, но и человечеству.

Красота моя легка и в этом счастье
Я скольжу по крыше ветров
Я скольжу по крыше морей
Я стала сентиментальной
И не надо мне поводырей
Не шевелюсь больше чем шелк на льду
Я заболела цветами и камнями
Люблю самых китайских среди голых
Самого голого с размахом птицы
Я стара но там я красива
Сумерки падают в глубокие окна
Беречь каждый вечер черное сердце моих глаз.

Она была благодарна судьбе за то, что некогда встретила Элюара, создавшего в ее честь эти чудесные стихи!

Наконец война окончилась. «Великолепная пара» вернулась в Европу. Миновали те времена, когда отец Дали гневался и брызгал слюной на сына и его жену – теперь он гордился успехами Сальвадора. Слава его гремела в Старом и Новом Свете, на выставки ломились зрители, чтобы увидеть новый шедевр – «Атомную Леду», для которой Гала позировала несколько месяцев. Да уж, халтурщиком Дали никогда не был, понимая, что право на смелые эксперименты имеет любой, но право на вечность заслуживает только тот, кто умеет работать – рисовать! – всерьез.

Примирение с семьей (увы, неполное, потому что Гала беспрестанно ссорилась с сестрой супруга, которая пописывала лживые – или, наоборот, слишком правдивые? – мемуары) означало для Дали толчок к возвращению в лоно церкви. Он принялся писать одну картину за другой, посвященные истории Испании и теме католичества, причем Гала везде и всюду присутствовала на них то в образе Девы непорочной, то в образе Мадонны. Учитывая, что еще лет двадцать назад она перенесла операцию, которая сделала ее бесплодной, это довольно-таки трогательно… Впрочем, супруги никогда не страдали от того, что у них нет детей. «Я ничего не желаю передавать будущему от Дали, – откровенничал художник с журналистами. – Я хочу, чтобы все остановилось на мне». Да и со своей родной дочерью Гала не общалась. Это странное материнское отвращение к чаду своему дойдет со временем до того, что она лишит Сесиль наследства! Правда, суд признает это решение бесчеловечным и ненормальным и восстановит Сесиль в правах.

Страсть к католичеству дошла в душе Сальвадора до такой степени, что он начал выспрашивать разрешение обвенчаться с Гала (ведь она хоть и была в разводе, но первый муж ее был еще жив, значит, с точки зрения католической церкви, она все равно что замужем). Он даже подарил римскому папе Пию XII одно из полотен, где она была представлена в образе Богоматери, но, несмотря на это (или именно из-за этого?) и несмотря на все другие усилия, разрешение было дано только в 1958 году – через шесть лет после смерти Поля Элюара, которого некогда, во времена поистине незапамятные, одна русская девочка называла Жененом, умирая от любви к нему.

К тому времени, когда Гала «перед Богом и людьми» стала *настоящей* женой Дали, ей уже исполнилось шестьдесят пять (или даже больше, если верить некоторым источникам). Возраст немаленький, омоложению не способствующий. А между тем на глазах Гала случалась масса примеров того, как мужчины в этом возрасте бросали своих верных подруг, бесстыдно меняя их на «неотразимые прелести» молоденьких дурочек. Да ладно бы только притаскивали этих дурочек в свои постели! Они выгоняли жен из своих домов, лишали их богатства и «совместно нажитого имущества», оставляя взамен прежней роскоши жалкие алименты…

Конечно, Сальвадор не переставал лично и публично клясться в своей негаснущей любви, и Гала понимала, что он поостережется разрушать им же самим созданный миф, но чем черт не шутит! Тем паче что он больше не возбуждался собственной женой. Увы, сие тоже вполне естественно…

И Гала решила «подстелить соломки». Как ни брыкался все еще верный и несколько потолстевший Сальвадор, она свела его с манекенщицей и певицей Амандой Лир, которая стала его верной спутницей и натурщицей («Анжелика и дракон», «Святой Георгий») на долгие годы, ни в коей мере, впрочем, не стараясь вытеснить из его сердца родной жены, которая порою начинала мучиться страхом смерти и тогда снова и снова брала с Аманды клятву (говорили: даже перед иконой Казанской Божьей Матери, ибо в эти годы ностальжи начала заедать бывшую девицу Дьяконову), что она не покинет бедного мальчика, если не станет Гала.

А между тем Дали жил в убеждении: «Что я без Гала?!»

Одна из его картин, между прочим, называется вот этак: «Галацидалацидезоксирибонуклеиновая»… *Гала!*

А еще были картины, вдохновленные ее волосами, ее глазами, ее и впрямь прелестной спинкой и попкой: «Моя обнаженная жена, наблюдающая, как ее тело превращается в

ступеньки, колонны, небо», «Предмет для Гала», «Галатея со сферами» (опять же Гала), «Портрет Гала с носорогическими признаками», «Портрет Гала с двумя бараньими отбивными на плече»(!!!), «Первый портрет Гала» и просто «Портрет Гала» (не единственный и не последний), «Три лица Гала на скалах», «Замок Гала в Пуболе» (возникающий средь облаков, подобно фата-моргане немыслимой красоты), «Дали со спины, пишущий Гала со спины», «Галарина», «Гала и «Вечерняя молитва» Милле перед неминуемым пришествием конических анаморфозов», «Гала, глядящая на Средиземное море, превращается на расстоянии двадцати метров в портрет Авраама Линкольна», «Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры», «Апофеоз Гомера (Дневной сон Гала)», «Рука Дали стягивает золотое руно, чтобы показать Гала далеко впереди за солнцем обнаженную Аврору», «Три славные загадки Гала»… и многое, многое, несчетно-многое в этом же роде. И даже «Христос Гала»!

Воистину: «В одиночку постичь и выразить смысл жизни значит сравниться с великими титанами Возрождения. Такова моя жена Гала, которую я обрел себе на счастье. Ее мимолетные движения, жесты, ее выразительность – это все равно что вторая Новая Симфония: выдает архитектонические контуры совершенной души, кристаллизующиеся в благодати самого тела, в аромате кожи, в сверкающей морской пене ее жизни. Выражая изысканное дыхание чувств, пластика и выразительность материализуются в безукоризненной архитектуре из плоти и крови.

Когда Гала отдыхает, могу сказать, что она равна своей грацией часовне Темпьетто ди Браманти, что близ собора Святого Петра Монтозио в Риме. И как Стендаль в Ватикане, я позже и независимо от него могу поставить на одну доску стройные колонны с ее гордостью, нежные и упорные перила с ее детскостью, божественные ступени с ее улыбкой. Долгими часами перед мольбертом, украдкой любуясь ею, когда она этого не замечала, я твердил себе, что она такое же прекрасное полотно, как работы Вермеера и Рафаэля. Тогда как другие, кто нас окружает, кажутся всегда так мало прорисованными, так посредственно отделанными, что похожи скорее на гнусные карикатуры, намалеванные на скорую руку голодным художником на террасе кафе».

Гала, Гала, Гала… Отныне, и присно, и во веки веков!

Несмотря ни на каких Аманд.

Аманда Лир была высоченная (рост 176 см) блондинка с длинными волосами и в символической юбочке. Полная

противоположность крошке Гала. Певица писала в своих воспоминаниях: «Дали был наполовину лысым, толстоватым, он показался мне претенциозным и даже смешным…»

Однако довольно скоро она сочла, что художник очень мил. Да он и был таким. К тому же у него огромное состояние, и замок в Каталонии – Casa Dali (уголок которого запечатлен на прелестной картине «Дворик в Порт-Лигате»), и слава…

Аманда провела рядом с Сальвадором около десяти лет. Гала захотела иметь свой собственный замок, и Дали построил его в Пуболе – всего лишь в восьмидесяти километрах от Кадакеса, чтобы создать лишь иллюзию расставания. Там она проводила время среди красивых молодых людей (Гала питала особенную страсть к голубоглазым и некоторых, по слухам, подбирала чуть ли не на улицах), и самым ярким светилом в этом созвездии мужского очарования сделался супер-стар Джефан (Джеф) Фенхольд. Он был спутником Гала несколько лет. Она отчаянно, до судорог сердечных, влюбилась в певца и с восторгом исполняла самые нелепые и замысловатые его прихоти, которые рядом с прихотями Дали казались, конечно, убогими (ну подумаешь, студия звукозаписи по сравнению с интервью из скафандра!), но были куда более дорогостоящими, а главное, не приносили никаких дивидендов, кроме мимолетной улыбки этого красавца.

Штука в том, что в определенном возрасте для женщины мимолетно-благосклонная улыбка красивого юноши и сам факт его существования в ее жизни могут значить куда больше, чем даже счет в банке…

Хотя счет в банке у Гала тоже имелся. Да еще со множеством нулей, так что, несмотря на все ее охи-вздохи, прихоти Фенхольда отнюдь не разоряли ее.

И она ни на миг не оставляла попечением своего гениального мужа…

В 70-х годах у Сальвадора началась болезнь Паркинсона, потом Альцгеймера… Ну какое может быть творчество в таком состоянии?! Однако не только картины Дали приносили огромные доходы, но и тщательно созданный миф о нем. Ради увеличения суммы на своих банковских счетах и ради упрочения мифа, необходимого не только ей, но и всему, как была убеждена Гала, человечеству, она тайно наняла прекрасного художника Мануэля Баладаса, который подделал несколько сотен полотен Дали (говорят, чуть ли не семьсот!). А может быть, это только слухи, очередной миф для того, чтобы возвеличить не Дали (его безусловное искусство само себя возвеличивало, и как бы ни относиться к сему параноидальному бреду, великий талант

отрицать невозможно), а себя, любимую, обожаемую…

Одним из таких мифов были и дневники Гала, которые многие стремились найти, но никто так и не нашел.

Существовали ли они? Неведомо. Однако некоторые выдержки из них – бывшие ли в реальности, выдуманные ли – цитируются довольно часто. И цитаты эти, право, производят-таки впечатление!

Вот такая, например: «Западный человек – это человек, направленный вовне, его талант выражается во внешних проявлениях, а русские женщины всегда смотрят вглубь, главная их жизнь – внутренняя. Именно в этом причина того, что люди искусства с Запада и мы, женщины с Севера, создали столько идеальных союзов».

Гала переехала к Дали вновь: чтобы заботиться о его здоровье, которое резко ухудшилось. И в начале лета 1982 года вдруг пожелала собороваться. Как бы ни с того ни с сего. Впрочем, по самым скромным подсчетам, ей ведь было за восемьдесят, так что, может, и было с чего… К тому же Дали всегда уверял, что его жена обладает даром предвидения. Она предрекла болезнь и смерть Рене Клевеля, бывшего своего любовника, указала дату начала Второй мировой войны, пророчествовала отцу Дали… Видимо, она заранее знала, что 10 июня счет ее дней истечет.

Что и произошло на рассвете.

С тех пор Сальвадор не жил, а доживал свой век, мучимый одной мыслью: «Что я без Гала?!»

Он отказался вставать с постели, отказался есть. Его кормили насильно, вес снизился до сорока шести килограммов.

И он беспрестанно думал о своей унесшейся в небеса музе.

Все друзья умерли, все боги, которым он поклонялся: Лорка, Фрейд, Бунюэль, Цвейг, родной отец… Теперь и Гала… Это смерть сюрреализма. Да, это смерть всего!

Значит, скоро придет и его час, час великого Дали!

Время, которое всегда было мягким и текучим, густело, цементировалось, останавливалось… Было страшно. Носороги подбирались к его кровати и готовы были убить.

Какие носороги? Выбравшиеся из глубин подсознания, всю жизнь стимулируемого Гала и ее безудержностью? Ожившие призраки его творчества?

Ему было страшно, когда он писал этих гомункулусов и монстров, но тогда она была рядом, она его защищала… А теперь?

«Что я такое без Гала?»

Во время уже предсмертного отчаяния художника посетили

король Испании Хуан Карлос и королева София. Дали был награжден крестом Карла III и пожалован титулом маркиза де Пуболя.

Пуболь! Замок Галы! Какое счастье, что это имя сближало их снова!

Впрочем, они не разлучались никогда. И до чего же странно, пророчески и прекрасно описал это состояние вечной любви и неразрывной связи брошенный и забытый ими Жежен – Поль Элюар, так хорошо знавший свою Гала:

Она стоит на моих ресницах,
И волосы ее в моих струятся,
Она по форме моей руки,
Цвету глаз моих, в тени моей
Она тает, как камень в небе…

Какая женщина! Мечта поэта!
И сбывшаяся реальность художника.

notes

Примечания

1

Policier – полицейский (франц.).

2

Слово la goulu по-французски и означает – обжора.

З

Фовиз м (от французского слова fauve – дикий) – течение в искусстве начала XX века наряду с кубизмом.

4

Дидон а – царица Карфагена, персонаж поэмы Вергилия «Энеида».

5

«Ода по случаю заключения мира между Россией и Оттоманской Портой в Кунарджи 10 июля 1774 года» (франц.).

6

Н. Львов употребляет здесь это слово в смысле высшей справедливости.

7

8

«Вы для меня как наваждение» (франц.).

Господи, помилуй нас (франц.).

10

Старый дворец в итальянском вкусе (франц.).

11

Плачет мое сердце, как этот дождь над городом. Что за боль пронзила мое сердце? (франц.)

12

Вещь (франц.).

13

В Салоне Независимых.

14

Так тогда называли кино.

15

Она была построена в том же году, когда родилась Анна Ахматова, – в 1889-м.

16

Ученая степень, присужденная «ради почета», то есть без защиты диссертации, в силу общепризнанных заслуг в области науки, искусства или общественной деятельности.

17

Из стихотворения Анны Ахматовой, датированного 1911 годом.

18

Супервест – особого рода одежда, составляющая принадлежность кавалерского звания некоторых орденов.

19

Блистательный афинский стратег.

20

Итальянское наименование XV века. Эпоха Кватроченто отмечена расцветом культуры Раннего Возрождения.

21

В былые времена так называли всякого, пусть и молодого человека, который получал от какого-либо общества или организации деньги на содержание: по-латыни pensio – платеж.

22

Ее светлость (итал.).

23

В живописи манера письма раздельными мазками правильной формы наподобие точек или квадратиков (от французского pointiller – писать точками).

24

Об этой истории можно прочитать в книге Елены Арсеньевой «Дамы плаща и кинжала».

25

Ни дня без строчки (без штриха) (лат.).

26

В рыцарские времена кинжал особой формы, которым наносился «удар милосердия» смертельно раненному рыцарю.

В этой связи забавно читать тенденциозные высказывания некоторых современных исследователей жизни и творчества Иды Рубинштейн о том, что снятия спектакля добились черносотенцы, лишь бы не дать сыграть Саломею именно ей, еврейке. Дело было не в Иде, речь о которой как об исполнительнице вовсе не шла. Пьеса Уайльда и в самом деле эпатажна до безумия, тем более – с точки зрения религиозных канонов.

Т. е. загадочной (греч.).

29

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.).

30

31

Семья (франц.).

32

Судьба играет человеком (франц.).

33

Строка из религиозного гимна.

34

Стихи Ф. И. Тютчева.

35

Стомах по-гречески желудок.

36

Дадаизм – от франц. dada – конек, детская игрушка, детский лепет – авангардистское направление в поэзии и изобразительном искусстве, суть которого – нарочитый, карикатурный примитивизм и шаловливая скандальность.

37

Новеллу о сестрах можно прочесть в книге Елены Арсеньевой «Дамы плаща и кинжала».